

Андрей БИТОВ

ИМПЕРИЯ IV



Настоящее

Андрей БИТОВ

СЕРИЯ

Художник

IV

ТЕАТР
КНИЖ
БАГАЖ
ОСНОВАН 1991-г. С. ПЕТЕРБУРГ.
ТВОРИМ С. ДАВЕССА

Андрей **БИТОВ**

ОГЛАШЕННЫЕ

IV

**В ЧЕТЫРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ**

ИМПЕРИЯ

Харьков
ФОЛИО
Москва
ТКО АСТ
1996

ББК 84Р7
Б66

Серия «Настоящее»
основана в 1995 году

Художник-оформитель
В. Н. Щекин

На первой странице суперобложки
использована работа художника
Э. Миниовича

На четвертой странице суперобложки —
фрагмент барельефа «Оглашение пастухов» (дерево, ок. 1065 г.)
из собора Санкт-Мария-им-Капитоль в Кельне

Координатор издательской программы
«Настоящее»
М. Е. Топоринский

Битов А. Г.

Б66 Империя в четырех измерениях. IV. Оглашенные
/ Худож.-оформитель В. Н. Щекин. — Харьков: Фолио;
Москва: ТКОО АСТ, 1996. — 319 с. — (Настоящее).

ISBN 5-7150-0352-0 (т. 4).

Основные события романа Андрея Битова происходят в 1984 году, последнем году нашей системы. Эпилог — 19 августа 1991 года. Однако, имея четкие историко-политические координаты, роман прежде всего посвящен общечеловеческим ценностям, исследует место человека на земле в параметрах живого мира, господ Бога и межнациональных отношений.

Б 4702010201—074 Без объявл.
96

ББК 84Р7

ISBN 5-7150-0352-0 (т. 4)
ISBN 5-7150-0348-2
ISBN 5-88196-785-2 (т. 4)
ISBN 5-88196-781-X

© А. Г. Битов. 1996
© В. Н. Щекин. Художественное
оформление, 1996

*В этой книге
ничего не придумано,
кроме автора.*

Автор

ОТ АВТОРА

Автор просит благословения у настоятеля монастыря Моцамета Архимандрита Торнике и иконописца Архимандрита Зенона.

Автор благодарит Биологическую станцию Зоологического института Академии наук СССР (пос. Рыбачий Калининградской обл., бывш. Rossitten в бывш. Восточной Пруссии), Обезьяний питомник АН СССР (г. Сухум), München Kulturreferat (Willa Waldberta) и Wissenschaftskolleg (Berlin) за предоставление возможности написать это сочинение.

Повесть первая

ПТИЦЫ,
или
ОГЛАШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

9

Повесть вторая

ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ

65

Повесть третья

ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН

121

I. КОНЬ	_____	123
II. КОРОВА	_____	165
III. ОГОНЬ	_____	207
1. Кот	_____	207
2. Приближение О...	_____	234
3. Петух	_____	259

КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ,
или
ЗАПОЗДАЛЬНЫЙ ЭПИГРАФ

289

Приложение

ПОПЫТКА УТОПИИ

291

АСТРОЛОГ

297

ТАБЛИЦА АМБИЦИЙ

305

**ПТИЦЫ,
ИЛИ
ОГЛАШЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА**



Два человека вошли в храм...

От Луки

«Он сказал» или «я подумал»?

Мне бы не хотелось находить в этом стиль.
То есть мне бы не хотелось

.
а не тому, что я хотел бы вам сейчас сказать.
Более того

. что я собираюсь сказать.

Мы живем на дне воздушного океана. Среди домов и деревьев, как меж ракушек и водорослей. И вот ползет такой краб, скребя своим днищем по асфальту, с панцирно неподвижной шеей, задерет лишь ненароком голову, переползая обстоятельство на пути, — там полощется небо, в нем повисла, еле шевеля плавниками, птица. Птицы — рыбы нашего океана.

Мы живем на границе двух сред. Это принципиально. Мы не то и не другое. Только птицы и рыбы знают, что такое одна среда. Они об этом, конечно, не знают, а — принадлежат. Вряд ли и человек стал бы задумываться, если бы летал или плавал. Чтобы задуматься, необходимо противоречие, которого нет в однородной среде, — напряжение границы.

На этой границе — постоянный конфликт и инцидент. Мы — напряжены, мы расслабляемся лишь во сне — в какой-нибудь отрысканной безопасности, как под камнем. Сон — наше плавание, единственный наш полет. Взгляните, как тяжело идет человек по земле...

Как будто ему больно. То ли асфальт под ногою слишком тверд, то ли обувь тесна, то ли рабочий день долог, то ли сетки оттянули руки. Вот его поступь.

«Взгляните на птиц небесных...

...они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего;

У вас же и волосы на голове все сочтены;

Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц».

Легко сказать, не бойтесь...

Боюсь, что этот текст в каком-то смысле обобщает все, что мы знаем о птицах.

Птицы странным образом отсутствуют в нашей жизни, хотя с несомненностью наблюдаются невооруженным взглядом. Будто летают на краю нашего сознания как нарисованные как раз на внутренней стороне того колпака, которым мы накрыли обитаемый мир. Кажущиеся теперь столь наивными представления о небесном своде — по сути, точная внутренняя граница нашего знания, которую объявили внешней. Этот непрозрачный колпак, который мы несем с собою, чуть колышется при каждом шаге. Птица летает всегда на краю его, и приблизиться мы к ней не можем — там кривизна, загиб, скольз...

Так что птица — есть, и ее — нету. Мы смотрим по природе все-таки под ноги, задирать голову — роскошь. От Аристофана до Хичкока — нету птиц, а есть вызванные ими представления. Птицу можно рассмотреть лишь дохлую, еще ее можно подстрелить и съесть. Но контакта нет. Это так же, как и с небесным сводом: мы уже знаем, что он там не кончается, но земля для повседневной жизни остается плоской, а обозримость накрыта сферой опыта, как крышкой.

Я берусь утверждать, что с птицей мы сталкиваемся (в буквальном смысле — столкновения...) в наименьшей степени из всех живых существ. Трудно представить себе, что вы к ней прикоснулись, погладили или что она вас клюнула. Она себе летает. Непосредственного опыта общения у нас гораздо больше с более далекими отрядами уменьшенных перспективной эволюции существ: скажем, с мухами. Самолет по-прежнему не поминает птицу, однако вертолет отвратительно похож на стрекозу. Хичкок провел детство в чучельной лавке — птица клюнула человека, не защищаясь, а нападая. В искусстве птица — животное, по природе сюрреалистическое.

Я приехал сюда — на Косу, на биостанцию — в седьмой раз, а может, уже и не в седьмой — для круглого счета цифра семь... Впервые я бежал сюда от 1968 года, как за границу. «Но этот берег был уже завоеван...» С тех пор... К этому не привыкнуть — каждый раз я удивляюсь тому, что снова здесь вижу. Казалось бы, затем я и еду каждый раз, что навсегда помню, какое это единственное место на этой Земле и как оно воскрешающе благотворно, насколько оно ничем не грозит и ни к чему не обязывает: настолько оно существует без тебя, что и не исторгает тебя, то есть такое место, в котором, по замечательному выражению Ольги Ш., «душа смешивается с телом в любых отношениях». Наверно, это же называется первой любовью, хоть и выражено языком химии... Казалось бы, за ней я и еду — и каждый раз — не помню зачем. Вдруг — оказываюсь. Место это напоминает родину, которой никогда не видел...

По небу плыли пушечные облачка.

Кто стрелял? Дымок забыл о выстреле. Артиллерист — о пушке. Облачка были как набор младенческих щечек, соскользнувших порезвиться с колен мадонн. Деревья, однако, пребывали в некоторой растерянности насчет ветра, относительно которого росли... Иные из них особенно покорялись ему и росли от моря под углом 45 градусов. Этот угол обозначал тогда постоянство ветров наглядно, как в учебнике.

(Вообще учебник упомянут кстати. Ибо после курса «неживой природы» начальной школы никогда мне было уже не видать тех идеальных оврагов, холмов и степей, как на тех картинках... а испытывать постоянно ту муку взросления, когда все оказывается не вполне так, как рисовалось: не так чисто, не так точно, не так выражающе само слово, которым обозначено, — не овраг, а род оврага, не лес, а род леса, не рыба, не мясо, не слово «овраг», не слово «роща»... Здесь же все пребывало именно в этом состоянии: море, дюны, облака, кустарник, песок, ветер. Два странных условия оказались у этой безусловности, об этом чуть позднее...)

Но ветер, разбившись о дюны, дул уже во все стороны, и тогда деревья, имевшие в своей породе навык и память линии наименьшего сопротивления, терялись и не знали, куда расти, и начинали расти во все стороны. Они препятствовали тогда ветру более, чем подчинялись, тем меняя свою задачу. Они образовывали некий живой бурелом, росли, как надолбы, крестнакрест — иксы и игреки во всех направлениях — уравнение не было разрешено.

Автобус остановился, и я вышел.

Первым делом мне следовало повидаться с доктором Д.

Мне было разрешено посидеть в углу.

Передо мной сидело шесть пар студентов, неумные затылки.

Он прошелся по аудитории, заложив руки за спину, мимо доски и мимо доски. По своей манере ходить был он несколько более высок и худ, чем на самом деле. Он чуть выше задира л ноги, чуть поклевывая вперед головою при каждом шаге и взглядывая так, словно глаз его был положен сбоку, как у птицы, оттого в его облике господствовал профиль. Повертывался он так быстро, что снова оказывался в профиль. Словно бежал вдоль прутьев решетки. Наконец он приостановил свой бег против доски и прочертил прямую линию. Звук мела как бы отставал...

— Возьмем... — сказал он. И с этим отстающим «чок», который я, минуя свободные бесклассные годы, тут же вспомнил всей кожей. — ...возьмем... замкнутое, — чок, чок, чок, нарисовал он квадрат, — ...пространство.

И так же боком глянул на нас, словно победил.

Ни проблеска сознания не отметил он во взгляде аудитории. Он втянул живость своего взгляда в себя, как голову в плечи.

— То есть, — продолжил он суше, — ограниченный со всех сторон объем. Герметичный. Без доступа. В нем ничего нет.

Квадрат на доске стал еще чуть пустее, чем был. Одиночеством веяло из этого квадрата.

— И поместим в него птицу.

По суровости, с какою он нарисовал квадрат, казалось, он был способен лишь к прямым линиям — и вдруг с живостью и легкостью, одним росчерком нарисовал в углу прямоугольника птичку — естественно, в профиль. Студентка на передней парте хихикнула.

Это было первое допущение. На допущении, как известно, зиждется теория. И это было первое упущение — как, бедная, могла туда попасть?..

— Что в первую очередь нужно, чтобы она могла дальше существовать? — Он подождал, пробуждая мысль в аудитории, и сам ответил: — Воздух.

Сказав так, он протер пальцем окошечко в верхней стороне квадрата. Все вздохнули — словно туда со свистом вошел воздух. Птичка была спасена.

— Что дальше?..

И он пририсовал чашечку с водой.

Так он снабжал птичку всем необходимым, и ряд этот устрашающе рос и усложнялся. Как молодой Творец, превосходящий ее потребности, и они не кончались. Доска покрывалась уже несколько более сложными формулами, чем O_2 и H_2O , с которых все началось, однако все еще недостаточно сложными, чтобы выглядеть наукой в современном представлении. Однако птичке было уже тесно в предоставленном ей объеме: она обросла утварью и семьей, — и все же это было единственное место, где еще можно было хоть на жердочке посидеть, потому что весь объем, предоставленный лектором ей для жизни (такой сначала пустой и маленький на огромной и пустой доске), был теперь окружен, стиснут, сжат со всех сторон формулами ее бытия; там, во внешнем пространстве, развивалось отрицательное давление недостаточного знания жизни... и где-то уже далеко позади осталось радостное библейское начало: воздух, вода, пища. Наука начинается с того, что действительно сложно и невозможно постичь, — с начала — оставляет его где-то на дне начальной школы в виде аксиом и лемм и заканчивает всего лишь тем, чему может научиться любой доктор наук.

Однако уже давно никто и не начинает с начала. Чтобы успеть выбиться в большие узкие специалисты, надо, не задумываясь, начинать с как можно более далекого продолжения. Меня растрогала эта лекционная попытка осмыслить — лектор словно и сам удивлялся и что-то для себя находил в этой редкой возможности. Специалисты склонны всех подозревать в заинтересованности своим предметом (прием «увлеченности», давно отработанный в романах о науке) — это трогательная и жалкая нагота комплекса. И пока его не слушают студенты, а студентки механически пишут, а я размышляю о лестном для него сходстве с предметом изучения (в том банальном смысле, как хозяйева похожи на своих собак), пока мы отвлекаемся и не слушаем его, он незаметно переходит границу общедоступного, общеизвестного, очевидного, завесу которого он было приоткрыл, и вступает в область специальных знаний, в частную раковину специалиста, в экологическую нишу самой экологии — и мы не слушаем его уже не потому, что отвлеклись, а потому, что уже не понимаем, опять пропустив заветное головокружение перехода от зримоочевидного к умопостигаемому. Мы его не слушаем — удобный прием перехода к новой ниточке повествования...

Я мог бы это слышать и понять еще в начальной школе... Как это странно, что человечество не понимало что-то вместе со мною, с маленьким школяром! Я эту школу окончил, окончил и вуз в два приема, я стал довольно-таки тридцатилетним человеком, прежде чем заговорили о том, что нас окружает, всегда окружало, — о природе, о том, без чего мы не живем, — о воздухе воде и пище. Эка невидаль! Оказалось — невидаль. Невидалью оказался сам этот разговор. Теперь столь модный, что уже и как бы затверженный, словно и опасность остаться без чего дышать как бы и не опасность: напугали, а и завтра и послезавтра все еще дышим, — трагедия выродилась в свободную болтовню, способ, каким все остается на том же месте. И выходит вдруг страшная мысль, что запрет темы более перспективен, что ли, чем ее истребывание после снятия запрета. Сначала время было голодное — не до того, и вдруг — наелись, и живы, и еда нам — ненасушна.

Приходит время, и бессвязные вещи начинают выстраиваться в ряд... После войны в озерах и речках развелась рыба, леса стояли неистоптанные, грибочные, ягодные, — мы ехали с отцом на велосипедах, и ничего встречного, ни души. Пустые песчаные дороги и птичий щебет. С какого же года на дачу стали выезжать все, все ходить за грибами и ягодами, все ловить рыбу? Конечно, постепенно, но и вдруг... Я помню это по электричкам, как они вдруг набились, переполнились — вдруг, в какой-то год; надо было десять лет с войны пережить, чтобы перестать съедать непременно вторую тарелку супа и считать такси разворотом; вдруг в какой-то год за город поехали все — 55-й? 56-й? Ведь всегда же можно было ездить за город, никто не запрещал — вдруг *стало* можно. Приладить себе через плечо замечательный ящичек для подледного лова.

Это у нас, это я наблюдал, а там, на Западе, где мы не бывали, про который мы читали, — все какие-то выверты, странности, с жиру бесятся: кто-то не ел полгода, кто-то съел автомобиль, кто-то переплыл океан без воды и без еды на надувной лодке, кто-то полез в пещеры, кто-то в кратер, кто-то прошел на руках через всю Германию, кто-то, наконец, залез на Эверест, кто-то поплыл под парусами без руля и без ветрил.

Но это и раньше... да, немножко раньше, если бы не война... Полюсы, аэростаты, дирижабли, все выше и выше... Это еще и раньше, этот особый коктейль из аван-

тюры, спорта и науки, но особенно почему-то — после войны. Когда стало что-то понятно, когда все что-то поняли — что-то поняли, только не поняли что. И это «что» стало ускользать безвозвратно. Время — тоже живое существо; ему тоже хочется пожить своей жизнью... Бывает такое время, когда человечество живет как один человек, — в каком-то смысле это и есть Время. Тогда оно вместе старится, вместе радуется, вместе понимает. Потом оно не понимает, куда это делось, куда ушло. Кто-то понимает, что состояние общего уже всё, уже утрачено, уже не вернуть, кто-то чувствует это раньше других — прокатывается волна самоубийств, кто-то отчаливает на пустующей лодке догонять романтически окрашенные идеалы. Но и от этого движения остаются в общем употреблении странные вещи: ласты, маски, крупные бусы, мода на свитера и джинсы, новые виды спорта, вроде стрельбы из лука и водных лыж. Кто-то стал приручать львов, жить в волчьей, в обезьяньей стае, какие-то люди стали хронометрировать трудовые процессы каменного века, изготовив себе орудия по их образцу и удалившись от цивилизации (во всех этих упражнениях смущает маленькая рация в пластиковом мешочке и возможность помощи с неба вертолета — вот эта-то пуповинка компрометирует любое бегство). Странные люди. Поведение их вызывало недоумение. Можно было заподозрить их в рекламе. Но в этом была и зависть: вырвался!.. Мы тут тяни и вкальвай, а он пешком вокруг света пошел — так и любой с удовольствием. И вот то и странно, что этих сумасбродов единицы. Чтобы получить право, надо удивить. А удивить этот струженный, зажатый мир трудно. В авантюрах, ставших знаменитыми, поражает лишь одно — простота, как до этого никто раньше не додумался, вызывает зависть, что это было и тебе доступно. И как-то слишком очевидно, что следом уже не пойти, что эта дырка, этот проход уже замазан и охраняется. Удивить этот мир трудно. Как писал поэт, «не легко удивить его словом, поразить выраженьем лица...». Но зато можно удивиться, какими же простыми вещами бывает он каждый раз поражен, этот мир, какими, казалось бы, очевидными и всем доступными. И вот мы живем в мире, который бывает поражен естественным поведением больше, чем формулой mc^2 . Я утверждаю, что именно этот сдвиг есть история науки экологии, а не длинный список натуралистов всех веков.

Мы живем в мире людей, родившихся один раз. Прошлому мы не свидетели, будущему — не участники. Инстинкт, память и программа вида в нас ослаблены именно как эта связь времен. Именно на этом ослаблении (предельном, до потери связи с естеством) и произрастает человеческое семя. Человек возникает как раз там, где вымирает любой другой вид. Ни теплой шерсти, ни грозных зубов, ни волчьей морали — брюки, пуля, религия...

Как странно! — думал я, с трудом постигая опыт, с легкостью усваивая вывод. Возьмем птицу, запаяем ее в ящик... Траектория научной мысли напоминала мне хаотический полет моли. В конце ее неуклюже торчал сам собою напрашивавшийся с самого начала вывод. Как смешно! — думал я, будто человек, с недоумением рассматривая собственные ладони, обнаруживает у птицы крылья, а раскрыв от этого удивления рот, находит у птицы клюв. У птиц ли он «открывал» крылья и клюв — или у себя — руки и рот?..

Человек! — думал я, ты не способен постигнуть другое биологическое существование — каждый раз, в крошечном этом усилии, постигаешь лишь свое... Но постиг бы он и свое, не силясь постичь другое? Способность человека знать иную природу кажется мне катастрофически малой, но нет ничего благороднее и необходимее для человеческого сознания, чем это буксующее усилие.

Конечно, и у них есть многое от науки. Лаборатории, колбочки, пробирки, самописцы, холодильники — весь тот лапутянский антураж, на фоне которого позирует ученый в белом халате, жонглируя предметами культа. Но мы не знаем, что он там с чем сливает на фотографии — и не смеется ли над нами. Жрец науки освещен люминесцентно, с глубоким видом вглядываясь в то, о чем он якобы имеет, а мы не имеем представления. На то мы и просвещенное общество, что чтим непонятное. Я не иронизирую — это и впрямь признак просвещенности. Но вот природу мы не чтим, а науку чтим.

Наконец появляется антинаука, которая чтит природу.

И действительно, зачем он сделал такой понимающий вид на этой фотографии на всеобщей обложке? Вид настоя-

шего ученого должен быть (по моим наивным представлениям) испуганным, потрясенным, растерянным. Ибо он знает в своей области все, что было известно до сих пор, до сего дня, до сей секунды, — а дальше ничего не знает. И никто не знает, потому что он — на том самом переднем крае науки, где обрыв знания. Как раз самый первый специалист, если он действительно что-то ищет дальше, ничего не знает. Всем остальным еще учиться и учиться до него, прежде чем они будут знать столько, сколько он, — они знают кое-что, а он — все. Он один имеет представление о том, насколько мы ничего не знаем. Что же он застыл на фотографии с таким видом, будто имеет представление, что там, дальше, в следующий момент? Самодовольный, ярко освещенный среди сверкающих посуды и подмигивающих сумасшедших стрелок, — ведь он впотьмах, у него должно быть вдохновенное лицо слепца, брейгелевского слепца, сыплющегося в яму... Каждую секунду он опускает руки в черный ящик — в какой бархатной абсолютной темноте они пребывают! Неизвестно даже, руки ли он оттуда вынет, из своего вытяжного шкафа. А он их погружает туда и вынимает оттуда, где он не знает что. Острее бритвы тот край между его мозгом и тем, чем заняты его руки, которые так уж смело копошатся там, в потемках люциферичного света.

Из какой уверенности он так уверен?

У этой повести есть и своя героиня, и намек на любовную линию — Клара. Нет, это не была рядовая командировочная интрижка — это была нежность, род чистой влюбленности, — и ровный ее свет скрашивал мне корреспондентское одиночество. Клара была молода, умна и красива. Она любила блестящие вещи, табак и умела считать до пяти. Она любила другого. Валерьян Иннокентьевич был изящный молодой человек. Она ласкалась к нему, как кошка (сравнение очень некстати: кошек к биостанции не подпускали на выстрел — орнитологическая специфика...). Я думаю, что неразвращенному читателю уже ясно, что Клара... (Ах, Клара! Скобки в прозе — письменный род шепота.)

Помнится, классе в шестом, в грамматике имени академика Щербы, было такое упражнение на что-то про девочку и ее любимого попугая, как она просыпается утром и как он ее приветствует. Это было упражнение на что-то, скажем, на местоимения «он» и «она», но для нас уже все упражнения были об

одном — квадратный трехчлен. Мы, помнится, все прикрывали слово «попугай» и необычайно радовались получающемуся тексту.

Через много лет мне представляется случай написать сочинение на эту тему. Это был, безусловно, род ревности, когда я робел прикоснуться к ней, а она дергала Валерьяна Иннокентьевича за рукав, чтобы он снова и снова гладил ее. Нет, тайна женского расположения и есть тайна: серьезность наших намерений — самый слабый козырь. Валерьян Иннокентьевич был пластичен и снисходителен. Он был моложе нас по поколению и разглядывал нас острым и умным взором, пользуясь своим преимуществом во времени происхождения, словно мы ему не предшествовали, а последовали.

Но — довольно и о сопернике. Я носил Кларе лакомые кусочки, давал ей расклеивать сигареты — втирался к ней в доверие, каждый день подвигаясь на шагок ближе, курлыкал. Ласковое слово и кошка любит... (Опять кошка... Да что это слово так и крадется за моей Klarой!) Мое постоянство было оценено — она уже отмечала мой приход взглядом. Нет, ее сердце по-прежнему принадлежало другому, но ей, как женщине, льстила моя преданность, она снисходила. Возможно, она бы уже рассердилась и заволновалась, если бы меня однажды не оказалось в обеденное время; этот коварный прием для перелома отношений был у меня в запасе.

Но довольно и о себе. Любовь есть познание. Три вещи я познал с помощью Клары. Если бы не они, то не стоило бы и рассказывать здесь о наших с ней отношениях.

Kлара была ручная, то есть не боялась человека настолько, что подпускала на расстояние вытянутой руки. Но она была не только ручная, но и *ворона*, то есть существо дикое и осторожное, другое, не человек. Поэтому она была щепетильна в отношениях, и на расстоянии вытянутой руки пролегалла качественная граница (успеть отпрыгнуть, взлететь...), которую нарушить мог лишь посвященный. Однажды...

...она сидела на ступеньке стремянки, прислоненной к стене нашей кухни. Это была ступенька, удобная для общения: Кларин взгляд был на уровне человеческого. Она распотрошила мою сигарету, я протянул руку... Она покосилась, вздрогнула, взглянула на меня оценивающе и решила не взлетать, не дергаться — лишь слегка переступила по перекладине. Моя рука опустилась на деревяшку.

Я испытывал истошно детское чувство — так мне хотелось ее потрогать. Я вдруг понял, что ни разу в жизни не прикасался к птице. В одну секунду во мне пролетела толпа богоугодных

соображений: о том, как человеку необходим зверь, что в детстве у меня не было своего зверя (детство вдруг предстало более жалким и нищим, чем было), я вспомнил единственного мышонка, который жил у меня неделю, а потом сбежал, когда я его почти научил ходить по спице (по этой же спице он и сбежал из своей стеклянной тюрьмы), я вспомнил свои пыльные колени, когда, вылезши из-под шкафа, я понял, что он сбежал навсегда... я решил, что на этот раз уж обязательно привезу дочке щенка... И, вознеся все эти молитвы, приговаривая елейно: «Клара — красавица, Клара — умница...» — прикоснулся к ее когтю. И она не тронулась с места.

— Клара — умница, Клара — красавица... — бормотал я, все смелее поглаживая ее когти, и она мало обращала на меня внимания, но позволяла. Я осторожно поднял руку, чтобы погладить ее более ощутимо, — она отпрянула, переступив, — мне предоставлялось лишь ручку целовать...

— А вы ее не по голове, а по клюву погладьте... — Доктор Д. стоял за моей спиной — как долго наблюдал он меня?

— По клюву, вы говорите?... — засмутился я, застигнутый. — Она же тяпнет!

— Как раз нет. По клюву — не тяпнет. Она же — хищник. Хищника надо ласкать по оружию — тогда он не боится. Вот вы правильно ведь начали — когти тоже оружие.

Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была, словно для нее место пустовало. Ее не надо понимать. Сомнений она не вызывает.

— Клэрра — хорошая, Клэрра — славная... — гладил я ее по клюву. Это была ласка значительно более существенная, чем по когтю, — ей нравилось. Она жмурилась, терлась. Вид вороны не располагает к симпатии. У вороны от природы сердитый вид. Творец не предусмотрел для нее способов проявлять радость, нежность, любовь. Ни улыбнуться, ни заурчать, ни повилывать хвостом она не может. Тем трогательнее было это беспомощное усилие приветливости суровой девы... Сыр у нее уже почти выпал... И эта восхищенная мысль о Крылове, что он точен, как Лоренц, пролетела во мне, взмахнув Клариным крылом: Крылов — птичья фамилия... — и улетела. И впрямь, больше всего, казалось, Кларе нравилось: «Клара — красавица». Хотя почему она не красавица, я уже не понимал, смешно мне не было, вполне искренне говорил я: Клара — красавица. Не может быть, чтобы лесь не была сладка и самому льстецу — она бы ничего не стоила... Тут-то доктор и добавил:

— Вы помните, я вам про мораль животных рассказывал?.. Так вот, в первичную, животную, мораль человека, по-видимому, входил запрет причинять ущерб тем, кто ему доверяет... Собака... потом кошки, голуби, аисты, ласточки... все они в разной степени сблизилась с человеком через эту особенность человеческой морали, без специального приручения. Заметьте, что к действительно прирученным животным — курам, свиньям, козам — человек не испытывает инстинктивной любви.

— То есть только доверие вызывает любовь? — восхитился я.

— Я так сказал?.. — усомнился доктор.

Клара, конечно, умница, но и доктор неглуп. Говорить мне такие вещи — это гладить меня по клюву. Как приятно, однако, принять в себя назад человеческое убеждение в форме научного закона! Это значит, что себе мы не верим. Нужна наука, чтобы убедить нас в том, что нам свойственно. По меньшей мере странна эта разлука человеческого и общезаконмерного. Из этой трещины произрастает экология, заполняя ее.

— Хорошо, — говорю я, — мы любим тех, кто нам доверяет. Но нас в этом доверии поражает прежде всего то, что оно проявлено существом совершенно другой природы, — это нас трогает. Мы ни на минуту не забываем, что мы люди, а они — звери, сверху вниз. А они? За кого они нас считают, доверяя нам?..

— Это сложный вопрос. Я придерживаюсь той точки зрения, что, живя с нами, они нас считают другими существами, но исключают из нашего вида своего хозяина.

— А его-то они за кого считают?

— Наверно, за вожака своего вида.

— Так что же, — возмутился я, — они не видят, что ли? Клара, что же, меня сейчас за ворону считает?.. — Я взмахнул руками, как крыльями, и Клара сердито шархнула. Я тут же спохватился и попробовал снова погладить по клюву — она отвернулась. Словно обиделась.

— Вас, конечно, нет. А вот Валерьяна Иннокентьевича она, вполне возможно, и считает вороной.

— Мужчиной-вороной?

— Это безусловно, — сказал доктор, — именно самцом.

— Ну уж извините... — усмехнулся я. — Не может же природа быть настолько слепа! Какой же он муж... то есть, простите, ворона?

— А вот представьте себе... — говорил доктор...

Мы удалялись, пререкаясь, в дюны.

(Клара погибла, но не от кошки. Ее заклевали вороны. Но не воробьи, а вороны. За разницу в ударении.)

...Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была... Это тоже мысль. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова...»

Мысли в экологии удовлетворяют прежде всего по этому признаку: они — очевидны. Это, к сожалению, не значит, что они вам сами в голову пришли. Хотя вам вполне может так показаться. Не знаю уж почему, мне такое качество мысли кажется наиболее привлекательным ее достоинством. Мыслить — естественно, не обязательно каждый раз кричать «эврика!» Пафос и пышность мысли-высочки, стремящейся в одиночестве возвыситься над поверхностью реальности, свидетельствуют прежде всего о том, как редко она заходит в голову ее торжествующему обладателю (здесь обязательная застолбленность, поименованность каждого соображения). Парадоксальность, эффективность, изощренность начинают выступать едва ли не как самостоятельные признаки — желание мысли быть узнанной и признанной оттесняет назначение, блеск вторичных признаков ослепляет смысл. Это у нас общая тенденция: скажем, и стихи стали писать столь технично, что поэзия жаждет вдохновенного дилетанта, а возможность произнести что-нибудь новенькое исключает квалификацию, она сродни невежеству. В общем, сказать новое можно, лишь снова и снова начиная сначала: научиться этому нельзя, необходимо *разучиться*. Это кто же там маячит на горизонте, все не приближаясь?.. Такой восторженный, развевающийся, с сверканием глаз и бьющимся сердцем, который все забыл из того, что все мы наизусть с пеленок знаем?.. *Любитель*. Любитель машет нам белым флагом неведения: идите сюда, *здесь!* На флаге, случайной тряпице, узелками привязанной к ветке, начертано: *люблю живое*. В нашем мире, таком не стоящем на месте, буксующем в своем постоянном развитии — *прогрессирующем*, — если что-то и в силах обернуть свое, усложненное до утраты, значение, так это любительство: от Ламарка до Лоренца расстояние ничем не покрыто, между ними два

века вытоптано головокружительным развитием науки. Абсолютным гением оказался лишь монах, сеявший горох на двух грядках... любитель-огородник Мендель.

Есть счастливая закономерность в том, что истина удаляется по мере приближения к ней, и если вы так уж рветесь, вам придется довольствоваться всякой дрянью, подобранной по дороге. Истина, как и Муза, женщина — она уступает сама, и каждый раз не тому. Трудно анализировать ее выбор. Вряд ли чего добьешься от нее по расчету — необходимо чувство. Насилие исключает познание. Как стремительно познается ненасушное! — насушное и сейчас почти так же далеко и так же рядом, как когда-то. Черт знает что за штуки летают в небе, а про птиц мы с трудом догадываемся, что они есть. Скрежешут сообразительные машины, казалось бы, освобождая нам разум, и параллельно какой-нибудь сверхбомбе мы начинаем с точностью устанавливать для себя вещи, без доказательства допускавшие первобытным мозгом: что все живое чувствует хотя бы.

Наука XX века сильно распугала истины — они разлетелись как птицы, которых на Косе так неуклюже ловят. Никогда человек не был так презрителен к обезьяне, чем когда поверил в свое от нее происхождение. Недопустимое высокомерие. Современная экология кажется мне даже не наукой, а реакцией на науку. Реакцией естественной, нормальной (еще и в этом смысле она — наука естественная). Почерк этой науки будит в нас представление о стиле в том же значении, как в искусстве. Изучая жизнь, она сама жива; исследуя поведение, она обретает поведение. У этой науки есть поведение, неизбежный этический аспект. Ее ограниченность есть этическая ограниченность: не все можно. Не все стоит думать, не все — понять. Любительство дает урок, бросая естественный, как бы и необразованный — *просвещенный* — взгляд на живое лишь при непосредственном контакте с ним. И тогда оно легко находит слова для своих понятий. Ниша, ареал, пирамида... Пирамида — это кто в какой последовательности друг друга ест. Не увидеть такое сооружение можно, разве что взобравшись на самую вершину его...

Пища, территория, возраст, энергия, численность, рождаемость, смертность... Позвольте, да что же тут от науки, что же тут нового, в чем открытие? Это мы и так знаем, это же просто жизнь. Вот именно. Наше сознание устроено

кичливо: существующим оно считает лишь то, что ему уже известно. Однако и то, что уже известно, и то, что еще неизвестно, и то, что никогда не будет известно, есть единая, неразъятая реальность, в которой, по сути, нет чего-либо более, а чего-либо менее главного. Меня иногда охватывает небольшой смех при представлении о том, какой бесформенный, криво и косо обгрызенный познанием кусок содержим мы в своей голове как представление о реальности. Этот кусок кажется нам, однако, вполне гладким и круглым — вмещающим в себя. Предположение реальности, поглощающей крупницу наших сведений, и есть научный подвиг. Духовный смысл научного открытия не в расширении сферы познания, а в преодолении ее ограниченности.

Посмотреть под ноги, а затем в небо — вот первый научный метод. В задумчивости поковырять пол и поискать решения на потолок, где, как известно, ничего не написано. Это — доступно.

С большой симпатией разглядываю я в умозрительной перспективе некоего немолодого уже австрийца, бредущего по тропинке австрийской же, наверно, красивой и аккуратной деревеньки... Он задрал голову и смотрит в австрийское, почти такого же, как и у нас, цвета небо. Он видит там орущую птицу, скажем, галку. Чем он, по сути, занят? Считает ворон. Смешное это и давно разоблаченное у нас занятие поглощает его на долгие десятилетия. Чего она орет, куда она летит?

Море — синее, а небо голубое, а полынь горькая, а волк серый... Встать в позу покорности, то есть подставить для коронного смертельного удара самое уязвимое место, выставляя ахиллесову пяту. Бедный зверь! как страшно ему должно быть и как унижительно, зажмурив глаза, ждать смерти... Но — бедный победитель! — этого никогда не будет. Победитель будет кататься по траве, обиженно воя, остужая свой раскаленный добела пыл, пряча свое оружие... О, если бы побежденный трусливо бежал!.. Можно было бы истолковать это нарушением и погнать его со своей территории, обидно докусывая на бегу. Но нет, этот сопляк, этот шенок, этот малахольный негодяй все стоит зажмурившись, отогнув шею, подставив соблазнительно пульсирующую сонную артерию своему врагу. И с этой покорной секунды моральный запрет включен на полную мощность: каждый получает свою кару: побежденный — за

слабость, победитель — за благородство. Отметим, что оба профессиональные убийцы, для которых смерть и кровь — как для нас труд и пот.

Доктор как раз поведал мне басню Лоренца о Льве, Вóроне и Волке.

Беседа завела нас от моря в чаду. Ноги вязли в песке.

— Ну и чем все это кончается? — спросил я, и впрямь пораженный таким поворотом.

— А ничем, — сказал мой доктор. — Покатается, поваляется, порычит и успокоится. Тогда побежденный тихо, не оглядываясь, уйдет с территории.

— С территории?

— Ну да. Я же вам говорил, что хищники имеют свои участки охоты со строгими границами...

— А...

Действительно, а... Нежнейшие из голубков, символ поцелуйной любви с пальмовой веточкой в клювике, никому не способные причинить зла, ничем не вооруженные, кроме клювика, которым они вряд ли и жука-то расклюют, да коготками, которыми и земли не роют... так вот, если их не разнять, то они-то и заклюют друг друга до смерти. И победитель никак уж не остановится над поверженным издыхающим врагом, а таки дотюкает его нежным своим клювиком, и после смерти врага не остановится в своей воинственности, а общиплет его наголо и истерзает в крошево. Он слабо вооружен — у него слабая мораль. В отношениях с особями своего вида у него нет моральной преграды.

— Головокружительная идея! — воскликнул я, подхватив то, что мне было в ней нужно. — Всю жизнь не терпел голубей...

— У вас нет никакого морального права их осуждать, — мрачно сказал доктор. — Они не подлежат нашей нравственной оценке.

Мы прошли лес, скрывавший от взгляда дюны. Они открылись, неожиданно высокие, вдали терявшие желтизну, приобретая зеленовато-серый, живой оттенок. Плавные их очертания были тоже живыми. Они там паслись как стадо, заслоня друг друга горбатыми круглыми спинами, притершись боками, высовываясь. Они покачивались перед глазами при каждом шаге, как ушедший вперед караван слонов. Этот живой их цвет очень напоминал слоновью шкуру.

Мы шли мельчающим до границы с песком подлеском и вспугивали зайцев. Они срывались со своих лежек в последний момент и вспархивали прямо из-под моих ног. С детства я питал к ним особое пристрастие и играл исключительно в зайцев. Я не охотник и городской человек — зайцы у меня еще под ногами не шныряли ни разу, я с умилением разглядывал свое ожившее детство. Снявшись, они мчались от нас почему-то не в лес, а по открытому пространству в дюны, и я имел счастливую возможность провожать их взглядом. Такой медленный бег бывает только у самых быстрых существ — все кажется, он медлит в своем побеге и словно оглядывается на бегу. На самом деле он летит, а не бежит, в этом полете мало суеты, не хватает мельтешения лап — оттого съемка эта кажется замедленной. Неторопливые зайцы, однако, быстро исчезали с глаз, это нам предстояло проверить, тяжко карабкаясь на ту же дюну. Заяц летел по дюне вверх — серо-желтый на желто-сером и, достигнув края, пропадал в небе.

— Ну а зайцы? — спросил я.

— Зайцы слабо вооружены. В драке между собой они могут нанести друг другу весьма тяжкие увечья. Вам не приходилось видеть?

Очередной заяц взлетел из-под ног в синее небо. Подлесок истаял, мы ступили на голый песок. Под ногами он не напоминал слоновою шкуру, а был ярко-желт.

— А вы видели?

— Видел.

Я расставался с зайчиками детства, обнимал их, ватненьких, и плакал. Это было лишнее разочарование. Надо же, какие звери именно зайцы! а не волки...

— А драку волков видели? — вредно спросил я.

— Не видел. И драку львов не видел. — Доктор был чуткий человек. — Я сам видел такую драку у воронов. Победенный подставил темя — так победитель хватал себя когтями за клюв, словно желая его снять, чтобы не тюкнуть.

— Смешно, — сказал я, очень живо себе это представив. — Так и хватает себя на нос... Ха-ха.

— За нос — это смешно, — сказал доктор, — а за клюв — это серьезно.

— Вложить шпагу в ножны?

— Скорее уж так.

— «Ворон ворону глаз не выклюет» — об этом?

— Ну да... — уклончиво сказал доктор. — Может быть. Я этим не интересовался. Хотя, как всякая басня, это про людей, конечно...

— Ну а люди? — спросил я со жгучим любопытством.

— Что люди? — спросил доктор, как бы недопоняв.

— Люди сильно вооружены?

— А как вы думаете?

— Куда уж сильнее...

Доктор только хмыкнул.

— Вы так не думаете?..

— Видите ли, я *стараясь* так не думать, — неохотно сказал честный доктор.

— Это стоит усилий?

— Это *стоит* их. Мы с вами только что разобрали классический образец. Лоренц совершил свое открытие, преодолев тяготение антропоморфизма. — Взглянув на меня со слабой надеждой и обнаружив, что я ничего не понял, доктор продолжил: — Антропоморфизм — ошибка, в которую мы чаще всего впадаем, изучая животный мир. То есть мы наделяем животных своими свойствами и толкуем их поведение, исходя из своего опыта. Поэтому, скажем, мы так долго не имели представления о той же волчьей морали хотя бы, рассуждая о ней скорее по-человечески, чем по-волчьи.

— То есть вы хотите сказать... — подхватил я.

— Я сказал то, что сказал, — рассердился доктор. — Прошу меня не истолковывать. Я сказал это к тому, что постоянно существует тенденция, как бы обратная антропоморфизму по знаку. Она характерна уже не для людей вообще, а для нас, специалистов, которые что-то начинают в своей области знать, — это, как бы сказать, зоо- или биоморфизм. Мы начинаем переносить свои знания и опыт из области специальной в область общечеловеческую. А вы видели только что, к каким заблуждениям люди приходят, греша невинным антропоморфизмом. Этот, однако, невинный грех баснописца нанес неисчислимый вред животному миру. Трудно его исчислить, но неправильно и недооценить...

— Я замечаю, вы как-то особенно против басен...

— Я где-то читал и совершенно согласен: холопский, рабский жанр. И потом, мне совершенно не смешно, и неумно, зачем противопоставлять муравья стрекозе? То есть мне смешно, но совсем не так, как хотел бы автор. Чем неграмотнее в биологическом смысле басня, тем у нее, я заметил, и более низкая, плебейская мораль.

— Ну уж! — сказал я. — Лихо...

— Не более лихо, чем вы о зверях... Я, может, и перегнул. Это опять же совсем не мое дело. Или, так сказать, мое сугубо

частное дело, что одно и то же: для ученого специальность должна быть резко отграничена. И все-таки чем свободнее, абстрактней замысел, тем свободней он и от конкретных, специальных ошибок. Например: «Однажды лебедь, рак да щука затеяли сыграть квартет»... Эта байка никак не противоречит...

— Квартет затеяли другие, а эти тянули воз... Вы сместили две басни в одну — тоже, позвольте заметить, не дозволенный в критике прием.

— Я не критик. Не знаю, чем различаются морали этих басен, — для меня в обеих один и тот же смысл: принципиальное различие биологических видов не позволяет нам переносить свойства одного на свойства другого, звери — не другое человечество, а отдельные, столь же биологически самостоятельные, как и человек, существа. В этих баснях есть даже некий экологический оттенок, уловленный Крыловым: они не сыграют свой воз... или не свезут квартет, простите мне мой студенческий юмор. Это басни о нелепости антропоморфического переноса.

— Ну уж, — рассмеялся я, — дедушка Крылов не отнимет приоритет у Лоренца. Он никак не имел этого в виду.

— Но выразил он именно это. Другого объективного смысла в них не нахожу.

Беседа наша в очередной раз зашла в тупик. Сильно мы уклонились вбок. Мы одышливо карабкались на дюну. Мир был выкрашен в два чистых цвета: желтый и голубой — мечта сюрреалиста. Поверхность дюны была аккуратнейшим образом гофрированной, как песчаное дно в полосе прилива, — еще одно указание на то, что мы живем на дне в прямом смысле: эту рябь навевал ветер. Мы безжалостно разрушали безукоризненную эту поверхность, на которой не было следа человеческого. Поверхность была то твердой, как на отмели, и тогда мы оставляли ровненький и плоский босой след, то вдруг оседала под ногой, песок осыпался, вместо следа оставалась бесформенная коровья яма. Так шаг за шагом не ведали мы, какая нога ступит твердо, а какая провалится. Ветер сдувал с гребня песок, покалывая кожу; по склону перекатывались прозрачные трупики жучков и паучков, высушенные и выбеленные песком и солнцем. Редкая былинка торчала, склоняясь из этого сплошного желтого — вокруг нее был обведен магический кружок, — казалось, солнечные часики произрастали здесь и там, что как-то таинственно рифмовалось с песком, может, из ассоциации с часами песочными. До происхождения этих кружочков я допер сам, не успев задать лишнего вопроса доктору: под ветром былинка склонилась и остреньким концом чиркнула по песку, проведя дугу, —

так; за день, склоняясь под ветром во все стороны, прочерчивает она идеальный круг, укоренившись в центре. Трогательно это ее частное владение! Еще легкий птичий след, не разрушавший, как наш, одиночества этой поверхности, попадался изредка в какой-то геометрической связи с солнечными часиками травинок, да пролетела, шатаясь над желтым, на голубом — выцветшая бабочка. Маленькие черненькие жучки покусывали, как раскаленный песок, были похожи на песок, были ожившим песком. Божьи коровки в фантастическом количестве шли через пустыню к морю, неумолимые; вниз катились их высушенные погибшие пятнышки. Сказать про тишину — ничего не сказать: в руках у нас были сандалии. Еще реже травинок из песка вдруг коротенько торчал розоватенько-голубоватенький микроцветочек — нежнел.

Фиалка в воздухе свой аромат лила,
А волк злодействовал в пасуемом народе;
Он кровожаден был, фиалочка — мила:
Всяк следует своей природе.

— Вот именно, — осыпался на меня сверху со стружкой песка голос доктора. — Здесь то же самое сказано точнее и короче.

— Это — Пушкин, — сказал я. — Он не делает ошибок. Он — гений.

— Не знал. Не вижу здесь доказательств гения. Это очевидно. Точность — не заслуга, неточность — грех.

— Так это же с юмором... — удивился я докторовой прямолинейности.

— Что ж юмор... — сказал доктор. — Он, конечно, подправляет неточность. Но сказанное с окончательной точностью в юморе не нуждается.

— А бывает такое — окончательная точность?

— У вас не знаю, а в науке — да.

— Ну да!.. — Я вложил в эту реплику столько иронии, сколько мог.

— Да вот тот же Лоренц, о котором мы сейчас беседовали, — парировал доктор. — Это что: всерьез до неточности или смешно до точности? Ни то ни другое — просто точно.

Я согласился и нашел ход:

— Да, он точен. Ну а как же тогда быть с человеком?.. Вы же уклонились от точного ответа. Может ли быть человек точен в определении чужого существования, неточно представляя себе даже свое собственное?

Я был доволен. Вслед за доктором — еще шаг — и я стоял на вершине дюны.

Я успел настичь его вопросом на подступе — и хорошо: здесь бы я его забыл. Сказать, что отсюда открывался вид, — тоже ничего не сказать: я бросил сандалии на песок для свободного жеста руки, которого не произвел. Я смотрел то на одно море, то на другое, но можно их было видеть и одновременно: Западное море было в этот ветренный (открылось на вершине...) день сапфирового цвета с белейшими, как облачка, и словно бы неподвижными барашками. Оно было таким синим, что начисто, будто впитывало, лишало цвета небо над собой. Так что, когда я на него смотрел, то чувствовал себя слегка вверх ногами, будто стоял на голове и смотрел под ноги на небо. Я смотрел на Восточное море: здесь, ровно наоборот, небо выпивало цвет моря, в нем остановились легкие перистые барашки, а обесцвеченная тишайшего, лайкового штиля вода теряла свою поверхность, походая на небесное марево. Западное море было настоящее: соленое, бездонное, а за горизонтом, милях в трехстах, плавала разбогатевшая Швеция. Восточное море было почти пресным мелким заливом, всего в тридцати километрах был литовский берег. Но не было отсюда видно ни Литвы, ни Швеции: оба моря были равны и безграничны, глубоки и солены на вид.

— Да, я вам не ответил на вашу атомную бомбу. Ведь вы ее имели в виду, считая человека столь уж чрезвычайно сильно вооруженным?

У меня все еще кружились в голове Восток и Запад, небо и море, и земли под ногами не было. Именно что ее не было и на самом деле, но это я понял еще позднее. Я кивнул.

— Видите ли, оружие массового уничтожения нельзя считать вооружением в том смысле, о котором мы говорили... Если уж проводить биологические параллели, на что вы меня так бестактно толкаете, то какую-то аналогию с оружием массового уничтожения можно обнаружить в механизмах регуляции численности вида, это гораздо более сложная область, чем та, которой мы касались... Но, в общем, некоторые кажущиеся таинственными до недавнего времени явления получают свое объяснение... как бы сказать... В генетическом коде есть... Это будет вам сложно. Короче, в природе предусмотрены некоторые вещи... Но бомба — это все-таки чисто человеческое, и без вашего насилия я бы такой аналогии проводить не стал...

Я не все понял, оглушенный возникшим здесь зрением, но с истовостью репортера не отступал:

— Ну хорошо. Отбросим это. Но человек — биологическое существо?

— В трех неоспоримых проявлениях: он размножается, питается и умирает, как животное.

Ах, поразила меня эта фраза!

Этому месту как-то существенно присуща смерть, хотя со всех точек зрения тут суший рай. Я уже заикался о некоей чрезвычайной воплощенности, свойственной именно этому месту. Не знаю, много ли подобных точек на нашем глобусе, — я увидел такую впервые и с тех пор такой же не видел. И каждый раз, возвращаясь сюда (возвращаясь, а не приезжая...), я обнаруживал ее в том же стойком значении. Я обещал объяснить особенность ощущения этого географического небытия и дважды откладывал — не мог объяснить себе.

Я говорил, что здесь все как в первом учебнике, что здесь наконец разрешается то почти не замеченное, детское разочарование несоответствия. Преподанное не соответствует действительному — это и есть смысл нашего образования, образования нас — первая трещинка опыта, залегшая в подсознание, которой предстоит быть размытой течением жизни до размеров оврага, быть может тоже более похожего на овраг в учебнике, чем на овраг в природе. Ах, эта картинка плохой печати, где цвет наползает на цвет, отменяя и усугубляя линию! Именно тот апокалипсический овраг был обнажен, напоминал мертвое дерево, молнию, мозг! Наши юные романтические образы бились как волны о бетонный берег действительности: навестив чуждую троюродную тетю в знаменитом портовом городе, мы не видели ни кораблей, ни моря; на нулевом меридиане мы не обнаружим ни линии, ни нуля; из-за деревьев ведь и впрямь не видно леса.

Здесь все было заповедано, в этом заповеднике, — география в том числе: море, залив, дюны, берега, лес, травы, и небо, и птицы не только имелись здесь в самом близком соседстве, но и соответствовали тем самым сокровенным представлениям, связанным с произнесением про себя, закрыв глаза, слов: залив, лес, птицы... Овеществление понятий, осуществление словаря.

Здесь пространство будто бы меньше на одно измерение. За счет этого два других раскрываются полностью. Здесь теснее на одно, зато просторнее на два... Поскольку теорию относительности трудно пояснить каким-либо доступным нам в опыте примером, математики предлагают вообразить себе некоего юмористического персонажа, существующего в двухмерном

пространстве. Признаться, его не легче себе представить, чем саму теорию. Однако здесь, на Косе, я мог существовать почти как такой, более чем плоский, человек — в один лишь профиль. Должен сказать, что существованию этого бедняка, обделенного на одно измерение, можно лишь позавидовать.

Я мог выйти, скажем, из своей будки на западный берег и пойти вдоль моря на север по кромочке прибоя, не встречая ни одного человека, голый, как Адам. И так идти и час, и другой, и третий — целый день и всю ночь, все так же не встретив человека, все так же на север, как по компасной стрелке. Я шел бы так, пока мне не надоест, — скажем, час и другой по западной кромке вдоль шоссе и поплестись назад уже по восточному берегу, но уже строго на юг, но опять по кромке воды, но опять вдоль шоссе, но точно так же имея безграничную воду слева и шоссе справа... Коса вытянулась с юга на север (с неба или по карте по ровной прямой) на сотню километров, а в месте, где я на ней жил, была не шире километра. Так я и разгуливал по этому географическому лезвию лишь на север или на юг, балансируя между западом и востоком.

В ранней школе я помню такие трогательные зоогеографические карты, покрытые профилями зверей соответственно зонам их распространения. Поскольку это были наглядные учебные пособия, то узнаваемыми на карте должны были быть прежде всего звери, и это приводило к нарушению масштабов совершенно катастрофическому. Какой-нибудь зайчик покрывал собою Бельгию и Голландию, «вместе взятые», и кусочек Дании помещался между ушами. Какой-нибудь баран с баснословными бубликами рогов стоял передними ногами по одну, задними по другую сторону хребта Гиндукуша, не говоря уже о слоне (пропорции зверей соблюдались на такой карте с большей строгостью), который легко покрывал собою любую из новоразвивающихся стран. Эта карта невольно сильно преувеличивала место зверей в современном мире, отменяя в детском сознании беспокойство за их судьбу на долгие годы. Так вот на Косе и эта карта вспоминалась как не такое уж и большое преувеличение. Не говоря уже о зайцах, потому что я о них говорил, в каждую свою прогулку вы имели все шансы встретить коосулю, а если повезет, то лису или даже кабанчика. И когда такой зверь в нескольких шагах от вас откровенно перебежал дорогу, пересекал по параллели этот естественно обозначенный меридиан, и был он не в масштабе, а, что называется, «в натуральную величину» на этой самой узкой земле из виданных мною, — масштабы смещались, зверь и впрямь почти перекрывал Косу

от моря до моря, — я каждый раз вспоминал эту карту и снисходительно улыбался этой утрате.

Оттого и птицы летят так охотно над Косою, чиркая крыльями за оба моря. Они летят над обнажившимся меридианом, на время отключив все те локаторы, с помощью которых с такой точностью прокладывают свой безукоризненный маршрут через леса и горы: весною на север, осенью на юг. Птицы отдыхают над Косою, включив автопилот: здесь все ясно, лети себе над. Птицы ночуют на Косе, собирая остатки сил на остаток пути... В общем, Коса — это самый крупный в мире порт воздушного океана, которому нет равных по птицеобороту. Здесь угнездились их исследователи. Здесь и раскинуло свои западни и ловушки рассеянное человеческое сознание.

Какой бы техникой ни оснастил себя человек, каких-то основных вещей он не смог перепридумать заново. И последний автомобиль катит на колесах, как телега, и пища готовится на огне в кастрюле, и рыбу последнюю, хоть и с новейшего сейнера, вылавливает он сетями. И птиц — рыб воздушного океана — ловит он донными сетями, как и рыб — глубоководных птиц. В этом океане слабеет закон Архимеда, усиливается всемирное тяготение, пробка здесь всплывает вверх лишь чуть-чуть, и то из бутылки шампанского, поплавки здесь тонут, а не взлетают, как в воде. Странно смотрятся эти сети со стороны, встающие на фоне дюн, из молодого леса. Издали эта сквозящая, как бы повалившаяся, усеченная четырехгранная пирамида может выглядеть легко и ажурно, по-своему вписываясь в классическую топографию Косы. Вблизи, когда видишь эти громоздкие бревна-распjalки, ржавые тросы-растяжки, с трудом вздымающиеся на едва ли пятнадцатиметровую высоту невесомые на вид сети, то, с долей справедливого успокоения, становится понятно, как трудно по-прежнему человеку своими руками осуществить несложные строительные решения, как сам-то человек по-прежнему неловок и первобытен. И хотя этих птиц ловят не для живота насущного, а надев им на лапку невесомое колечко и переписав, отпускают в океан, какая-то есть справедливость в этой по-прежнему первобытной охоте — равноправие, что ли, птицы и орнитолога, некая доля нравственности в этой ловле (тут я готовно вижу пожатие их плеч: они бы с удовольствием оснастились современнее — была бы возможность).

Летом в сети заплывают случайные глупые пташки. Ловушки уже развернуты после весны зевом на север в ожидании осеннего пролета-путины. После первой марсианской их странности глаз вполне привыкает к ним, они даже что-то добавляют вам к пейзажу, когда вы, взойдя на дюну, охватите в целом этот

сюрреалистический пейзаж из песка, неба и моря, — вполне пристала здесь и раскинутая пустая сеть в этой пустоши, словно здесь недавно было и схлынуло... Глаз привыкает, привыкают и живущие здесь птицы: они расселись на перекладах и растяжках — смелые вороны — на краю грозящей гибели. Не менее смелости, впрочем, для столь уж отрешенного взгляда можно обнаружить и в людях, переходящих, скажем, улицу. Человек не полезет под машину, как и ворона в сеть.

Привыкли к этим сетям и местные жители — в основном рыбаки и семьи рыбаков. Разве что смешно им и жадно, что сеть пошла не по назначению, что так нелепо занятие праздных ученых, получающих, однако, за то не слишком, правда, большие, но все же бесплатные деньги, пока те вкалывают на сейнерах, утруждая мускул...

Однако и от меня требовался небольшой мозговой подвиг, чтобы преодолеть и эту ступеньку, запнувшись об нее, и обнаружить, что, по сути, моя ухмылка не многим лучше той, местной.

Есть ряд злополучных областей человеческого сознания, в которых все себе кажутся в той или иной степени специалистами. Кажущаяся доступность занятия есть мишень для невежды: он в нее попадает.

И впрямь. Следующим объектом, после ловушек, останавливавшим экскурсионное внимание, была некая просвечивавшая насквозь будочка под названием «марковник» (в честь Марка, построившего ее...). На крыше ее были таинственно расположены круглые коробки; в домике шелкали приборы, выглядевшие чрезвычайно усложненно; множество разноцветных, навсегда перепутанных проводов внушало почтение. И тут я про себя отмечаю, что эталоном сложности на всю мою жизнь была и осталась швейная машина, которую мне запрещали крутить...

Скажем, эти таинственные круглые коробки на крыше оказались всего лишь открытыми небу клетками, в которых по радиальным жердочкам прыгало всего по одной птичке. Жердочки эти системой проводов соединялись с электрическими счетчиками, которые и шелкали каждый раз, как птичка прыгала на очередную жердочку. Хотелось Марку знать, на какие из жердочек птичка прыгает охотнее и чаще и в какое время года: на северные? на южные?.. Он изучал ориентацию перелетных птиц.

И только-то?! А какое замечательное сооружение!

Вот на чем я, всем сердцем находящийся на их стороне, милостиво допущенный в их среду, вот на чем я себя ловлю...

В прошлый свой приезд я был поселен на чердаке, над так называемой «людской», где велась камеральная обработка. Это был роскошный чердак — собственно говоря, второй этаж самого большого на наблюдательном пункте дома. На чердаке были свалены старые сети и кое-какой станционный хлам. Я бродил по чердаку, набредая на странные вещи, скажем, связку стеклянных глаз различных размеров, от совиных до воробьиных, для чучел... Мне было здесь хорошо. Я вышагивал мимо сетей по длинному чердаку в напряженном творческом молчании. Наскучив вдумчивым хождением, мог я выйти на своеобразный мостик, площадку наружной лестницы, и посмотреть сверху на открывавшийся мне вид с капитанским прищуром: я видел дюны, и лес, и небо, и ловушку с рассеянными на растяжках отдыхающими птицами. Я мог посмотреть вот так как бы в глубокой задумчивости и со вздохом вернуться к своим не подвигавшимся ни на строку рукописям. Оказалось, что я очень много наработал на этом чердаке: полромана. Это я с удивлением обнаружил, вернувшись, и мое чердачное существование окрасилось особым счастьем и успехом. Я рассчитывал на этот чердак и в этот раз, исчерпав все другие способы. Поэтому, когда чердак оказался занят, я ощутил это жестко, как удар по последним творческим возможностям. В чердаке таилась единственная причина моего молчания.

Чердак теперь был заселен куда более многочисленно, чем мною. Он был уставлен серией клеток с юными птицами, выращенными так, чтобы звездное небо было как раз тем, чего они ни разу в своей жизни не видели. Сотрудница Н. изучала, какую часть в общем комплексе ориентации играет звездное небо... Каждое утро я желчно наблюдал, как она стаскивала с чердака клетки, с тем чтобы в течение дня юные птички находились в более естественных, чем ее опыт, условиях, на воздухе и солнце. И каждый вечер, как начинало темнеть, я наблюдал, как она втаскивала их назад под чердачное небо взамен звездного. Лестница была узка, крута, с шаткими перилами... клетки были громоздки и неудобны, заслоняли ей дорогу... мой взгляд, провожавший бедную Н., не был доброжелателен...

— Не считаешь ли ты, — сказал я, в очередной раз застигнув ее за этим неуклюжим занятием, — что ты давно уже изучаешь влияние ежедневной переноски птиц на второй этаж, а не звездного неба?..

Не получив ответа, я побрел в свою будку.

Будка эта была любезно предоставлена мне сотрудником, ушедшим в отпуск. Она была выстроена для себя, с большим уважением к собственному вкусу. Личность строителя была запечатлена здесь на всем, к чему бы я ни прикоснулся, — клеймо умельца. Это мастерство в прикладных занятиях было особенно характерно для обитателей станции. Само наличие мастерства в наше время всегда являлось для меня значительным свидетельством. Я сознавал, что оно — недаром. Значит, и их основная работа, невидимая обывателю, так и не понятая мною, содержала в себе это качество, раз уж оно столь наглядно проявлялось по периферии... Стройматериалы были найдены на берегу моря; стены были оклеены географическими, историческими (крестовый поход для детей, Османская империя...) и морскими картами, на которых я нет-нет и с удивлением обнаруживал эту вот будочку, в которой жил; все откидывалось, складывалось — столик, стулик, кровать... — не занимая никакого места, крайне удобное в обращении... Я играл в личные вещи хозяина, не находя применения своим. Мысль моя паразитировала в столь уютном пространстве.

И я выходил прочь из будки — болтаться без дела по территории, разминаться на узких тропках с сотрудниками, болтающимися по делу. Я заметил сотрудницу Н. с плоским ящичком улова в руках и прошел за ней в «людскую» посмотреть, что она такого поймала...

Время было непролетное, улов был случайным — она поймала всего трех птичек. Занятие обмера и записи было тысячекратным — мне всегда нравились эти заученные движения, которым было некуда развиваться как в артистизм. Птица в руке — это более чем редкое в обыденной жизни явление. Здесь, казалось, ладонь была для того и выдумана: как удобно, как точно соответствует наша пустая горсть тельцу птички, повторяя его! Как быстро и четко это все: алюминиевая полоска обжата вокруг ножки — запись в журнал, обмер крыла... вот Н. дунула птичке в затылок, раздвинула перышки, определяя возраст, и бросила ее головой вниз в узкий прозрачный кулек — чашку специальных весов: птичка весила свои восемнадцать граммов. Далее — роскошным жестом — взмах кульком в открытое окно... птичка, легко выскользнув, три раза стремительно провиснув в нежданной свободе, улетела навсегда от нас...

Я сунул свой негибкий и корявый в сравнении с птичкой палец сквозь сетку — оставшаяся последней птичка глянула на меня сердитой бусинкой и небожно, но отважно клюнула это чудовище моего пальца.

Я хотел спросить сотрудницу, не влияет ли шок кольцевания на дальнейшую жизнь птицы (шутка ли, с вами бы так!..), — и на этот раз удержался, не спросил.

— Какая славная птичка... — сказал я лирически, доставая из сетки палец.

— Птичка... — презрительно сказала Н. — Который год ты к нам едешь, хоть бы одну птицу запомнил, как называется... Хоть бы эту!.. Ведь станция названа ее именем!

— А как называется станция? — спросил я.

Я вышел. На доме было выведено *Fringilla*.

Fringilla — это всего лишь зяблик. Слово «зяблик» я знаю давно, птицу зяблик я не узнаю никогда. Я принадлежу своему поколению каждый раз гораздо больше, чем предполагал. Не знаю уж, какими изгибами истории, или прогресса, или века оправдать эти бельма сознания?.. Птица, дерево, куст, трава... до личного знакомства так и не дошло. Каким обделенным чувствую я себя каждый раз в лесу! Вот птица вспорхнула с ветки... с какой ветки? какая птица? «У животных нет названья. Кто им зваться повелел?» Как я ценю этого поэта, нашедшего мне оправдание. Действительно, незнание не мешает мне немо и молитвенно упиваться природой, если я ее невзначай замечу... Но — какая же нищета и бедность!!

Птица? — Сорока, ворона, воробей... Может быть, синица...

Цветы? — Роза, ромашка, подснежник...

Бабочка? — Капустница... (Прощай, Владимир Владимирович!..)

Тут входит моя двенадцатилетняя дочь, и я в строку этого текста продолжаю опрос:

— Скажи, только не задумываясь, подряд, какие ты знаешь деревья?

Дочь, несколько удивленно, но послушно:

— Ель, сосна, береза... — Пауза. — Клен, дуб... Может быть, каштан?

Дочь честна, она не называет далее чего не знает: бук, граб, ясень. Это слова, а не деревья. И далее:

— Травы?.. Лопух, подорожник, одуванчик... Остальное — просто трава.

— Майский жук, навозный...

— Кусты... Черная рябина, сирень...

Как быстро захлопывается ряд! Она не знает больше меня. Она знает столько же, сколько я. Ее поколение не поправит ошибки моего, а усвоит их...

— Божью коровку забыла — тоже жук... Птиц больше знаю!.. — обрадовалась она и далее, как молитву, отбаранила

слово в слово мое невежество: — Воробей, ворона, синичку какую-нибудь знаю, попугая маленького, снегиря не видела, снегиря знаю...

Молчит.

— Дятла знаю... Гуся. Утку не знаю. Ну, курицу. Курица — не птица.

— Аиста не знаешь?

— На картинке не считается.

— Чайку? (Молчит.) Рыбу?

— Рыбу совсем не знаю, — обрадовалась она. — Никакой. Лебедь — птица?.. Знаешь, кого знаю! — обрадовала она меня. — Фламинго!

Конечно, век. Вал информации, поток коммуникации. Может, мы для того держим голову столь пустой, чтобы забить ее однажды ценными, практически полезными сведениями? Иначе они могут уже не поместиться?.. Я в это не верю. Я слишком много помню марок автомобилей и телевизоров, больше, чем трав и деревьев. Невежество и есть невежество. В век космоса в космосе побывали единицы, пусть они и не знают имен живого. Но не я же! Это я не знаю, а не все...

Вот что так окончательно и останется для меня неразъясненным: не знать всего этого для нас *естественно*. Мне не понравится человек, зазубривший из снобизма вопреки всем имена мышей и травинок. Он будет вычурен, как сумасшедший, ненатурален как раз со своим натурализмом, *искусственен*. Не знать в век науки свойственно, как дышать. Это меня и изумляет. Всегда кто-то и что-то знает не то, что все. Неужели все не знают одного и того же?..

Существование лишь в двух измерениях: только вдоль и, малодоступное нам, только вверх — подчеркивает соотношение верха и низа, приближает нас к идеалу однородной среды. В каждом скептике, за маской неверия, задыхается романтик. «Белеет парус одинокий...» Романтизм связан с идеей существования в однородной среде, недоступного нам по природе. Поэты с завистью провожают взором моряков и авиаторов, осуществивших мечту. Там наконец осуществляется идея, в чистом, неразочаровывающем виде — «как будто в бурях есть покой». Но — не до конца, не до конца... Они проникают, но не принадлежат. Лишь в аппарате, и только скопом, и не навсегда: разврат возврата — душа разочаруется подделкой. «Ничего больше! Только — лодку и весло! Лодку и весло...»

Лишь сфера духа является для человека доступной однородной средой. Высшая мысль доступна каждому, ее можно подумать разным людям в различных точках Земли и времени, то есть к ней ведут любые пути, но она сама, достигнутая, будет одна и одинакова. Лишь на самом верху мы будем иметь окончательно общую природу, отменяющую одиночество, ту общую природу, с которой мы рождены... Если кто-то дошел до Истины и еще кто-нибудь дойдет до нее, то это будет та же Истина, пути пересекутся. Окончательно равны мы лишь в самом низу (прах) и на самом верху; остальное — пути. Притомившись, странники смотрят в море и в небо — горизонт отступает, и небо все так же высоко.

Так толковал я для себя непонятную идею высшего — так я мечтал на этой наиболее отрешенной из земных поверхностей, с истончившимися, почти невидимыми нитями всех четырех измерений. Два из них перетерлись. Казалось, перетришь последние — и отлетит это земное облако.

Но и эта узость Косы, практически ликвидировавшая одно измерение, и эта безвременность песка, воды, неба и безлюдья в сумме не могли бы дать того эффекта однородности среды, в которой я здесь почти пребывал. И все прочие объяснения, какие я для себя находил, были частичны — не объясняли... Скажем: это западнейшее место империи, уже не Россия, а скорее Германия, бывшая Восточная Пруссия... но еще западней я уже бывал: там земля становилась Польшей и была Польшей, но больше ничем она не была, то есть и на Запад не продолжалось это небывалое состояние земли (ни Россия, ни Литва, ни Германия, ни Пруссия, ни Польша)... Или другая, более основательная, чем сомнительная государственность, причина — режимная: на эту территорию был наложен двойной запрет: заповедный и пограничный — этим непоэтично, но реально объяснялось безлюдье, нерастоптанность, звери... Но опять же — не бесплотность. Находилась и более неожиданная для этой земли, такой органичной и гармоничной, причина: не такой ее создал Бог, такой, оказывается, создал ее человек. Пресловутая ноосфера выглядела здесь в таком случае наиболее оправданно и благородно. Человек по своей инициативе посадил на Косе леса и пустил зверя. С тех пор как возникла та Коса, которой я теперь вусхищаюсь, и века не прошло. В это трудно было поверить, настолько Косе был присущ ее современный вид. Слабым умозрением пытался я представить себе, какой она была без человека, то есть без сосен, берез и ежевики, без лосей, косуль и кабанов: бесчеловечный ветер неистово шнырял по

дюнам, катая их с места на место, сдувая их на восток, бесчеловечный жидкий ивняк трепетал под ветром, бесчеловечно пролетала птица... Здесь хватило бы на пронзительную, воющую, как ветер, но одну балладу: поэт бы позаворачивался в плащ, поприщуривался вдаль, поскрипел песком на зубах, шепча эту великую строку, выразительную, как эта голая Коса, и укатил бы в том же экипаже, подняв верх и задраив шторку, не оглядываясь. Бессмертная поэма уже видела все своими зрячими строками... Нет, такой Косы я не видел и не скорбел о ней — повод задуматься, всегда ли правильно скорбеть об ушедшем: не все воды утекли на наших глазах...

Но и это удивление, что земля эта отчасти искусственна, как и то, что она не моя, как и то, что она запретна, не объясняло еще этого ее особого бесплотного состояния — была и еще, последняя наконец и впрямь причина: эта земля не была землею вообще. Принципиальный картограф мог бы не наносить ее на карту или должен был подыскать новый род условного обозначения — не земли и не воды — род пунктира. Она не удовлетворяла признакам, которыми мы определяем сушу, во всяком случае, основному признаку, то есть с точки зрения науки, верящей признакам, а не глазам, землею и не была. Коса — с такой, буквальной точки зрения — была морем, а не землею. Это было дно, гипертрофированная отмель, высунувшаяся из воды. Строгий ученый сказал бы, что она не более земля, чем спина кита, вынырнувшего из воды, с тем чтобы через время нырнуть опять. Он бы снисходительно усмехнулся: обычная ошибка — путать человеческое время с геологическим. С геологической точки зрения Коса временно высунулась над поверхностью Мирового океана, на время, столь короткое, что и действительно более сравнимое с существованием как суши спины кита, чем с какою бы то ни было, даже самую мимолетной, геологической эпохой. Она и впрямь мимолетное образование, эта Коса, — ее перегоняет ветер, она несется в сторону материка со сказочною скоростью: десятки сантиметров в год. Человек пытается остановить это геологическое мгновение: оно прекрасно. Он насаждает леса, проектирует некую чудовищную дамбу, ограждающую Косу от моря. Но когда он его наконец остановит, мгновение, это будет уже не Коса, это будет — дамба.

Это уже годилось в объяснение, превращая удивительное в убедительное: здесь не было ничего от материка. То, что это не область внушения — особое состояние земной поверхности на Косе, — доказывается не только обратной последовательностью, необъявленностью причин и первозданностью удивления, но и следующим, последним настигшим меня фактом: в духов-

ную чистоту Косы был вкраплен материковый прыщ — Коса в своем беге настигла островок, но еще не обогнала его; на этом слившемся с Косою отрезочке материка вы ощутите разницу: здесь иные токи пронизывают землю, здесь более плоское, более плотское и злостное все, даже небо; здесь поселились рыбаки, корявые люди, бегают низкорослые, корявые их собаки (будто особая порода под постоянным воздействием ветра...). Здесь другой воздух, другие дожди — здесь *земля*. И местные жители будто и впрямь живут как на острове, не считая Косу за сушу, с каким-то чуть ли не пренебрежительным прищуром, если не испугом, смотрят они со своих огородов на нее, как вдаль, как в море. Чужое — это не свое.

По имеющимся у нас сведениям, человек не способен вообразить себе то, чего он так или иначе не видел. Образные представления человека об аде гораздо более развиты, дифференцированы и детальны, чем о рае. К тому же ад, так сказать, хорошо заселен нами и нашими знакомыми. Ад нам как бы понятен.

Достаточно изобразить в тесной близости (скажем, на одном холсте) и одновременности встреченное нами в повседневном опыте, и ужасное соседство кастрюли, розы и слизня в раковине (прелестный дворик хозяйки в Крыму, где я пишу вот эту страницу...) исполнится адского смысла. (И птицы еще не улетели из этого повествования... у Босха мы обязательно встретим и птицу и рыбу, причем взгляду птицы, что самое ужасное, он всегда придаст не устрашающее, а такое любопытно-добродушное выражение...) Ад Босха состоит чуть ли не прежде всего из полного перечня предметов быта и орудий ремесел его времени. Судя по подлинности изображения, они воспроизведены в точности. По всем правилам и со всеми приспособлениями строительной техники строится нечистыми их башня. Грешники подогреваются в кастрюлях и на сковородках, которыми, по-видимому, пользовалась любая домашняя хозяйка. Просто этих обыденных предметов и орудий много, они все сразу, за один взгляд. В аду Босха пугает именно сходство с жизнью... Ад обетованный...

Рай мы представляем себе бедно и непривлекательно, до сосушего ощущения скуки во рту: кущи... Побывав на Косе и не

встретив в своей жизни ничего ей подобного, я могу себе представить рай будто бы с большей достоверностью: этот мир тоже неотличим от нашего, в нем не придумано не виданного нами, зато многое из виданного устранено. Этот мир безгрешен и свободен, он бесстрастен, в нем нет боли и нет надежды: он лишен нашего отношения к нему: он есть, но он без нас, он как бы и без себя. Оттого и существование здесь так удивительно не отягощено, что нас в нем нет, а когда мы в нем, то это уже — как бы и не мы.

Не знаю, почему в этом раю так легка мысль о смерти... Может быть, потому, что ведь и сам рай — после смерти, потому, что смерть — уже была...

С этого дня и каждый день... я выходил из-за своей непишущей машинки и сразу, за порогом, оказывался там, где писать нечего и незачем, потому что достаточно видеть, видеть и благодарить судьбу за то, что даны глаза и дано глазам. Я делал несколько шагов по песку в сторону моря и, за следующим барханчиком с растрепанной причесочкой осоки, знал, что увижу море. Это каждый раз оправдывавшееся ожидание никак не утрачивало своей остроты: я огибал пол-барханчика, в ложбинке, последним, самым сильным порывом, будто не пускал ветер, — и вдруг стоял на берегу и опять понимал, что и там, в будке, где машинка, и пока я шел, все время шумело море, что этот шум и выманил меня посмотреть, что шумит: оно и шумело. Я вдыхал подчеркнутой грудью и неизбежно смотрел вдаль.

«Вот так бы всегда и смотрел...» — эта банальная фраза достаточно точно передает смысл моего занятия: за ней следует вздох, и я уже не смотрю на море. Меня занимает вопрос: чем ограничено наслаждение, если на его пути нет препятствий? Мне некуда было торопиться, и не было человека, который бы меня поторопил. Не полчаса и не пять минут, думаю, что и не минуту, а так с полминуты, причем последние секунды натужные и искусственные, прищуривался я вдаль, а там — произнес этот мысленный вздох — и все было кончено.

Я спросил доктора, что он по этому поводу думает, когда мы повернули назад...

— Простите, что я в сторону... Но вот мы шли и шли с вами по берегу, вполне поглощенные беседой, которую и сейчас поглощены, а я вот последние минут пять нет-нет и думал: когда мы повернем назад? Мы не голодны, и не устали, и, судя по всему, никуда не торопимся и не скучаем; берег на всем протяжении практически одинаковый, местность не

переменится до завтрашнего дня... Однако, думал я, мы — повернем. Что было и что кончилось, что мы повернули назад? Какая константа срабатывает в нас, определяя степень насыщения и протяженность каждого действия? Допустим, нас ничего не связывает и не обязывает — мы не можем на симпатичную необязательность беседы отвести всю жизнь... Но представьте, что вы влюблены, идете с любимой — ведь тоже повернете назад. Ждать под часами вы будете полчаса, час, у подъезда — всю ночь, но не до Нового года. Вы расстаетесь с рассветом: девушке пора домой, мама и все такое... но ведь и час назад была та же мама и уже много часов пора было расстаться, однако почему-то именно в эту минуту становится окончательно пора. Соловей или жаворонок? После какого по счету уговаривания Ромео наконец уходит? Почему не раньше и не позже? Почему я не думал о времени, пока мы шли, и сейчас не думаю, а мы идем уже назад? Какая мысль заставила нас повернуть?

— По-видимому, в данном случае вот эта и заставила, — сказал во всем точный доктор. Мои рассуждения были настолько ненаучны, что он их миновал. По этому поводу он мог мне поведать лишь о биологических часах. Но это было уже совсем о другом... — Видите ли, биологические часы — это...

Я слушал его, и меня донимало теперь следующее соображение: чем занята, а чем не занята наука? Разве мой вопрос не может быть изучен с точностью, рассчитан, объяснен? Какую закономерность из множества закономерностей выхватывает наука для изучения?

— Следующую, — сказал доктор.

— То есть?

— Мы ищем закономерность, следующую за открытой нами.

— Не кажется ли вам в таком случае, что вы неизбежно уйдете в сторону?

— То есть? — спросил доктор.

— То есть вы начали изучать явление, открыли некую закономерность, от нее нащупали ход к другой, от той к пятой и так далее. Не забыли ли вы о явлении, которое начали изучать?

— Ага, — сказал доктор. — Не забыли.

— Ну как же, — ослабилась я. — Вы изучаете птиц. Вас заинтересовали перелеты. Вы изучаете перелеты — вас заинтересовал энергетический фактор. Вы изучаете обмен, как там, метаболизм? — сосредоточиваетесь на изменении веса птиц. Изучаете жир птиц. Не кажется ли вам, что вы уже изучаете жир?

— Но ведь мы все до этого уже изучили?

— Но у птицы есть глаза, крылья, птичий мозг есть у птицы?

— Скажите, — рассмеялся доктор, — вы никогда не были двоечником?

— Был, — согласился я.

Вот так выходил я на море, либо чтобы застать на берегу только что вышедшего на берег доктора, либо он выходил следом за мною, заспанный, прошедший бессонную ночь в расчетах. Не складывались его цифры, молчали мои буквы — не здороваясь, мы продолжали вчерашний разговор.

Я потерял всякий стыд. Я отдавался тщеславию быстро-схватывающего ученика. Я задавал ему вопросы, не заданные в раннем детстве. Может, я и не получал на них ответа, но от комплекса освобождался. Все те вопросы, без ответа на которые я отказывался понимать дальше и получал неуд. Больно ли насекомому? думает ли птица? чувствует ли дерево? есть ли у зверей чувство юмора? куда подевались промежуточные эволюционные звенья (то есть почему человек бежал по этой лестнице через ступеньку?)? прекратилась ли эволюция и почему? чем питается такое количество комаров в мое отсутствие? можно ли без ущерба удалить паразитов из биологической цепи? есть ли наружные половые органы у птиц? И все это довольно быстро сводилось к какому-нибудь из коварных вопросов, которые, в свою очередь, сводились к одному: что есть человек?

И не было ответа на этот вопрос. Одни косвенные оговорки.

— В том смысле, в каком вы хотите, — сказал наконец доктор, — ответа и быть не может. Человек равен самому себе. На большее он не способен. Что такое человек, мог бы знать один лишь Бог, если бы он был.

— Вы уверены, что его нет?

— Думаю, что его не было.

Я открыл было рот еще дальше — он сказал:

— Не будем говорить о нем всуе. Эта заповедь не противоречит науке.

Я слаб насчет полезных сведений... Все, что он знал как специалист и что я мог почерпнуть от него с точностью, пролетало сквозь меня, навывлет. Меня всегда интересовало, как в конфеты «подушечка» варенье кладется...

То, что я от него узнал по делу, вполне могло уместиться на какой-нибудь задней обложке «понемногу о многом» или «ничего обо всем». Кажется, в Новой Зеландии водится некая птичка, которая в брачный период строит на земле домик

с дверью и, ухаживая за самочкой, приходит на свидание с цветочком в клювике. Или — что птицы раньше людей всегда знали, что Земля — шар, в то же время азимут во время перелета птицы берут из допущения, что Земля — плоская (может быть, я уже перепутал...). Или — что птицы не болеют...

Последнее я пережил несколько с большим вживанием, чем прочие занимательные сведения... Это утверждение пришло в полное противоречие с другим, накануне поглощенным мной (я, естественно, все принимал на веру), а именно: что все птицы больны, что нет небольшой птицы.

— Это только кажется, что птицы весело порхают, — с долей элегичности сказала мне сотрудница Н. (она возвращалась с ловушек и несла в специальном плоском ящичке, затянутом сверху сеткой, с фоторукавом на входе, трепыхающийся улов). — Это сверху — перышки и чистота. Подержал бы кто-нибудь их, как мы, в руке — увидел бы, что они кишат, бедные, паразитами, покрыты болячками и травмами...

Эти тяготы за внешним покровом легкости (еще бы — парят!) вызвали во мне доверие и сочувствие. Доктор пояснил мне мое недоумение: это все внешнее, и это так; птицы не болеют в том смысле, как другие теплокровные, в том числе и мы: они не болеют с температурой, ей некуда повышаться. Тут я понял в полной мере те 42 градуса, небольшое из того, что помнил со школы: птицы живут на пределе (цена полета...). Их обмен протекает на пределе интенсивности, возможной для теплокровного. Они все в горячке и лихорадке. Наше легкое 37,5 это их 43, то есть смерть. Вот в каком смысле не болеют птицы.

Мне представилась действительная теснота жизни, на которую каждый из нас жалуется с такой интенсивностью именно, чтобы не представлять себе полную меру (наши трудности все — временные, нам не хочется представлять себе, что они и есть норма, что бывает, например, война, когда люди не болеют, почти как птицы). На этой редчайшей Земле, где кислород разведен ровно в той мере, которою мы можем дышать, где нам еще с грехом пополам хватает пресной воды, еще и температура тела заключена в узенький, как луч, диапазон, где $T < 42^\circ$. Все это пространство поделено и переделено на ниши и ареалы, где нам, летая и глотая с утра до ночи, еле хватает пищи продержаться эти 42(37) градуса, где переостыть или перегреться, как недоесть и недопить, — смерть. Все это вплотную и впритык, все пересечено и взаимосвязано так, что, если бы было время оторваться от насущности прокорма, когда твое существование необходимо кажется тебе единственным, и задуматься, то и не смочь отде-

лить свое существование от другого, и отдельное ли ты тело или сросшаяся часть общего, так и не скажешь наверняка.

Вот — птица. Это большая птица. Загляните ей в растопыренный глаз — вы не встретитесь с ней взглядом. Это у маленьких пташек те живые бусинки, что кажутся нам понятными. У этой — дикий, ужасный, красный глаз. Это в небе она красива («то крылом волны касаясь...») — здесь, в руке, она уродлива и страшна. Она — настолько не мы, что ни в какой грех антропоморфизма тут не впадешь.

Это была чайка (сотрудники спорили, определяя ее вид). Чайки не попадают в ловушки. Ее принес мальчик Саша, юннат, приобшавшийся к будущей профессии на биостанции. Он был розов, круглощек, черноглаз, юн, здоров, любим мамой. Чайка была потрясающе на него непохожа. Он был возбужден и без конца повторял свой рассказ.

Как Иван-дурак жар-птицу, он поймал эту чайку руками. Прыгнул, как вратарь, и поймал. Честное слово! Он шел по берегу моря, вся стая снялась, а эта сидит. Он прыгнул. Правда, руками... Он сам в это не верил: мыслимое ли дело, человек, который ловит руками чаек!.. Подвиг его таял в собственных глазах. Никто его не осудил, но никто и не одобрил. «Я ее два часа нес!» — обиделся он.

— Так она же с голоду подойдет! — сказал кто-то.

Это предположение повлекло за собою немедленные действия...

Я часто про себя отмечал некоторую достойную несентиментальность практических дел (и это мне, уже более сентиментально, всякий раз нравилось). Так, сотрудники полевого стационара, сами питаюсь весьма однообразно (каши и концентраты), каждый день варили и крошили яйца, терли морковь и т.д., чтобы кормить своих пернатых пленников тем, чего сами не ели. Они напоминали родителей, дети которых никогда не выйдут из детского возраста. Или, например, каждый из них без малейших угрызений совести распотрошит птичку для своего бессмысленного эксперимента, однако, если случится какая непредусмотренная порча, они чрезвычайно досадуют и огорчаются. Однажды в ловушку залетело слишком много птиц, их не успели своевременно освободить, и много птиц погибло — так они их съели! Дело не только в некотором профессиональном шике, в подчеркнутой небрезгливости к живому,

в профессиональной свободе от обывательских представлений — они способны съесть и ворону и лисицу (отравленного или несъедобного мяса нет! — еще одно периферийное открытие, сделанное мною для себя в их среде: памятка на случай голодной смерти в лесу — чего не бывает!..) — дело еще и в пусть неосознанном искуплении вины перед природой, в которой ничто не гибнет напрасно. Они превратили этот прецедент в охоту (волк не кровожаден, а голоден, добывая себе пищу...), они искупили вину, ритуально вписав свою оплошность в экологическую систему, сделав вид, что птиц этих они добыли для живота своего...

...Было раскрошено крутое яйцо, и сотрудник, умело держа птицу, умело раскрывал чайке клюв и пытался ее накормить. Чайка понятия не имела о том, что ей желают добра. Она не имела понятия и о том, что отказ от пищи грозит ей смертью. Она не представляла себе, что она в руках профессионала и ни единое перышко ее не будет повреждено: наверно, она полагала, что ее схватили, чтобы сожрать (чайку, в случае чего, тоже можно съесть, хотя она чрезвычайно невкусна). Она видела себя в окружении людей, совершенно непохожих на чаек, и не видела спасительного моря. Она не хотела есть, она страстно исторгала из себя эту спасительную пищу, будто отраву. Герой оказался в стороне, он недоумевал, он растерянно смотрел на свои пустые руки, поймавшие птицу. После обеда чайка умерла. Ее тоже пытались «пристроить» во имя цельности экологической системы — отдали Кларе. Клара была, однако, возмущена. Это возмущение она выражала очень по-человечески: каркала, отмахивалась крыльями, как руками, оскорбленно молчала и отворачивалась на ласковые увещевания. Я не стал расспрашивать об истинной природе этой оскорбленности (плохая еда), по-своему разделяя Кларины чувства.

Со своим бешеным, исполненным смертельного ужаса взглядом, не исполняющим никакого взгляда в нашем понимании, эта давящаяся чайка стоит перед моими глазами, представляя собою для меня как бы обобщенно *одну* птицу. Эта одна-птица, если бы мы не привыкли к их вообще существованию на земле, представляет собою *чудовище*, то есть устрашающе-огромное чудо, какого на самом деле быть не может. У нее только две тонкие ноги, на ногах когти; она покрыта даже не шерстью, а какими-то жестковолосыми плоскими костями, которые нель-

зя назвать никаким уже понятным нам словом, и мы изобретаем слово «перо»; у нее маленькая змеиная головка с невидящими глазами по бокам, она не посмотрит на вас одновременно двумя глазами; у нее совмещен рот и нос — вместо всего этого у нее рог, который она раскрывает с мерзким звуком, мы не найдем для этого слова и условно обозначим «клюв». Вместо рук или передних ног у нее два веера, — если бы к ним не было приложено это обтекаемо-горбатое противоестественное туловище, они бы, может, показались и нам красивыми. Но если страшны порознь эти противоестественные детали, какой же это монстр в собранном виде! Увеличьте насекомое, к которому мы все испытываем инстинктивную брезгливость и неприязнь, до размеров кошки — и вы поймете, какие на самом деле испытываете эстетические чувства, впервые увидев эту одну-птицу.

Я вышел к заливу. Если берег моря был жив прибором, всяким меняющимся интересным мусором в его полосе, изрезанностью и неровностью облесенных дюн, то лысый, безлесный берег залива, замершего в штиле, был особенно голопуста и безжизнен. Линии здесь были другие, чем на море, особенно плавные, непогрешимо лекальные. Дюны здесь высились и подступали вплотную к воде, круто обрываясь под тем максимальным углом, который сразу наводил на мысль о математике — сыпучее тело. Все это сыпалось — только тронь. Но никто не трогал, и все это застыло в немыслимом знойном равновесии. Над раскаленным за день песком дрожал воздух, превращая этот и без того приснившийся вид в мираж. Я стоял на гребне гигантской песчаной волны, не прекращающей своего мучительно замедленного бега в сторону материка: здесь она разбивалась о мертвую гладкость залива точно так, как море разбивается о берег. Этот негатив привычных представлений, плавность этой песчаной крутизны под ногами была головокружительна. Здесь запускать планеры и бумажные змеи... Эти перепончатые бесшумные призраки самолетов подошли бы пейзажу едва ли не больше, чем птицы. В снастях моих ныл ветер. Я сделал шаг в пустоту, испытывая чувства Икара. Песок провалился под ногою, огибая икры. Тремя гигантскими шагами слетел я с тридцатиметровой высоты к воде, меня догнала и засыпала по колено река песка. Я прибавил свою миллимиллидоллю, ускорив общий бег Косы: за спиною тоненько просыпался песок, выравнивая мой след. В нескольких шагах у воды лежал на своем широком боку мертвый лещ, торчал съеденным боком. Его еще продолжающаяся смерть была, казалось, единственной здесь жизнью. И тут надо мною, неподвижная, как

планер, медленно проплыла умершая вчера птица. Была такая сказка о человеке, искавшем страну бессмертия.... он ее как бы нашел: там ничто не менялось, не старело, и время там не шло, но оказалось, что раз в тысячу лет туда прилетает птица и уносит ровно одну песчинку, означающую эту тысячу лет как секунду. Человек этот был разочарован: и в этой благословенной стране завелось время... Эта вчерашняя птица надо мной показалась мне из этой сказки: неумолимая песчинка моего времени была зажата в ее клюве. Не вынимая ног из песка, как бы вросши, я прислонился спиной к дюне. Не было имени у того, что я видел. Я увидел воду, я увидел рыбу, я увидел небо, я увидел птицу... не было у них имен. Я не знал, что это называется водою, небом или птицей. Может быть, передо мной до горизонта простиралась рыба, а над головою была одна бездонно голубая птица? Может, передо мной умерла вода и испарилось, скрывшись из взора, небо? Мне не было известно, что за горизонтом не обрывается мир. Слова были наконец пусты, как легчайшие хитиновые покровы, смешавшиеся здесь с песком. Так ведь они и есть — пусты. Я отделился от языка, бубнящего мне, что мир есть, что он на каждом шагу, что — вот он. И как всегда, я вздохнул, я оторвал спину от дюны, глазами которой секунду смотрел перед собой, вытащил по одной ноги из песка: рыба была рыбой и называлась лещ, птица была не небом, а чайкой, передо мною простиралась не рыба, а вода под названием залив, ну и небо — воздух, воздушный себе океан. За горизонтом прочно лежала невидимая мне Литва. Одно лишь небо не имело горизонта, за ним находилось неизвестно что, впрочем тоже кем-то расслоенное на сферы и термины, но слова эти живут лишь в учебнике — оттого в небо мы еще можем взглянуть иногда в этом немом смысле зрения. Я был смущен названностью всего, этой прикрепленностью знанием, никак не содержащимся в вещах, которые я вижу. Что мы видим: предметы или слова, называющие их? По крайней мере, ясно то, что у мира, который мы познаем, нет обратной связи с нашим знанием. Даже если оно точно отражает мир. Оно его лишь отражает. Но мир не смотрится в это зеркало.

Это и есть человек. Вы, конечно, можете поднести руку к глазам: моя рука; посмотреть в ноги: мои ноги... но само по себе вперед смотрящий человек не видит себя, тем более не видит он своих глаз, как не видит себя и зеркало. Но и то, что вы можете увидеть на себе как принадлежащее неотторжимо вам: руки, ноги, пуп, под пупом... — это ведь не вы, это оболочка, тело, вы внутри которого... Посмотрите

вперед — вас нет. Может быть, вы и есть то, что у вас перед глазами?

Небо было пусто и перестало быть пустым. В нем пролетело сразу много птиц, стая. Небо стало пусто. Когда летела одна птица, я видел одну птицу. Это точно. Сколько их пролетело сейчас? Десять? Больше. Сто? Меньше. Я не знаю точно, сколько их пролетело: пятьдесят пять или пятьдесят девять — я не успел их пересчитать. Но точно одно — их было конечное число, и ни одной больше или меньше, я это число не смог узнать, и больше не узнает его никто. Но раз это число было точным и конечным, то оно есть так, будто его кто-то знал... «У вас же и волосы на голове все сочтены...»

Одна птица, а потом сразу много, но сколько?.. Единица — вот число, которое я знаю. Один — вот счет, который веду.

Деление на единицу есть реальность.

— С трудом, но, кажется, я догадываюсь, о чем вы... — сказал доктор. — Науке и впрямь свойственна некоторая узость — она занимается не столько мировыми проблемами, сколько вещами, которые способна установить в точности. Но в ваших претензиях, выражаясь в близкой вам терминологии, есть некоторое непонимание жанра. Блестящая мысль, которую мы не можем доказать или подтвердить экспериментально, для нас непрофессиональна. Это дилетантство, в лучшем случае — досуг. Принятая на веру, красивая мысль может увести далеко и непоправимо. Некоторая косность должна входить как бы в этику подлинного ученого, у которого идей — пруд пруди. Действительно, меж единицей и множеством у нас отчасти пропуск; множество ведь тоже берется в каком-то смысле как единица. Зато единица берется как элемент множества...

Мы шли вдоль берега и не видели моря. Вчера был «ящичный» шторм — на берегу были разложены разные любопытные вещи, как товар на бесконечном лотке. Мы шли по этому ряду. Реже деревянных попадались ящички пластмассовые, яркие. Можно было найти бочку или ведро, тоже легкие и цветные. Если повезет, они могли оказаться даже целехонькими, без причины смытыми с палуб. Красивые, там и сям валялись пластмассовые шары — поплавки рыбацких сетей. Шары находились в полной сохранности, только неизвестно было, что делать с их окончательной формой и утраченным назначением. Мы шли, развивали мысль, и вдруг в этой мысли проскальзывала некая невнимательность: впереди что-нибудь

синело или краснело, притягивая. Мы старательно не убыстряли шаг. Мысль цепенела, сужалась и как бы находила свое естественное завершение: это была половина алого пластмассового ведра, вертикальный срез. Ведро было повернуто к нам назло цельной стороной. Мы миновали этот обман — новая мысль набирала новую силу. Новый призрак новой вещи впереди означал следующую паузу или неожиданный поворот темы...

— Вы никогда не думали о природе этой тяги человека к собирательству? Грибов, ягод, птичьих яиц, коллекций? Или даров моря?.. — сказал доктор, подкинув ногой желтый поплавок, — тот скатился назад, в вялый после шторма прилив. — Чтобы понять, что мы унаследовали от предков, нужно знать, каков был наш предок. Человек морфологически мало специализирован к добыванию определенной пищи, и исходная экологическая ниша человека — собирательство плодов, побегов, корней, яиц, мелких животных и прибрежных выбросов. Такой способ пропитания малопродуктивен и требует энергичной и разнообразной деятельности. В отличие от многих других видов (например, растительоядных) пищевые ресурсы человека были ограниченны, а голод был перманентным состоянием...

Так он сопротивлялся, когда я пытал его насчет человека, зато легко проговаривался сам. Хотя он и был полон благого убеждения не использовать свой опыт эколога и этолога в отношении человека, но — сам был человек, и не думать о том же, о чем и я, он не мог. Так, сам того не желая, поведал он мне уже достаточно. Соображения эти были для меня в чем-то настолько убедительны, я с такой легкостью верил в них, что сама эта легкость казалась мне лучшим из доказательств. С увлеченностью дилетанта я уже пользовался многими преподанными мне понятиями как своими. Разговор наш строился по такой схеме:

— Вы говорите, — вцеплялся я, — что... Не следует ли из этого, что... Нельзя ли в таком случае заключить так?..

— Да, пожалуй, так можно сказать, — неохотно соглашался доктор.

— Тогда, — говорил я, — можно предположить, что...

— Можно и так предположить, — вяло соглашался он.

— Выходит, что человек... — выходил я на свою прямую.

— Нет, — говорил доктор и легко, с запасом, опровергал меня.

Временно я отступал, кивая.

Но он уже привык к необязательному характеру наших бесед. Исподволь я развратил его. Его императив слабел. Думаю,

что это не я был убедителен, — давно и неприменимо скучали в нем все эти мысли... Сначала он говорил лишь о первобытном человеке. В этом смысле он мог обронить такие окончательные фразы:

— Человек имеет невысокую плодовитость по сравнению с другими животными.

Или:

— Процветающие виды стремятся увеличить свою численность и территорию настолько, насколько это возможно. Человек — процветающий вид; его стремление к расселению и увеличению численности естественно. К началу нашей эры численность людей на Земле оценивается в два-три миллиона... Это античный мир... — вздохнул он задумчиво.

— Мальтус... — сказал я. У меня на зубах заскрипел песок.

С Мальтусом у доктора были сложные отношения. История манила его. Там, в глубине ее, где были стерты суетные детали и счет шел не на десятилетия, а на века, проступали эпохи, соблазнявшие в нем эколога.

— Вы думаете, почему остановился Александр Македонский?.. Нет, нет, его военная машина была безукоризненна. В мире не было ничего, что могло сопротивляться ей. Просто он настолько далеко ушел за пределы своего ареала, настолько давно уже были завоеваны земли, достаточные для дальнейшего упрочения и процветания родины, что биологический смысл этой агрессии (расширение территории для процветающей популяции) полностью иссяк. Он достиг Индии и Средней Азии уже как путешественник, чуть ли не любитель-этнограф: рядился в национальные одежды новых стран, которые покорялись ему уже условно: ему нечего было делать, как уйти из них без каких-либо шансов впоследствии дотянуться до покоренной страны... Повернуть назад он не мог, словно забыл, откуда вышел. Смерть его была невнятна. Так захлебывается любая агрессия, устанавливая лишь необходимую границу расширения своего ареала.

— Любопытно, — отметил я. — Давненько мы не воевали... Можно ли считать современный туризм сублимированной агрессией?

— Это вы мне говорите или я вам?! — Искусившись, доктор уже не мог остановиться, как тот же Александр. Имперскими шажшицами измерял он историю.

То же оказалось, с точки зрения доктора, и у более поздних — норманнов (так он подползал к более близким нам эпохам, а я, как охотник, притаившийся в своей заимке, не дышал и не шевелился — не перебивал).

— Викинги тоже обладали военной мощью; сравнимой со Спартой, им не было равных — они могли бы завоевать мир, с нашей точки зрения куда более пригодный для жизни, чем их скалы и фьорды. Но они поступили с биологической точки зрения последовательней Александра: они были в силах овладеть Европой, однако открыли нежилые для европейцев Исландию и Гренландию и — до Колумба — добрались до северных берегов Америки, — они распространялись лишь в пределах свойственного им ареала северных морей.

Меня всегда занимало, с каким видимым облегчением опускается человек... Только наберешь уровень, виражами, как та же птица, и тут же летишь камнем, приняв за суслика совсем уж несъедобную дрянь. Но и я не мог остановиться. От викингов уже начиналась история России.

— Хоть и север, а не их ареал, — сказал доктор, — в России они обрусели. Их власть увязла.

— Это как в прибайтке, — сказал я, — иди сюда, я медведя поймал...

— Вот-вот, — согласился доктор.

— А татары почему застряли в нас же? — продолжил я.

Доктор хмыкнул, пожевал и заключил:

— Степи кончились.

— Это вы подумали или я сказал?.. — восхитился я. — Так что там случилось с Наполеоном?

Но дальше он не шел на заман моего восхищения. Он остановился, как Александр, слишком далеко зайдя в своих выкладках. Смолк. Посмотрел вдаль.

Море к вечеру совсем успокоилось и замерло, отлакированное, словно сытое и более густое, чем вода. Бродя по нему каждый день часами, давно я его не видел... Кроме ящичных штормов бывают еще штормы «бутылочные», выбрасывающие невиданные, не питые мною бутылки и фляги из-под виски и джинов, бывают «янтарные», выбрасывающие последней волною крошку янтаря. Давно уже я смотрел только под ноги в надежде найти янтарину «с голову ребенка», или целую канистру, или хотя бы плоскую фляжку... но ничего из того, чем набита была кают-компания Станции (однажды ими был найден бочонок с еще годным вином, а однажды — большая банка черной икры, к сожалению, уже негодной), я упорно не находил, не зная, что в поисках этих мною руководит пращур, что это — моя экскурсия в пра-нишу человека... Нашел куриного бога, и только. Давно я, оказывается, моря не видел, не поднимал головы, довольно быстро располагаясь в нише предка. Вечернее море

серо розовело, опалово высветлялось к горизонту и там истаявало, иссякало такой нежной линией, которую проявлял лишь тоненьким острым штришком намеченный там пароходик. И солнце сходило, неправдоподобно увеличиваясь и краснея. Глаз не оторвать... Я оторвал — наконец увидел, прямо под носом, темно-вишневый пластмассовый ящик из-под шведского пива с тремя невыцветшими золотыми коронами на нем...

— Пусть так. Хорошо... — вдохновившись ящиком и поворачивая к дому, рассуждал я. — Если экологическая ниша первобытного человека — собирательство и раз он покинул эту нишу, вскарабкавшись по пирамиде жизни на самый верх, до предела расширив свой ареал и расселившись по всем территориям Земли, вытеснив все другие биологические виды, то что же теперь его ниша, его ареал? Что можно обозначить как экологическую нишу современного человека? Саму планету Земля? Можно так выразиться?

— Это несколько тавтологично, — пожал плечами доктор. — Впрочем, пожалуйста.

Все это напоминало опыт с лоренцевскими рыбками, построившими свои домики в противоположных углах одного аквариума... Они проводят границу владений строго по незримой математической середине, и стоит одному из соседей даже ненароком нарушить ее, как другой преисполняется ярости к нарушителю и гонит его со своей территории через всю его территорию, пока не загонит агрессора в его-дом-его-крепость. В собственном доме трусливый соперник тут же набирается правовой энергии и совершенно вне себя выскакивает и гонит оробевшего вмиг противника через весь аквариум, загоняя того, в свою очередь, в его дом. Там уже тот набирается силы... и т. д. Маятник войны, качнувшийся от случайного нарушения границы, затухает необычайно медленно, все это длится часами, пока не обозначит все ту же невидимую границу. Тогда, постояв над ней нос к носу, враги расходятся как ни в чем не бывало, поклевывая песочек, с видом, что просто вышли попастись по обочинам своих владений... Так мы иллюстрировали то, о чем говорили.

— Хорошо, — закреплялся я, продолжая гнать доктора в сторону дома. — Тогда, с другой стороны (прекрасный ящик ритмично бил меня по колену...)... можно рассуждать о Земле как о единой экологической системе, как об экологической нише самой жизни на Земле... (Доктор пока не возражал.) Можно сказать, что к моменту появления человека на Земле завершилась как бы и эволюция жизни? (Доктор все молчал...)

Что к тому моменту земной шар в целом представлял собою совершенную, хорошо развитую, надежную, окончательно сбалансированную экологическую систему, где все было взаимосвязано, образуя замкнутый кругооборот, не нарушавший никак точности общего баланса жизни и возможности постоянного возобновления земных ресурсов, куда гармонично и ничего еще пока не порушив поместился и первобытный человек-собиратель? Так, я пока не противоречу?

— Себе или мне? — скучно отмахивался доктор, как бы плавничком.

— Логике.

Нет, то была иная порода рыбок, иная игра: чтобы поселиться в его доме, я загонял его в свой. Для чего и требовалось для начала самому из своего съехать...

— Человек (и это как бы уже я сам говорил) покинул свою первоначальную нишу, в которой он существовал наравне с другими видами. Можно ли сказать, уже не в том смысле, который вы упрекнули в тавтологии, а в более соответствующем определению, что экологическая ниша человека как раз и есть тот «запас прочности» Земли как наиболее общей экологической системы, то есть некий диапазон ее существования от времени человека-собирателя до мировой катастрофы, приводящей к гибели всего живого? В начале века нас было полтора миллиарда, к концу будет шесть.

— Опять вы о Мальтусе! — И доктор снова поскрипел песком на зубах. — Нельзя измерять пространство временем, как делаете это вы. Экология рассматривает лишь уже существующие экологические системы. Лишь в этом смысле она — наука.

— Несколько неловко должно быть человеку, — сказал я, будто это доктор все подстроил с его экологией, — если не стыдно: быть венцом Творения и понимать это лишь так, что он рожден воспользоваться Творением.

— Можно не называть нашу Землю Творением, но в остальном я с вами согласен: некоторая неловкость имеется. Но ведь это теперь осознаем не только мы с вами. В этом направлении сейчас имеется явный сдвиг в сознании...

— Вы — ученый, — напал я, — то есть знающий и трезво оценивающий действительность человек. Разве вы верите, что человек способен остановиться? Даже в тех трех неоспоримых смыслах, о которых вы мне как-то сказали, он уже не природа, а ее приговор. Наши ханжеские охранные меры имеют не больший эффект, чем воздействие каких-нибудь английских старушек из общества охраны животных...

— Зря вы так про старушек... — сказал доктор. — Их деятельность совсем не так незначительна, как вам кажется.

— Ничего, — сказал я сардонически, — может прийти время и для общества охраны старушек... Скажите, только честно, что вам больше по вкусу: голая ледяная Земля, над которой зря восходит Солнце, или... — Я покосился на море: огромное солнце, приближаясь к горизонту, приняло неправильную форму, напоминая грушу; гладь пошла алым шелком... Жаль было солнца, хотя оно в моих прогнозах оставалось в целости. — Или — зеленая, населенная зверьми и птицами, с реками и озерами, полными рыбы, с подбирающим корешки человеком и, быть может, разумным дельфином, не пошедшим по нашему неразумному пути?

— Я понял вашу антигуманистическую мысль, — сухо вато сказал доктор, — дальше не говорите вслух того, что хотели у меня спросить. Да, я задавал себе тот же вопрос... — Солнце скатывалось к горизонту все стремительнее, как яблочко; оно расплющилось, как капля, о поверхность; и, против ожидания не зашипев, быстро ушло под воду, оставив на воде неповторимый серый свет с испариной розового... — Вопрос этот лишен смысла. Тогда некому было бы посмотреть на это счастье...

— Как же! — воскликнул я. — И это говорите вы?.. Разве не радуется жизни все живое на Земле!

— Да, но только человек способен оценить совершенство в полной мере...

— Да, но...

— Не роняйте преждевременно бомбу, которая у вас в сердце. Мы не все знаем. Мы не знаем и того, с чем суммируется и во что выливается даже невысказанная адская мысль. Я сейчас сделал вам признание, на которое не имел права как ученый... — Слабая его улыбка еще отражала закат.

Так мы договаривались о перспективах человечества, без сомнения, что от нашего решения что-то зависело. Мы искали на ощупь выход из собственного умозрения. То нам казалось... но каждый раз и этот путь зыбился и испарялся от малейшего реального представления. Любые меры были недостаточны. Человек решительно отказывался понимать свое действительное положение, озабоченный лишь тем, что было или казалось ему непосредственно насущным. Настоящее отрывалось от будущего, и в этом отрыве испарялось милое прошлое, среда, доставшаяся нам в наследство. Мы договаривались до того, что учреждали некое тоталитарное правление экологии над человечеством, где средневеково рубились руки за обрубленные ветви

и отсекалась голова за голову зайца. Все это творилось нами во имя человека... Хоть так *они* нас наконец поймут!.. Они были — все остальные, кроме нас. По трезвом рассуждении наш кабинет вскоре пал.

Свергнутые с престола, мы возвращались домой и поднялись на дюну. Солнце на миг вынырнуло из моря, чтобы погрузиться в него опять. На вершине дюны лежал розовый песок, длинная бархатная тень вогнуто, изнанкой, ложилась по склону, в ложбинке меж дюн шевелилась, просыпаясь, ночь.

— Никогда бы не поверил, что Мальтус жил в восемнадцатом веке... — вздохнул я. — Экипажи, рощи, шлейфы, струнные квартеты... Воздух... какой тогда, должно быть, был воздух... Журчали ручейки... гудел шмель... пастухи и пастушки, свирель... а он, завернувшись в мрачный плащ, покачивался в карете, обдумывая свою далекую и черную, ничем вокруг не подсказанную мысль...

— Не странно ли вам, — сказал доктор, — что именно здесь мы проговорили весь вечер, не встретив ни одного человека, в первозданной природе... и — о чем?..

— Да, наши место!.. Грешим, грешим!.. — рассмеялся я, благодарный ему за это его «мы». В руке у меня был ящик из-под шведского пива, подтверждавший мое намерение жить.

И только солнце окончательно ушло в море — напротив, со стороны залива, не дождавшись сумерек, из-за дюны вывалилась луна. Словно они качались на Косе, наши два светила, именно через нее перекинув свою невидимую доску... Лицо луны было зеленым, будто она там у себя черт-те что видела, прежде чем выйти к нам.

Наверное, из-за нее так ворочалось, так не спалось: во все щели пробивался ее испуганный свет. Я привстал и выглянул в окошко: тучки пробегали по ее и так невеселому челу. На секунду она скрылась, скраденная толстым облаком, чтобы вынырнуть еще более ядовито разгоревшейся. «Луна зашла за тучу...» — повторил я про себя эту спокойную фразу, и меня разобрал смех: «Луна-то никогда ни за какую тучу не заходила! То есть представить только себе, где туча, где я, где Луна...» — трудно привести пример более юмористического смещения масштабов! «Солнце скрылось за горою...» — с чего бы это мне вдруг так расчихикалось?..

Я представил себе действительную самостоятельность Солнца, которое, видите ли, «шлет нам свой свет», «свой пламен-

ный привет». Дудки, сообразил я, оно этим никак не занято. Ничего оно нам не шлет. Оно вполне собой занято — мало ли в виде какой пыли мы проплываем мимо... Единственный гвоздь, на котором повисла вся наша земная жизнь, зашатался в моем мозгу. Самонадеянность и нахальство человека вполне выразились прежде всего в языке, хотя бы в этих простых формах. Человек каким-то образом считает, что все, чем он пользуется, имеет к нему прямое отношение. Но это и впрямь смешно. «Кладовая природы», «природные богатства», «покорение природы», «черное, белое (и еще кое-какое) золото»... — перебирал я все новые свидетельства человеческого разбоя, оставленные им в языке, как отпечатки невымытых пальцев. Я лежал на спине, и лицо мое отдельно и самодовольно ухмылялось, залитое, видите ли, лунным светом...

Я проснулся от тяжелого грохота, разверзшегося прямо надо мной, чуть ли не в моей собственной голове. В кромешной темноте от внезапности я не только не понял и не вспомнил, где я, что со мной, но и — кто я. Проснулось в ужасе нечто живое, способное испытывать страх и не желающее погибать; оно не знало, что оно — я. Следом за грохотом и сотрясением наступила, как на горло, полная, черная тишина, в которой не было ничего, кроме протяжного страха и удушья. Раздался ослепительный белый свет, озарив спичечную коробку, в которой я спал, и меня, стоящего на четвереньках на кровати. Именно показалось, что я увидел и себя, свое тело, словно покинул его, пока еще на небольшое расстояние, в задумчивости, вернуться или нет. Следом на крышу обрушился удар, крыша ухнула, но, как ни странно, выдержала, пружиня и постанывая под сплошным потоком воды, лившимся на нее. В этом шорохе и гуде раздался новый, на этот раз будто красноватый свет, проникший сквозь толщу бежавшей по стеклу воды, и опять все замерло в полной черноте и ровном шуме потолка. Тут-то и вдарил, в такой близости, что опять будто в черепе, следующий гром. Сна не было ни в одном моем вытаращенном глазу, но от этого испуг мой только возрос. А дальше запалило и засверкало с такой частотой, что свет от вспышки до вспышки не успевал померкнуть в глазах — избушка моя была охвачена розово-белым пламенем. Я различал при этом свете карту над кроватью: все жилки рек и железных дорог и кружочки городов; пыхнуло — и я прочел бессмысленное слово «Амстердам». Такого города больше нет, равнодушно подумал я, Голландию уже

смыбло... Я не уверен, были ли у меня отчетливые представления о том, что происходит: столкновение с кометой, взрыв атомной бомбы, отрыв атмосферы, потоп или я схожу с ума, — одно мне было ясно: конец. Чтобы придать себе немножко бодрости, я повторил вслух его синоним. Этот висельный юмор не выручил меня. Я не знал, что обычно делают в таком единственном случае, как конец света, — опять одно мне стало ясно: я ни за что не хочу погибнуть именно здесь, на этой постели и в этой будке. На тех же четвереньках я сполз с кровати и, мыча от ужаса, лбом отворил дверь. Это было правильно, что я выполз на карачках: вода лила стеной, и в другой позе было бы невозможно дышать. Здесь было еще светлее, чем в домике, сверкала, гранясь, вода. Из-за черных стволов сосенок я понял, откуда свет. Теперь я не умру в этом домике!.. — одно было сделано. Но мне не хотелось погибать и в этих тесных сосенках. Я деловито пополз на свет, желая — на открытое пространство. Быстро, как животное, я побежал на четвереньках, оставляя в сыром песке свой новый след. Так я выбрался на открытое место, к подножию дюн. Передо мною, над заливом, стояла огненная пульсирующая стена. Она была красно-желтого цвета. Грохот мощнее пушечного обнимал меня со всех сторон. Я остановился, завороженный зрелищем этого колеблющегося, плотного, гремящего занавеса. Больше у меня никаких решений не было, я не знал, что дальше делать, и я заплакал. Я захлебывался ливнем, а мне чудилось, что у меня стало столько слез. Я не хотел погибать. И не то чтобы мне так уж захотелось в эту минуту жить или не хотелось вот так погибнуть — мне не хотелось погибать *таким*. Я не был готов. В отчаянье я еще немного пополз вверх по дюне, волоча за собой как бы узелок с потрепанными и неизбытыми, как недвижимостью, моими грехами: ненаписанное письмо матери, так и не подаренный дочке шенок, позор сегодняшнего многословия... не знаю, почему так мало и такие невинные припоминал я свои грехи, искренне готовый каяться во всем... наверно, подсознательно хотел отойти для себя в лучшем виде. У меня не было намерения надуть Всевышнего, — самым большим и позорным, покрывающим всю эту мелочь, был грех моей неготовности предстать перед ним. Я вознес ему какую-то мычащую молитву без слов и перекрестился. Это изумило и даже отрезвило меня: неким несомненным чувством я понял, что сделал это *правильно*. А ведь раньше... я хорошо помню, что никогда толком не знал, как надо креститься: слева направо, справа налево? как начинать — по вертикали или по горизонтали? пуп — последним или

вторым, сколько перстов сложить?.. Я относился к храму с почтением пожизненно оглашенного — но перекреститься в нем никогда не мог не только потому, что это было бы недостаточно оправданно и обеспечено, но и потому, что толком не знал, как это. Я косился на молящихся, стараясь усвоить, но то ли они крестились так мелко и часто, то ли... В общем, хорошо помня свое постоянное недоумение по этому вопросу, стоя на коленях у подножия дюны, перед огненной стеной, как перед Явлением, я так по-детски обрадовался, что у меня все это получилось! И так ловко бил я поклоны, так истово крестился, что ужас покинул меня, и страх, этот бич человеческий, смыло с меня водою. И больше я не помню, что...

Я и проснулся, не помня. Вышел в раннее утро. Солнце сияло. Сверкали капельки на ветках. Курилась трава. Еще яростнее, чем обычно, щебетало птичье царство. Тащил мушкетерскую тушу муравей. Сотрудница Н. стаскивала клетки с чердака.

Все было на месте, прежний рай. Только словно еще голубее небо, еще желтее песок. Тем не менее утро показалось мне неискренним: оно прикинулось — утром. Я искал примет измены — не находил. Оно делало вид, что не помнило, посмеивалось над ревнивцем. С кривой усмешкой попробовал я так же правильно сложить персты и перекреститься — рука не поднялась, я опять не помнил как. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Хоть эта радость не изменила мне: в очередной раз обомлеть от точности языка. Хмурый доктор прошел мимо меня с помазком в руке, вернулся.

— Я всю ночь думал о нашем разговоре, — сказал он. — Я подумал, что нет ничего беднее, чем богатое воображение. Оно гипнотизирует обладателя яркостью первой же, как правило, самой банальной и примитивной картины. Пессимистический взгляд, по той же природе, как бы более убедителен. Мы не можем убедиться в сколько-нибудь далеко идущих причинах и следствиях на собственном опыте, мы не дождемся результатов своего опыта на протяжении своей одной жизни... Таков человеческий век — он не равен ни истории, ни жизни. Еще одна опора для пессимизма, его второй глаз. Мой оптимизм может показаться человеку молодому и честному неубедительным, вымученным, выгодным... Однако во всей этой игре всегда запасён ход, которого мы не учитываем. Назовите его как угодно: нашим ли неведением или волей Всевышнего. Вы вчера обозвали человека паразитом, заведшимся в «запасе прочности»

Земли (ваши или мои слова?), как в коже. Я почти согласился с вами. Все это, может быть, и так, но никто из нас не может — не предположительно, не фантастично, а практически — оценить размеры этого запаса. Это как в карты: да, дорога, да, казенный дом и, конечно, дама... но — когда? Время не названо. Не определив временную координату, можно предположить что угодно, что-нибудь да совпадет. И если мы не можем определить этого коэффициента «запаса», то не можем определить и роли человека и прогресса. В равной степени как и то, что человек не остановится и срубит сук, на котором сидит, топором прогресса, — в той же мере можно предположить и вещь, по смыслу обратную... Раз уж Земля наша все еще велика и достаточна для жизни, то не есть ли ее катастрофическое уменьшение в нашем сознании (коммуникация, информация и т. д.), ее вопиющее оголение и разорение тоже в нашем сознании — лишь форма ее защиты, знак предостережения, сигнал, включенный много раньше необратимой опасности, дабы мы успели внять и успеть... То есть я считаю, что скорость нашего представления об опасности не пропорциональна реальному положению Земли, и в этом тогда, выражаясь в вашей терминологии, — «запас прочности» человека, гарантия успешного (опять от слова «успеть») обучения наглядностью прогресса; то есть ускорение прогресса не слишком велико, а *достаточно* велико, как раз чтобы успеть до катастрофы. Быть может, совсем скоро — выпускной класс, конец среднего обучения человечества... постановка опыта в школьной лаборатории, фальшивый взрыв... искрит в кабинете физики, воняет из класса химии — не больше.

Я почему-то обиделся. Обиделся на то, что он вырвался первым сказать мои слова. Обиделся, что я — «молодой» (хотя и «честный»). Тоже мне старик! Года на два меня моложе. И тут вдруг, повернувшись, дошла и наша мысль. Мысль о том, что наше представление о реальности может оказаться быстрее реальности, что в этом — залог, в этой высокой реакции... эта мысль показалась мне новой, несмотря на ее жизнеутверждающий смысл. Практический опыт заставлял меня криво усмехаться: я ли не свидетель, что люди не обучаются ничему! что им хоть кол на голове теши... Но — «всегда есть в запасе ход...» — так он сказал... Этот ход мне нравился.

Утро было прелестным. Если оно и прикидывалось, то это получалось у него еще лучше, чем на самом деле. Я вышел к ловушке... Еще не просохшие ее сети, отяжелев, провисали крутыми кривыми. В самой узкой ее части был своего рода последний приемник, где томились пернатые узники. Их было

не так много: две или три воробьиных... Я услышал за плечом несколько странный, незнакомый, но отчетливый смех. Будто ко мне подошел прокуренный, небритый, малость безумный старик... Откуда бы здесь такому?.. Оглянулся на... Никого. Пришлось мне на всякий случай пожать плечами. Тогда оттуда же тот же старик, дразнясь, отчетливо каркнул. Я оглянулся гневно и увидел Клару. Она заняла удобное, просторное место на нетолстом и нетонком суку и комфортабельно наблюдала за мной и за ловушкой. Увидев, что я ее увидел, она повела себя более чем странно: клекотно, захлеб раскаркалась — карканье это, по прежней нелепой ассоциации, напоминало хохот; захлебнувшись, она перевернулась на ветке, покачалась вниз головой, подкаркивая; затем, ловко вернувшись в прежнее положение, снова разразилась порывистым карканьем, от восторга маша крыльями и нетерпеливо переступая, но вовсе не собираясь взлететь. Я осмотрел себя: чем я мог вызвать такое ее поведение? — это было нелепо, это был не я... Я внимательнее проследил ее взор и лишь тогда увидел посреди ловушки мечущуюся большую птицу. Черт ее знает, кто это была — так быстро она металась — совка, сойка, кукушка? не сорока... птица не меньше Клары. Она угодила в ловушку, металась в поисках выхода и, неизбежно ткнувшись в сетку, шарахалась и спускалась глубже и ближе к тому окончательному приемнику, у которого наблюдали мы с Klarой. Выход по-прежнему был ближе к пленнице, чем конец ловушки, и он был широко раскрыт в отличие от стремительно сужающегося горла ловушки, — однако птица, как ни сопротивлялась, подвигалась лишь вглубь. «Странно, — подумал я за нее, — ведь тебе сейчас проще вылететь, чем влететь...» Клара искаркалась вовсю. И это не было сочувствием или призывом. Это по-прежнему напоминало смех. Она переворачивалась, раскачивалась вниз головою, как «ой, не могу!..», и снова восторженно и счастливо захлебывалась как бы хохотом. Вдруг я понял, что хохот это и был. Никакого сомнения. Помнится, я расспрашивал доктора о чувстве юмора у зверей... я получил теперь ответ. Кларе было невыносимо смешно: в ловушку попала птица, равная ей. Я уже говорил: такое случается достаточно редко — крупные птицы умнее и понимают ловушку. Была, конечно, и доля жестокости, низкого торжества (не я!) в Кларином смехе. Но это был именно смех. «Экая дура! карр! — хохотала Клара. — Такая большая! Карр-карр! И такая дура! Кр-р...» Может, ей и впрямь была так поразительна глупость большой птицы, что и личного торжества никакого не было. Дур-ра!

...Как мне было не посмеяться над собою, еще более крупным существом!..

За труд под солнцем бывает и воздаяние. Не следует ни недооценивать, ни переоценивать его размеров. Следует — благодарить.

Пока я корпел над разговорами двух перипатетиков, и сам что-то понял

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Моя знакомая первоклассница Юлия, ставшая за время моего отсутствия писательницей, значительно короче изложила весь ход моих, неведомых ей, выкладок. Этот рассказ она сочинила от мужского лица (по соображениям стиля, надо полагать...).

Вот, дословно:

«Вчера к нам на студию приходил иностранец. Он много рассказывал забавных историй, но мы его не понимали. К счастью, с ним был переводчик. Он объяснил нам, что иностранец рассказывал о воронах и сороках. Оказывается, эти птицы, такие похожие, очень мало понимают друг друга.

Когда я утром пришел домой, то подумал: «Как странно! Мы так плохо понимали его, а он нам рассказывал как раз об этом...»



ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ



*Взгляни на камень, который
выбросили строители...*

От Фомы

...а он нам рассказывал как раз об этом.

Это место не напоминало родину — оно ею было. И оно мне не принадлежало. Я его не назову. Анонимность будет моим оправданием. Это было в 1979 году. Я был тут в первый и последний раз. Описание из опасения быть неточным будет минимальным. Тот, кто узнает, пусть простит.

Оно было внезапным, это место. Или *стало* внезапным. За обозримую нашу жизнь это произошло. Раньше, возможно, оно как бы произрастало из местности более широкой, венчало ее. Теперь оно бьет по глазам, его не может быть... ибо уже не стало того города, что его обосновывал. Нет, это не описание после атомного удара... Здесь строилось и жилось; все прямо и прямо, проспект, ни в чем не изменившись, становился шоссе; те же многоэтажные мертвенно-бледные коробки, равно нежилые: заселенные и незаселенные, достроенные и недостроенные; людей не было видно, чтобы они входили или выходили из них; казалось, едешь по одному и тому же месту, то есть как бы и стоишь; и вот на пределе города, когда шоссе уже окончательно ныряло в не столь освоенное пространство России, надо свернуть налево, и усыпленное однообразием дороги сознание оказывается совершенно не готово к восприятию...

Во-первых, холмы, во-вторых, деревья. Будто земля задышала, будто вздымается и опускается грудь — вы и дышать-то начинаете в такт взгорбам и поворотам дороги, уже по-человечески узкой. И тут по холму змеей побежит белокаменная стена некоего кремля, и вы упретесь наконец в неправдоподобно прочные и толстые его ворота, а там, на территории, все другое: ровные газоны, старые деревья, храм божий... Музей и заповедник, воронье счастье. Пространство. Сначала культурное, а потом окультуренное. Несвойственно стоят здесь и старинные деревянные постройки, сами по себе очень приятные. Они свезены с Севера со всех уголков. Вы посетите избу, в которой останавливался в Архангельске Петр. Там вы смеряетесь с ним ростом и ладонью (зарубка на дверном косяке и отливка с отпечатком пятерни). Постепенно вы минуете уже окончательно отреставрированную и отреспубликанскую часть заповедника,

все чаще станете наталкиваться на кучи строительных материалов и мусора с видом на удивительную колокольню, шедевр русской готики: островерхий многогранник ее шатра вписан в подобный ему многогранник строительных лесов, и эта непривычная глазу острота и граненость каким-то образом останется все-таки русской. Насытившись осмотром всего, что восстановлено и восстанавливается, вы можете проследовать и дальше...

О этот незаметный переход из жизнеутверждающей некроты стройки в запустение и одичание! Бурьян. Единственно ли подорожнику под силу победить вытоптанность, или он ее полюбил, предпочел? Репей, лопух, одуванчик... И чистый их лист уже пылен. Консервные банки прорастают в землю, ржавея и рыжая; в газетных клочках выгорает текст, тряпье дотлевает трупом, тоскуя по человеческому телу, на смену пыльному лопуху поспекает от рождения пыльный лист, такой ласковый на ощупь, — это жизнь, обученная смертью. (Здесь увидел я наконец-то пробивший свалку, непристойно торчащий красный петров крест. Как ужас детства принес я его — он оказался потом всего лишь растением — сквозь всю жизнь, как слова «война», «фашист», «изолятор»: он рос для меня в сорок четвертом году за пищеблоком первого пионерлагеря, и мы называли его рак земли.) Замечательно борется природа с культурным слоем! Эти мусорные цветы и травы, как пехота, отвоевывают ей землю, чтобы восстановить свою культуру. Дикая природа не будет такой запущенной. Запущена она лишь там, где что-то раньше было, пусть даже прекрасный парк. Одичавший и измельчавший малинник сбежал в овраг, и я за ним. Там струился загнивший ручеек, и новая дощечка была перекинута через него.

От новой дощечки шла вверх круто и высоко гнилая лестница с одним обрушенным и другим топорно восстановленным перилами. Тут была тень и серь, веяло сыростью. Все то же качество одичалости проявлялось во всем, особенно в зеленом листе. Лист не был зелен, хотя он уже не был и пылен. Он был такой жестяной и обесцвеченный, как лист искусственного венка на заброшенном кладбище. Но стоило наконец подняться, минуя проваленные ступени, чтобы там и оказаться: наверху кладбище и было с тем мусорным венком...

Культура, природа... бурьян, поваленные кресты. Испитое лицо. Тяжко вообразить, как здесь было каких-нибудь три-четыре века назад, когда строитель пришел сюда впервые... Как тут было плавно, законченно и точно. Роскошный скелет все еще проглядывал сквозь прохудившуюся рвань драпировки: так же крут был берег, так же широка река, так же внезапно отступал он, оставив под собой нежно-зеленое озеро пойменного луга,

и вдали вдруг поворачивался как от окрика и замирал в далекой синеве леса, словно река, вильнув, поменялась берегами, и левое стало правым, а правое левым... и небо, разве чуть подвыщев, оставалось, наверно, прежним. Какова же была здесь линия, если она еще оставалась!.. А такова, что настоятель и строитель вздохнули дружно и глубоко, и сомнений у них не стало: здесь!

Большого природа предложить не могла. Завершенность предложенного была очевидна. В такие места просится храм, кремль, город. За какой-нибудь век люди справились с этим пространством, в него вписавшись, и оно стало *культурным*. О мере законченности и совершенства этого культурного пространства можно было теперь лишь судить. По тому «участку» при входе (уже не в монастырь, а на «территорию»), где все было восстановлено «как было». В новизне и прибранности видна была скороспелость «плана». И краска тут пошла какая была, и трава росла не сотню лет, и дерево досок и бревен еще помнило о торопне топора. Но это ладно, Бог с ним. Пройдет время (и небольшое!) — и, прежде чем все здесь снова начнет рассыпаться (на этот раз еще быстрее), будет-таки пауза времени, когда все станет так: почти как было. Время ведь тоже трудится, как человек: сначала совершенствуя и лишь потом — разрушая. Занятое количество границ! Дикой природы — с одичавшей культурой, одичавшей культуры — с культурным пространством, культурного пространства — с разрушением, разрухи — с одичанием, одичания — с дикостью... Все тут было во взаимном переходе, во взаимном обрыве...

Я вскарабкался по обрыву. Никогда, ни в каком буреломе не можете вы наблюдать той мерзости запустения, как в разоренном культурном пространстве! О, насколько одичание дичее дикости!.. И ветер победно шуршит в помойке, бывшей когда-то храмом и кладбищем. Раскачиваются венки, перекачиваются банки, перекаати-полем скачет газета. Произрастают кирпичи и мерзкие кучки. Вспархивают вороны, кружась над былым, не над настоящим. И слой сквозит сквозь слой, как строй сквозь строй.

И вот из слоя в слой, оскальзываясь и огибая, попадаешь во внезапную точку, и в ней острый, со свистом (отнюдь не облегчения...) вдох прервет тебе прокуренную грудь; отсюда *все* видно! Все как было. Каким образом всегда сохранится эта единственная точка, уже не зрения, а — луча, с которой вы очнетесь и вспомните, именно *вспомните*, как было?! Что же это?!

Но не попробуйте сделать и шага в сторону! Если уж посчастливилось, нет, сподобилось, оказаться в такой точке —

она единственна. Шаг влево — и стадо подъемных кранов расклеивает пространство на горизонте; шаг вправо — и вы летите под кручу, в помойку и свалку; шаг назад — и либо наступите, либо порвете брюки о колючую проволоку...

Культура, природа... Кто же это все развалил? Время? История?.. Как-то ускользает, кто и когда. Увидеть бы его воочию, схватить бы за руку, выкрутить за спину... Что-то не попадался он мне. Не встречал я исполнителя разрушения, почти так, как и сочинителя анекдота... Одни любители да охранители кругом. Кто же это все не любит, когда мы все это любим? Кто же это так не любит нас?..

Я смотрел из единственной точки.

Нет, в мире — осталось!

О, знал бы я, что это не я так видел и понимал, как сейчас пишу... Дал бы я деру! Это я теперь так понимаю и вижу. Трудно не перепутать прошедшее с будущим вплоть до их последовательности в настоящем, если само пространство, кажущееся нам более объективным, настолько их (времена) перепутало...

Я стоял покачнувшись, опасаясь, или робея, или не смея сделать хоть шаг. Неустойчивость позы объяснялась единственностью точки зрения.

Там он и сидел. Разрушитель последней точки... В неправдоподобной позе, на неустойчивом, накренившемся стульчике, держась за кисточку. Я повис у него над плечом. Он обернулся...

Не берусь описать. Меня не было в этом взгляде настолько, что не знаю, как я не исчез. Мало сказать: он взглянул на меня с испугом; неправильно — со страхом, неточно — с ужасом. Лишь долю секунды провисел я в его покачнувшемся взгляде, но поканулся и стульчик, дрогнула кисть, он поспешил в прежнюю точку, совершенно меня не заметив. Секунду лишь покачался на нити моего взгляда, как канатоходец, восстанавливающий равновесие.

Нас с ним снова ничего не связывало. Он себе сидел и писал из единственной точки, в которой я и оказался. Не было со мной любимой, чтобы полюбоваться вместе. Полюбоваться вместе... никакой двусмысленности. Ее не было. Давно же ее со мной не было!

Бездна не пустота, и пустота не бездна. Я пролетел навзвозь и то и другое.

Я разозлился. И именно на этот рисующий пень. Он заткнул мне единственную точку зрения. Пейзаж из-под его кисти совершенно не соответствовал единственности, избранности положения. Нелады с цветом... Он шел из левого верхнего угла холста — по-видимому, по диагонали — в правый нижний.

Синий лес слева сверху, серебряная подкова речной излучины посреди; в правом нижнем углу, невидимый себе, зацепившись, прилипшим волоском сидел уже сам живописец. Правый верхний угол пустел для неба, еще никак не прорисованного, ни облаком, ни крестом, ни птицей не осененного. В левом нижнем темнело расплывчатое поле зрения. Я оглянулся через левое плечо. Это было неоправданно, будто он мог написать что-нибудь из того, что у него за спиной, будто, оглянувшись, я мог увидеть самого себя... Там из кучи мусора произрастал устрашающе напряженный фаллос петрова креста. Я содрогнулся. Это тоже был взгляд. Надо же, чтобы этот моховик с мольбертом именно так на меня посмотрел. Как она! Ее не было. Он — был.

Он уже знал о моем существовании, хотя и не оборачивался больше. Я до него *дошел*. Нить, натянутая между ним и пейзажем, ослабла и провисла. Неустойчивая, вдохновенная его фигура, цеплявшаяся за угол холста, успокоилась и осела. Стульчик стоял устойчиво, плечи повисли покойно, кисть увязла в палитре. Был тот последний, вечерний час, когда небо еще раз светлеет, как та свеча, что вспыхивает перед тем, как погаснуть. На холсте у него уже смеркалось. Он напоминал рыболова, у которого не клевало целый день, но именно сейчас он решил сматывать удочки, все еще подергивая поплавок... Бояться мне было нечего. Недавняя чувствительность уравновешивала наглость.

— Я вам не помешал?

— Помешал, помешал! — живо откликнулся он и с облегчением отложил кисть.

— Тогда позвольте...

— Позволил, уже позволил.

— Спросить, я имел в виду...

— И я ничего другого.

— Учтите, я профан. То есть, простите...

— Я вам охотно верю. Иначе бы вы сразу увидели, что и я профан.

Его неоправданная, на мой взгляд, гордость обидела меня. Но я сдержался.

— Что же вы молчите? — напал он. — Или вам не нравится?

Он мне показался ясным: не из тех, кому можно сказать что думаешь.

— Нет, что вы. Прекрасный вид.

— Вид!.. — Он пренебрежительно поджал губы.

— Я ведь предупредил, что я профан... Вид и пейзаж — есть разница?

— Принципиальная! — тут же клюнул он. — Вид — это то, что и вы увидите. Пейзаж — это то, что увидел я. Вид, собственно, — и он взглянул на картину и вздохнул, — не может быть написан никогда...

— То есть?..

— И никем, — уточнил он гордо. — Кто написал снежные горы? Или лес?

— Шишкин, — сказал я не раздумывая.

— Ну, знаете ли... — Всем своим видом он дал понять...

— Гор я и впрямь удачных не вспоминаю, — чуть поправил я свое положение.

— Вот видите! Разве можно написать то, что равно себе, — в том же значении? Кто нарисовал пустыню? Море?

— Айвазовский, — естественно, сказал я.

— Ну, знаете ли! — Он был возмущен. — Скажите: Тернер, — я и то поспорю.

— Ну Тернер-то чем плох? — с апломбом сказал я, не уверенный, что не путаю его с Тенирсом. «Вы имеете в виду старшего или младшего?» — хотел блеснуть я, но, к счастью, удержался... — А Левитан, Васильев?.. Разве им не удавался лес?

— Я не такой уж поклонник Левитана... Цвет, знаете ли... — Он осторожно покосился на собственный холст. — Тучи, — сказал он задумчиво.

Я посмотрел в небо: оно было ясным.

— Тучи им удавались. Поле, а не лес. Поле — это уже море. Чистое небо им не удавалось. — Он повторил мой взгляд в небо. — А тучи, блики, отражения... Оправданный абстракционизм. — Он поджал губы. — Самовыражение... — Похоже, он презирал «самовыражение»... — Нет, вида никто не написал! То, что им удавалось в какой-то степени, есть не вид, а состояние.

— Импрессионизм? — проявил я догадливость.

— Если хотите. Преддверия, предчувствия... Пред-верие в лучшем случае. Но они считали себя объективными, то есть это мы их считаем реалистами... То есть я хочу сказать, что они всегда оправдывались. Оправдывались, что так бывает, оправдывались реальностью опыта, пусть самой мимолетной. Их всех побеждала фотография, и они с нею боролись.

— Ну, качественную разницу между живописью и фотографией и я знаю, — несколько обиделся я.

— Знаете? Ну-ну... А я и не ругал фотографию. Это вам показалось. У фотографии заслуга перед живописью первостепенная!

— Какая же? — спросил я, как бы снисходя к его ортодоксальности.

— Прямая. Она обозначила, чем живописи заниматься не следует. Раз этого же можно достичь механически, аппаратом. Именно она породила импрессионистов.

— От противного? — догадался я.

— От очень противного. Фазан — отдельно, сазан — отдельно, как говорил один замечательный грузинский художник, Сезанн — отдельно... — И облачко восхищения и скорби подернуло его чело.

— Что же нам породило кино? — усмехнулся я.

— А это уж не моя компетенция. Может, следовало бы прекратить писать романы, а?

— Ну романы-то тут при чем?

— Вам виднее. Я хотел сказать, что пейзажист лишь индивидуализирует вид. Он не способен его отразить, он способен лишь отразиться в нем. Вид и индивид — один корень?

— Нет, — ответил я, в твердость свою вкладывая и Шишкина, и Тенирса, и фотографию.

— А подходит... Я имел не только это в виду... Видите, опять вид?.. Пейзажист индивидуализирует вид не в том только смысле, что вносит свое видение и свою индивидуальность... а в том, что и сам вид, зафиксированный в пейзаже, должен или вынужден стать частным по отношению к самому же себе, замереть поневоле, приобрести выражение: освещение, ветер, прочие метеоусловия... Хм, — удивился он, — вот поворот! Ровно наоборот — в портрете. В портрете — писать состояние модели равно по вкусу Шишкину. Нелепо было бы писать портрет взбешенного, или рыдающего, или хохочущего человека.

— Разве не хохочет запорожец у Репина?

— Я и говорю. Это частность. Это жанр в лучшем случае. Это характер, а не портрет. Портрет — это обобщение, сущность, ну, внутреннее состояние. Пейзаж обобщенным быть не может. Кто вы, чтобы претендовать на понимание внутреннего состояния моря или горы? Вот вы говорите: Шишкин. Он и есть доказательство. Пейзажа как портрета вида не существует. Нарисовал Шишкин портрет дерева?..

Какая-то не оправданная для меня скорбь прорезала его чело. Бороденка его дрогнула.

— Что с вами?

— Сезанн... — сказал он так, как говорят про больной зуб.

— Что Сезанн?

— Потом, потом... — отмахнулся он так, будто «сейчас пройдет». С тоской взглянул на мольберт: — Не получится уже...

— Что вы, что вы!.. — попытался я. — Очень мило. Вы нашли единственную, по-моему, точку.

— Вы ее тоже нашли...

— Ну, это не такая моя заслуга.

— Вот видите, вы совсем не так мало понимаете, как говорите... — Он быстровато взглянул на меня взором и мутным и лукавым и, пересилив себя, с прищуром мэтра заставил нанести невнятный мазочек — табуретка под ним сразу покачнулась, но он устоял.

Польщенный, я таки начал со лъстивостью ученика:

— Почему именно в таком вы решили формате?.. Меня всегда занимало...

— Окно. Это такое окно. Живопись, по-моему, это окно. Или зеркало. Зеркало — это ведь тоже окно. Окно сквозь стену — в мир. Так ей потом и висеть — на стене.

— Понимаю, — сказал я, не до конца поняв. — Холст, формат, перспектива, взгляд. Рамка видоискателя... Выбор точки... Но вот точка на холсте... с которой вы начали его заполнять... где она и почему?

— Заполнять... — брезгливо поежился пейзажист. — Скажите еще — рисовать!

— Ладно, — сказал я, тоже злясь, — *писать*. Вы можете указать мне точно, в какой точке вы начали писать этот холст?

— Это сложный вопрос. Все зависит от природы. Птицу, например, надо писать с клюва.

— Какую птицу?

— Ну вообще...

— А вот здесь? — Я ткнул в его холст.

— Уже не вышло, — уклонился он.

— Почему же не вышло! — Опять надо было щадить его самолюбие! — Очень даже.

— Потому и не вышло, что не оттуда начал! — зло сказал он, снимая холст.

— Откуда? — Я ткнул пальцем в сторону реки.

— Угадали... — Сквозь его седоватый бурелом проступила краска. — Угадали! Я вовсе не художник! Я на это не претендую! Я не за тем сюда хожу!..

— За чем же?

— Вам этого не понять.

— Вы слишком строги, — обиделся я, — и к себе, и ко мне. По-вашему, вообще ничего нарисовать невозможно: ни пейзаж, ни портрет... А натюрморт?

— Вот его можно! — ни с того ни с сего возликовал он, будто тут же собрался, оставив пейзаж, взяться за натюрморт. — Вы сами не понимаете, как вы правы! Портрет тоже можно...

Но — единицы! гении! Леонарды! Животное кто-нибудь написал? — выпалил он в меня.

— Птицу — с клюва, — процитировал я.

— Птица — существо удаленное... — непонятно сказал он. — Возьмем зверя. Никто! Разве что Дюрер носорога. Так он рисовал его по клеточкам. На этот раз не писал, а — рисовал. Это был первый носорог в Германии, может быть в Европе. Дюрер был поражен. Не как гений, а как нормальный человек. Вот пораженность-то у него и вышла. А какой был рисовальщик! Какие тогда были рисовальщики!.. Любой экспедиционный художник... Иногда мне кажется, что только они и художники... Которые ничего не хотели... — Он забормотался и забыл про меня.

— Дюрер, — сказал я, — нарисовал зверя?

— О да! Он хотел лишь зафиксировать. Он отнесся к линии как к букве. А вышел гениальный апокалипсический зверь!

— Не противоречите ли? — вкрадывался я. — Только что зверя было невозможно нарисовать.

— Нимало! — ликовал он, радостно складывая свой скарб. — Нарисовать можно. Написать нельзя. Невозможно. Поэтому, кстати, живопись и стала искусством.

— Но ведь рисуют же!

— А вы не писатель, случайно?

— Случайно, — был я вынужден.

— Так вот. Я вам скажу: пишут же?..

— Не хотите ли вы сказать... не можем ли мы заключить... что то, чему можно научиться, не есть искусство?

— Вот видите.

— А если учиться, учиться и учиться? — обрадовался я.

— Недостаточно.

— А если работать, работать и работать?

— Того меньше.

— А если просто вдруг... ни с того ни с сего... как бы понять...

— Вдохновиться?

— Ну.

— О да! — возликовал он. — Может быть... — вздохнул он. — На один раз.

— Так как же быть?

— Бог знает.

— И все?

— А вам мало?

— Мне — много.

Мы рассмеялись и вместе спустились в овраг.

— Вот вы говорите — гений... — сказал он, хотя я этого не говорил. Я уже перешел дощечку, а он еще нет. В овраге была уже ночь и затеплились гнилушки. Из глубины его оволосения тускло и смело сверкал вдохновенный взгляд. — Гении все мадонну с младенцем писали. Мадонна получалась, младенец — никогда. Замечали? О, это такая тайна! Вы сразу не поймете... Гений нам кажется особенно воплотившимся человеком. Мол, обычный человек не сумел, а он — на сто процентов... Дудки! (С чего это он так вскипятился?..) Гений есть максимально неудавшееся воплощение! С его, естественно, точки зрения, а не с нашей. Ни по вертикали, ни по горизонтали. То, что у гения за спиной (а ведь гений-божество так и помещается — за спиной...), есть безмерная диспропорция по отношению к так называемому выходу... (Знаете, в столовых в меню пишут выход... мяса в котлете?) То, чем мы восхищены, есть для гения полная неудовлетворенность и несчастье. Он-то знает сколько! Вот настолько он и воплощен, насколько получился у него младенец. Если гения, не дай Бог, признают при жизни, его убивают, лишив именно этого неудовлетворения. Впрочем, чаще их просто распинаят. Так гораздо рациональнее, все достается людям, включая и лестность нашего ими восхищения...

Он наконец перешел по дощечке. «Уж не с гением ли я опять имею дело?» — криво подумал я: больно выстраданно прозвучали его слова. Но он был и впрямь гений...

Перейдя дощечку, как пропасть, он снова остановился и стал рыться в своей рыбацкой сумке (из-под противогоза... как она у него уцелела?). Сама собой извлеклась оттуда бутылка портвейна «Кавказ» (0,8) и стакан (один). Стакан он протянул мне:

— Не откажите?

— Я не пью.

— И давно?

— С некоторых пор.

— Ну, это не страшно.

— Я портвейна не пью... — настаивал было я.

— А вы не пейте. Я ж не вынуждаю, — ласково сказал он, стакан оказался сам в моей руке, и меня обдало жаром его непонятной власти.

— Вы — гений... — прошептал я.

— Гений и злодейство — две вещи... Гениев сейчас нет. Они не работают. Нельзя написать лишь шедевр, с которым остаются. Нельзя одну Джоконду... Нельзя написать сразу избранное, не правда ли?

— О да! Вы правы.

— Перепроизводство — условие гения. Кому нужен тридцатый том Диккенса? Или девяностый Толстого? Что они, в двенадцатом не выразились, что ли? Нам бы не хватило?

— Кажется, вы перегибаете?

— Перегибаю. Так я ж не в ЖЭКе. Я не правильно, а — правду хочу сказать. Вам достаточно Дон Кихота из всего Сервантеса, Гамлета из всего Шекспира?.. Вот вы, профессионал, сколько прочли книг?

— А сколько картин вы не видели? В Лувре, в Прадо, в наших запасниках?

— В наш век есть книги, передвижные выставки... Нам как бы проще. Хотя картины не картинки, чтобы их смотреть. Их увидеть надо.

— Вот книгу и надо *прочесть*.

— А я и спрашиваю: сколько книг вы *прочли*?

— Да я «Дон Кихота»-то не прочитал...

— А «Гамлета»?

— Его прочитал. Недавно.

— Сколько вам было?

— Сорок.

— Спасибо. А Библию?

— Что вы меня допрашиваете?!

— Да вы не сердитесь... Я Ван Дейка от Ван Эйка отделил еще позже. Узнал, что такой был, Ван Эйк, представляете?

— Старший или младший? — Тут уж я обнаглел.

— А вы будто знаете! — насупился он. — Вы тоже только одного знаете, а про второго слышали. Я же вас не спрашиваю, что Ван Эйк написал! Чтобы вы в Благовещеньях не запутались... Я думал, вы человек, что с вами говорить можно.

Он не на шутку обиделся. Разочаровался он.

— Ладно, — согласился я, — в двадцать семь лет. В двадцать семь лет я впервые Евангелие прочел. И то от одного Матфея. А Ветхий завет так и не прочел, кроме псалмов и Екклесиаста. Но с тех пор при себе держу.

— Раскрываете и закрываете?

— Раскрываю и закрываю. — Он мне положительно понравился.

— Вы крещеный?

Я задумался с ответом.

— Тогда по половине?

— Ну разве что... — замямлил я. — По половинке.

— Так вы ж не пьете? Вы не пейте, я не обижусь...

Моцарт — гений? — спросил он, приняв.

- Вот уж гений!
- Всё-всё — гений?
- Всё-всё — гений.
- И вы всё слушали?
- Ну не все. Но много. Сколько удавалось.
- А вы знаете, сколько вещей его вообще исполняется?
- Я не знал. Уж больно он таинственно спросил.
- Десять процентов! — Он не в силах был сдержать

ликования.

- Да ну! — я был изумлен.

— Вот! Перепроизводство — это еще одно свидетельство невоплощенности гения, уже по горизонтали. Чего ему гнать да гнать, если он уже воплотился?

— А — кушать? — тут уж я его подловил. — А «не продается вдохновенье»?

— М-да, — тут он вздохнул. — Вы знаете, во что обходился Моцарту новый камзол?

- Этого не знаю.

- В симфонию!

Стояла полная ночь. Во всяком случае, здесь, в овраге. Мы дышали друг другу в лицо. Мы осветили их, прикуривая. На лбу его вздулся драгоценно комарик.

- Вы позволите? — И я стукнул его по лбу.

- Спасибо.

И мы полезли к выходу, там еще светлело разбавленными чернилами небо.

— Вы бы видели этот камзол! — пыхтел он снизу. — Это же райская птица! «Взгляни на лилию, как она одета!» Не хуже был вынужден одеваться и Моцарт...

- А как же... при дворе... — с пониманием отозвался я.

Мы вышли к строительной площадке. Там было лысо и неожиданно светло. Внизу осталась совсем уже ночь. Особенно светлела колокольня в лесах, а звонница даже будто светилась отдельным, сквозящим светом. «Изумительно!» — хотел уже воскликнуть я, как бы забыв о новом друге, все-таки — кому-то...

— О да! — сказал он мне в затылок. — Наша, русская, готическая, недействующая... Хотите внутрь?

Я хотел. Он чувствовал себя здесь уверенно. Он имел к этому всему какое-то отношение.

В двери торчал огромный кованый ключ. Но дверь была заперта и изнутри. Он потряс ее и постучал. С карканьем с колокольни снялись вороны. Небо от них еще побелело.

- Сейчас откроет, — сказал он, еще раз постучав.

С реки, обозначив пустоту сумерек, продудела по-бычьи баржа. Потянуло листовым дымком, словно от этого прощального мычания.

— Да что же они там... ..что ли?

Это замечание меня до некоторой степени протрезвило. Я слишком себе это представил.

Он загрохотал в дверь изо всей силы.

Гигантское, серое, змеевидное существо выткалось из сумерек. Я вздрогнул и чуть не заорал «мама!».

— Линда! Линдочка! Чертяка! — ласково потрепал пейзажист этого дьявола.

Это была мраморная догиня ослепительного ужаса и красоты.

— Заждалась? — Нежность в голосе была необыкновенная. — Пошли! — сказал он решительно и повернул ключ в скважине. Но тут и еще мысль постигла его, и он ключ этот из скважины вынул и протянул мне: — Держите.

Я недоуменно держал в руках. Это была вещь. Размером с нашу догину.

— Держите, не бойтесь. Это вам на память. Когда захотите, придете.

— А как же они?..

— Найдут способ. Пусть не запираются... Да там и нет никого.

Окончательно не поняв, я проследовал за ними с ключом в руке. Дорога шла в гору, и я на ключ опирался. Дьяволица бежала впереди, то растворяясь, то выпадая из густеющих сумерек.

— Актриса! — гордо повествовал он сверху вниз. — Я ее сегодня на съемки водил. Здесь, рядом. Снимают оккупацию. Нет, здесь, собственно, немца не было. Это новгородская до-съемка. В роли любимицы оберштамбамбрамсельфюрера... — Он засмеялся невидимо, провалившись в какую-то лужицу ночи. — Линда, кормилица! — Видно, она подбежала, и он сейчас, поджидая меня, чесал ее за ухом. — Семь пятьдесят съемочный день! — хвалясь, сказал он, оказавшись вдруг прямо передо мной: я в него уперся. — Все равно — барочная... — то ли с грустью, то ли с удовлетворением сказал он, глядя над моим плечом, и я обернулся.

Отсюда, сверху, снова предстала колокольня. Луна, красная и огромная, как солнце, выползла из-за невидимой отсюда реки. Вокруг острого шпиля как-то склубился черно-розовый отсвет. Храм дотлевал последним углем в ночи.

Мы шли куда-то, я не обсуждал куда. Длинное хлевное тело густело впереди. При нашем приближении подвальное окошко зажглось и погасло.

— Трапезная... — сказал он.

Мы проникли, гроыхая и спотыкаясь.

— Сейчас я включу... — сказал он, и все озарилось.

Это была, по всей видимости, реставрационная мастерская. Верстак, муфельная печь, стеллаж с банками... Голая лампочка под потолком. На стене календарь с Аллой Пугачевой и реклама автогонок. Огромный деревенский ларь. Такие же топорные и старинные лавки. Крошечные зарешеченные окошки из глубины крепостной толщины стен слепо смотрели внутрь, будто щурясь, будто опухли со сна. Вдоль стен, как хлам, как рассыпанная колода, во множестве слоились иконы, оклады, иконостасы.

— Вас интересуют доски?

Я не понял, но глазами он указал на свалку икон.

— О да, конечно, — сказал я.

— Сейчас, Линдочка, сейчас... А вы смотрите пока, не стесняйтесь.

Бережно отгибал я небрежно сваленные доски одну за другой. Трепет прикосновения был выше моего разума.

Пейзажист хозяйничал. Вокруг вилась догиня. Включил муфельную печь и поставил разогревать в нее банку консервов. Открыл ларь и залез в него с головой; на какой-то момент даже ноги его оторвались от пола. Лицо его покраснело, когда он вылез.

— Неужто увели!.. — Лицо его выражало нешуточную тревогу. И он снова исчез в ларе. Оттуда летела ветошь; пустые мятые оклады и консервные банки издавали об пол один и тот же звук... — О Господи! — раздался вздох облегчения. — Надо же было так зарыть!

Он извлекся с бутылкой «Русской».

Я разделил его неподдельную радость, стоя с темным, еле различимым «Спасом» в руке.

— А кто же зарывал?

— А я! — счастливо сказал он.

Консервы в муфельной печи разогревались, однако, не для Линды.

Не могу даже дать представления о том, как мне здесь с ним нравилось! И как было страшно... Надо же, чтобы так, ни с того ни с сего вывалиться из своей обыденности и серости в *настоящее*, в такую внезапную дыру... Табуретку накрыли газетой — уютнейше, с мужской дельной неспешностью и функ-

циональностью был им накрыт наш пир: луковица, хлеб, тушенка... Засверкали два отмытых стакана. Плечистая бутылка встала как колоколенка.

— Я сразу вас заподозрил, — сказал он, разливая. — Вон из какой кучи вы тотчас самую ценную утянули...

Я по случайности держал в руке ту самую темную доску, на которой был застигнут обретенной наконец его заначкой. Однако не признался.

— А вы поставьте ее на стул, рассмотрите получше...

Так мы соображали на троих, Линда не в счет: Павел Петрович (так все-таки звали пейзажиста), я да потемневший наш Спаситель ликом к нам, на отдельном стуле. Павел Петрович, может, по профессии не видел в этом кощунства, и я тогда не отмечал.

Павел Петрович не закусывал и скармливал Линде пропитанный соусом тушенки хлеб.

— Я ведь не из гордости сказал, что я не художник. Я совсем с другой целью. Я выхожу на контакт! Понимаете?..

Я еще или уже не совсем понимал.

— Я ищу свое место. То есть не свое в частности, это меня мало заботит. А — человека! В пейзаже вы не найдете человека. Чем Шишкин все-таки хорош — кажется, ни одного человека не пририсовал.

— Мишек пририсовал... — вставлял я.

— Так это же конфеты! — безапелляционно рассудил Павел Петрович. — И мишек, кстати, не он пририсовал. Что ж, вы не знаете кто?.. И Айвазовский разок не удержался. Правда, тоже не сам... Но кого-то попросил себе Пушкина пририсовать...

— Репина, — сказал я, смело двинув свою пешку против его мишек.

— Вам бы кроссворды заполнять, — сказал он, ничуть не оказавшись задетым. — Да хоть бы кто! И — ничего у них не вышло! Как это замечательно! Стоит нехстати, еще хуже, чем море, нарисованный, и скалится с цилиндром на отлете... А Пушкин-то, ласточка, гений... как он-то все это сделал в своей-то живописи! «Прощай, свободная стихия...» — и все, его уже нет, остался один жест, один взмах его руки. Гениальная мера вкуса и живописной точности! Я вот свой нос только вижу, когда рисую. Меня иногда тянет его пририсовать, когда не получилось. А — всегда не получилось... — Он отмахнулся от себя, как от мухи, испугал Линду. — Так я ведь его каждый раз не рисую!

— Нос?

Линда отошла от него и положила свою телячью голову мне на колено. Первый раз в жизни я имел дело с такой большой собакой. Что за страшная, но и приятная тяжесть лежала на моем колене! Она же пополам в секунду перекусит мою руку, которая ее гладит...

— Никогда не укусит, — сказал Павел Петрович. Я мог ему ничего не говорить, он явно читал мысли... — Ладно. Покинем прискорбные примеры. Возьмем что-нибудь, что постоит за себя. Вот Брейгель, «Икар», помните?

Я кивнул, хотя помнил не совсем.

— Не младший — старший... тут вы меня не подловите. Что у него от человека в пейзаже, пусть и от божественного?.. Пятка! Пятка у него от Икара! Ее и не заметишь...

— А как же пахарь? — Картину я с его помощью всю припомнил. — Пахарь там всю пашет, крупно!

— Пахарь! сказал тоже — пахарь! Пахарь — естественно, пахарь — часть пейзажа. Личность его не важна — вот в чем дело. Поэтому он и вписывается, что он всего этого часть.

— Там еще и корабль — тоже не природа...

— Творение — уже природа! Он прекрасен, парусник. Хотя и менее уместен в картине, чем пахарь. Вот вы сами и наметили все точки: пахарь, судно и пятка Икара. Лучше всего паши; если уж неймется — плавай, но — не летай!

— Но это уже басня, а не живопись, — возражал я.

— В данном случае! В данном случае это и то и другое: живопись у Брейгеля, само собой, не подведет, а мышление — да, в данном случае литературное. Но тогда ведь так и писали — на сюжеты. Но живопись, однако, не забывали... И законы ее работали. Не может человек как личность, как черт-те что, как царь, видите ли, природы, уместиться в пейзаж — никогда вы такого не найдете. Пятка, только пятка или нос пейзажиста, который рисовать необязательно. Куда правдоподобнее и уместней вставить свою морду, раз уж ты так претендуешь на вечность, в дыру с подмалеванным вокруг морем и кипарисом. Это — по правде. А любые попытки вписать личность в пейзаж будут убогой пародией.

Он вздохнул, он был удовлетворен тем, как все это у него изложилось.

— Вот не думал! — восхищенно покрутил он головой.

— Что именно?

— Про Брейгеля впервые сообразил...

— Да, хорошо, — согласился я. — А как же быть с портретом Возрождения? Там обязательно даль, глубь, перспектива, поля, и виды, и холмы, и воды...

— А это совсем другое! Там что впереди? Лицо, лик, личность. Обязательно личность! Мы что чуем: неизвестно кто, когда жил, чего делал, а — личность! Непременно. И лишь там, вдали, откуда она взялась, из какого мира. Там отдельный мир! Ко-о-ордината! — Он так все время говорил, с лишним «о». — Ко-о-ордината лица!.. Там как бы картина. Обязательное окно, обязательная рама для второй. Портрет отдельно, и пейзаж отдельно. Это очень отдельно и крайне условно. Это нам от древности кажется таким уж реализмом...

И я чокнулся, совершенно с ним согласившись.

— Встаньте на берег моря, как Пушкин, или на край пашни, глядя в светлое будущее, или вот как сегодня, когда вы подошли, если бы я вам не мозолил взгляд... что бы вы увидели и где бы были вы?

Я задумался.

— Ну?

— Меня как бы тогда не было...

— Вот видите? И вы правы наконец. И сейчас мы приближаемся вплотную к тайне. Где человек? кто человек? и зачем человек? Вот этим я и занимаюсь каждый раз, пытаюсь воспроизвести то, что вижу. Вхожу в контакт.

— С кем?

— Ясно с кем, — он рассердился, — с мировой мыслью хотя бы. Вот вы себя не видите, когда смотрите. А то, что вы видите, разве видит себя? Ну тварь земная видит для своей насущности. А деревья, травы, горы, реки? Они не видят. Вы никогда не представляли себя камнем или ветвью? Конечно, представляли. Закрепляли себя на месте, располагали в пространстве... И при этом тосковали от бедности доставшегося вам для обзора мира. И каждый раз, не замечая того, вы продолжали *видеть* и даже слышать, будто у камня или ветки есть глаза и уши. Этого отнять у себя в представлении вы никак не могли, вам даже и в голову не приходило, не правда ли?

— Не так уж часто я представлял себя камнем, но, пожалуй... не без глаз...

— Представляете, какая но-о-о-очь! — Он провыл слово «ночь» так ужасно... — Какое непонятное бескорыстие есть в этом слепоглухонемом существовании! Ведь все, что есть, связано между собою, не ведая об этой связи. А мы *видим* это — в единстве, которое никто из участников этого единства не ведает! Вы вышли на берег: плещет вода, песочек, камушки, лес отражается в воде, — вы знаете, что все это, конечно, не думает, как вы, но вы и представить себе не можете, до чего для себя отдельны камни и воды, для них нет целого! Они все в себе! Как

те вещи у немцев. Но целое-то — есть! Вот в чем парадокс. Не вы его выдумали, и это нам не кажется, что все, что перед глазами, есть картина. Значит, кто-то... Нет. Значит, она была... Нет. Как оно могло соединиться, разное, само? И про красоту — нам не кажется про красоту. Вообще не удовлетворением наших жизненных потребностей вызвана наша эстетика. Я замерзал однажды зимой в тундре... Там ничего не годилось ни для какой жизни... Я погибал — в красоте. Так — кто-о-о-о же?! — И он опять ужасно провыл «кто».

— Если вы имеете в виду творца, — промямлил я, — то я совсем не против того...

— Ненавижу! — прорычал Павел Петрович.

— За что?.. Но я ведь тоже верю...

— Тоже... — повторил он ядовито, совсем меня изничтожив. — Да я не вас имею в виду. Вы добрый малый, хотя и много о себе думаете. Уж как я его не люблю!

— Кого же?

— Человека! Именно того, с большой буквы... Венец Творения. Всюду лезет, все его, все для него!.. Ну хуже любой твари. Хуже. Потому что вместо пяточка еще ковырлялки себе всякие, от ложки до атома, выдумывает. И жрет, жрет, жрет. А чтоб остановиться, а чтоб вокруг посмотреть, а чтоб заметить...

— Так, так, — кивал я. — Со всем согласен. Как свинья.

— Если бы... — Павел Петрович замрачнел. — Свинья-то — скорее венец Творения.

— Но раз вы верите в само Творение...

— Другой гипотезы нет...

— ...то и человек — создание. Зачем же тогда?.. Венец Творения — это, может, и сам про себя человек сказал, хотя книга, по всему, тоже не им писана... Но ведь даже — «по образу и подобию»...

— Ах, как вы все схватываете! — Похвала была сомнительной в его устах. — На лету. Прямо цивилизованный вы человек — вот вы кто!

Кровь прилила к моей голове непобедимой волной постыдного воспоминания. Павел Петрович никак тут не был при чем... В каком же это классе проходили мы того, у кого этот самый человек с большой буквы?.. а именно: «Что сделаю я для людей! — крикнул Данко»... нет, «Высоко в горы вполз уж...» — и опять нет! «Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, то крылом волны касаясь...» Вот! «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...» «Часть шестая их в квадрате в роще весело резвилась...» Это уже другое, более человеческое, про обезьян... Так вот, наша учительница по

литературе заболела, а ее замещала какая-то особенно выдающаяся, из районо, с чудовищным бюстом... ну, просто, когда мы сидели и царапали в тетрадках, а она ходила меж партами, то сначала на тетрадь склонялась, издалека, тень груди, потом сама грудь, наша головенка терялась в этой дышащей груди, а где-то, наверху, с трудом было разобрать особую ласковость ее взгляда и воркование, опять же грудного, голоса... А был это еще год, еще вовсю при счастливом детстве это было. Брат мой уже в университете учился и отличником там был. Почерк у него был замечательный и конспект образцовый. Вышло так (теперь это меня забавляет), что и он на своем втором или третьем курсе, и я в своем седьмом или восьмом классе проходили одно и то же — про «глупого пингвина», и я как раз накануне в его конспект заглянул, а там было написано, уже не для школы, а для Высшего учебного понимания, что Горький имел в виду под каждым животным, и «пингвин», кажется, был не то кадет, не то эсер... и тут наша высокогрудая заместительница задает сложный вопрос, будя инициативу класса, вопрос «на засыпку» (она, наверно, тот же университет кончала...) про этих самых животных, про аллегория... Ну, никто не знает, все жмутся, потому что и вопрос поставлен так, что на него только сам же учитель и способен ответить, а я, вообще-то безынициативный, тяну, единственный, свою руку (которую надо бы отсечь по Евангелию...), дабы блеснуть... А у нее, надо сказать, когда она такое спрашивала, всегда была такая поощрительно-вопросительная приговорка: «Думайте, думайте!» И вот все думают, а я тяну руку. Она снисходительно улыбается, готовая выслушать наивную ребячью догадку, а я выпаливаю по писаному случайно подсмотренное и случайно запомненное, но, надо же, как удачно! — выпаливаю как свою собственную догадку. Тетка была, по-видимому, удивлена, но я от смущения уже плохо помню ее реакцию. Она продолжала развивать мысль, «которую я ей подсказал». И вот, когда мы все за ней писали, а она ходила по проходу, моя голова вдруг очутилась меж ее грудей, и, обняв меня сзади, она гладила меня по голове и приговаривала: «Головенка-то варит.. варит головенка...» Но я не провалился сквозь землю и тогда, хотя именно в таких вот нечастых положениях, пожалуй, и проваливаются, не провалился и сейчас, когда это вдруг из-под толщи последующих стыдоб выволок... не провалился и рассказав весь этот мемуар Павлу Петровичу...

Уж как ему эта моя история пришлась по сердцу!!

— Нет, нет! И не говорите! Вы совсем не безнадежны... — хохотал он. — Я даже не предполагал.

Я ничего вроде и не выпил, но бутылка кончилась.

— Так вот, — произнес он, с удовлетворенной укоризной отметив ее совершенную пустоту, — и я вам тоже ставлю «пять». Не знаю уж, где вы это подсмотрели, но самый сложный вопрос сумели задать... Вы и не представляете, сколько я над этим бьюсь. Но в пейзаже на все есть ответ, даже на то, для чего человек, но почему «по образу и подобию» — нет ответа.

Теперь он осматривал дно стакана, так и так поворачивая.

— А для чего, собственно, создан человек? Это тоже вопрос весьма живописный. Почему художников тоже зовут творцами? Конечно, преувеличение, лучше было, когда — мастер... Художника в полном смысле никак творцом не назовешь. Он в лучшем случае пересоздал, но не создал. Но и Творец, хотя это его никак не исчерпывает, не есть ли 'величайший художник?.. «В начале было Слово...» А собственно, и не слово, а логос, знание... Значит, образ мира существовал раньше мира, до акта Творения? И это был не просто образ мира, даже божественный... Образ — был богом!.. Понимаете, с чем мы имеем дело? С *художником*. Всегда сначала образ, а потом картина. Это основа эстетики. Но картина ведь всегда для кого-то, для кого-то, кто способен понять или оценить. Ну, оценка наша, допустим, ему не важна. Он выше этого... А вот не верю, что не важна наша оценка! Не то, что мы похвалим, а то, что — поймем! Понимание, неодинокство — в этом смысл Творения, как и художественного создания. Чистым искусством, надо полагать, он не занимался. Да и никто, если вникнуть, не занимался. Это гордыня — искусство для искусства, унижение паче гордости. Все жаждут понимания, кто создает. А так, не понятно ли происхождение человека и зачем человек? *Видеть* Творение! Не только пользоваться им и составлять его, как и всякая Божья тварь, но — *видеть!* То есть понять и постичь. Поэтому, надо полагать, и создал он нас «по образу и подобию»... Иначе этого не понять, зачем уж человека — «по образу и подобию», чего ради? Не может же Творец боготворить сам себя, чтобы копировать венец Творения с себя же?..

Он окончательно перевернул стакан как доказательство.

— А кто тот, для кого создается картина? Ну, обычная картина?..

— Народ, — сказал я, — люди... — уточнил я, и опять неточно.

— Заказчик! — вскричал Павел Петрович.

— Кто же у самого Бога заказчик? — очень удивился я.

— А образ мира, который раньше мира? Но это я только предполагаю... Это не так, но... А ведь и заказчик раньше художника, а?

Он торжествовал, будто подсказывал ответ уже не мне, а самому Богу.

Мне нечего было ему ответить. Я мог лишь кивнуть.

— Если бы я мог поставить так вопрос, — глубокомысленно сказал я, — то я бы поставил его именно так... — Про себя же я решал задачу: переводил крепость «Кавказа» в крепость «Русской», чтобы уточнить объем выпитого Павлом Петровичем в водочном эквиваленте. Я почти сосчитал, но не был уверен в последних пятидесяти граммах: 0,75 или 0,8 был «Кавказ»? Именно посреди этих пятидесяти граммов проходила в моих расчетах граница меньше литра или больше литра.

— Есть одна любопытнейшая гипотеза на этот счет... — мечтательно сказал Павел Петрович. — Даже не гипотеза, а миф, но боюсь, что нам его будет уже не потянуть.

Судя по тому, как я стремительно обиделся насчет своих умственных способностей, литр моим старшим другом был уже выпит...

— Вы не так меня поняли, — ласково читал мои мысли Павел Петрович. — Я не вас, а себя имел в виду... Собачьи-то деньги у меня все вышли...

Как я обрадовался повороту! Я просто не смел сам предложить... Но у меня — были, были! Хотя тоже немножко «собачьи», не то на туфельки ребенку, не то... уж не помню. Какая разница! Были, есть, будут!

— Только где вы сейчас возьмете?

— Это не беспокойтесь, — сказал Павел Петрович. — Этого хватит, — сказал он, забирая у меня пятерку. (Я вытащил их три, все, какие у меня были...) — Этого хватит, — сказал он, забирая и вторую и внимательно и заботливо провожая взглядом третью, дабы я не опустил ее мимо кармана.

Он совсем не шатался, а как-то даже прочнее стоял на ногах и мягче, будто пол стал земляной... Он не спеша все прибрал. Не забыл и выключить муфельную печь, зря я беспокоился. «Спас нерукотворный» был прислонен назад к стенке, предварительно им поцелованный.

— А когда реставрируете... — я робел задать неточный вопрос, — вы тоже... вступаете... в контакт?..

— Конечно, — сказал он, именно в этот момент и прислоняя доску к стене. — Но это другое. Икона, какая бы ни была, даже нерукотворная, писана человеком, не то что само Творение... Там я в контакте с Творцом, — он сказал это так легко,

как будто сел в трамвай или вошел в контору, — здесь — с верой человека, иногда истинной, иногда нет, иногда, — тут он задумался, — и со своей верой...

Порядок был восстановлен в том смысле, что следов не осталось. И мы прошли за ларь, в какую-то никуда не ведущую дверцу. Обреченный, человеческий вздох догини, оставленной нами, раздался за спиной, в новой темноте...

Мы погружались в средневековую глубь. Глубь была буквальной, каменной и тесной. Или мои плечи стали значительно шире и рост? Я царапал за стены плечами, пересчитывал некие невидимые балки головой. Взбираясь по крутой лесенке, увидел я вдруг над собою звезду, свежий ночной воздух ворвался в мои подвальные легкие. Мы оказались на верху стены, окружавшей кремль. Стоя на ней, особенно можно было оценить ее толщину. Там мы стояли, подчеркнуто вдыхая и выдыхая. Это была граница. По одну сторону все молчало, слившись в ночи: постройки монастыря, невидимые, как бы сбились там в кучу, терлись пухло-белыми боками и дышали, — лишь острую колокольню еще можно было различить. По другую — убегали вдаль цепочки уличных фонарей, раздавался автомобильный гудок, стройно горели окна в громоздком порядке ближнего микрорайона... Глоток воздуха был как добрый стакан.

С этой площадки, обращаясь в никуда, просилось слово. Оно предоставлялось здесь Павлу Петровичу...

— И вот Он его создал... — Павел Петрович посмотрел налево и стал смотреть направо: то был мрак монастыря и свет новостройки. — Он сотворил пейзаж и пририсовал человека... Ошибка Айвазовского!.. Знаете, что занятно: что, может, и тут человека не он пририсовал, а?

— Так кто же? — И я посмотрел направо и налево.

— Пока что секрет, — поблескивая в ночи лукавством, сказал Павел Петрович. — Моя тайна. Впрочем, догадка, намек... Вам я скажу. Но не сразу.

— Понимаю, — я не то сказал, не то кивнул. Скорее кивнул.

— То, что вы понимаете, не важно, важно, что вы еще поймете, — сказал он несколько зловеще. — Сами рассудите... Мир был окончательно готов, когда в нем появился человек. Человек в нем ничего не создал. Он не сотворил пейзажа. То, что он сотворил, — он натворил, он испортил. Вы скажете, что телеграфные столбы, рельсы и аэропланы давно стали частью пейзажа... Именно что *стали!* Зверь носит под кожей пулю — и ничего, живет, прихрамывая. Человек не сотворил пейзажа, но он не сотворил и пожарища. И пустыня и пепелище —

опять творение не его рук, они лишь — на его месте. Не им посеян бурьян, не им навеваны барханы. Единство пейзажа, разрушенное им, лишь брешь для действия законов этого единства, не им основоположенных. Хирург режет, но кто затянет рану, свернет кровь, оставит рубец? Кто оставляет рубец на Творении Божьем? Вы скажете: человек — и будете тысячу раз не правы. Человек наносит рану, а рубец — от Бога. Человек!.. — взвыл он. — Единственное слово, которое ничего не значит!

— То есть как? А что же тогда...

— Есть что-нибудь в этом мире, что может назвать себя?

— Да нет... — промямлил я.

— Вот наше слово! Данет... Чем не имя человеку? Зовет себя как-нибудь луна, сосна? Корова говорит: я корова? У них нет языка, скажете вы. А жизнь, бытие — разве не язык, разве не выражение? Нам дан язык слов, чтобы мы все назвали. Камень не скажет про себя, что он камень, а мы про него скажем. А кто же про нас скажет?... Я — сказал Адам после грехопадения; ты — сказал Каин Авелю; он — сказал его потомок про другого потомка; он — это я, напомнил всем Христос... Ну где тут слово «человек»? Человек — это лишь местоимение: я, ты, он, они и, наконец, мы. А если он не местоимение, а человек, да еще с большой, этот венец творения, вершина эволюции, этот пуп земли, то он лишь фактор эрозии, коррозии, гниения, всяческого окисления... Стресс природы.

«А искусство»? — хотел было сказать я.

— А что искусство... — махнул он рукой. — И его не сотворил человек. Хотя это и единственно допустимая натяжка для называния его творцом или создателем хотя бы с маленькой буквы. И что оно доказывает? Что наивысшее создание рук человеческих почти не потребило материи. Что там потрачено — то на холст, краску, бумагу и чернила? На это природы хватит с избытком. На порождение еще одной природы...

Грозен был Павел Петрович и красив. Будто на горе стоял.

— И вы знаете — что? Знаете ли вы — что? Что на творчество никакого не требуется даже и времени? Человек его не знает, когда создает... Когда — любит... — Он вздохнул. — Перед смертью он обнаружит, что все остальное время он разрушал, то есть потреблял, то есть сам разрушался, вот и умер. Время! — взвыл он. — Кто ты? Может, ты — человек? Может, человек — это личинка такая, тля, моль пейзажа... личинка времени, куколка смерти?... Как фараонов бинтовали? Не так ли, что они как куколки лежат? Пирамиды — памятники смерти... все попытки обессмертить, вынести за скобки времени окажутся памятниками смерти. Страх — уже культ. Здесь все

меня, видите ли, переживет, «все, даже ветхие скворешни...». Мы снисходительны к пейзажу, но лишь к такому, что смертен с нами, — вскорости и скворешня рассыплется, нас догоняя... Что нам не нравится — так это черви... Черви, господа, черви, господа, черви... — забормотал он. — Начинается... — мрачно сказал он.

— Что — начинается?

— Время, его мать! Водка кончается — оно начинается. Они перетекают. Там нет зазора. Это одна вещь. Время тоже течет. Язык, он все скажет. Пора вскрыть этот могильник...

Беззвучно и сильно прорвалась сквозь тучу луна каким-то прокисшим ломтем. Взор Павла Петровича вспыхнул ей навстречу сходным светом. Он был столь неожиданно весь пьян, как мертв. Последним, героическим усилием вытряхнулся он из своей летаргии, судорога пробежала по всему телу, сочленя разрозненные, расплавленные и сплывшиеся части.

— Пошли! — решительно сказал он и, словно под ним люк открылся, стал спускаться.

Крутые ступеньки, оказывается, перед ним были и вели в толщу стены. Вот уже одна голова осталась над, еще раз освещенная выдыхающейся луной; голова обернулась ко мне, общим контуром напоминая... черный мяч валялся, заброшенный, на верху стены, голова Крестителя все никак не скатывалась с блюда... голова звала за собой, и не было сил стронуться с места, не было сил не следовать за ним... В последний раз взглянул я окрест — одесную навечно спал монастырь, ошуюю дотлевал, объятый жизнью, город будущего, стекло и бетон, последняя головешка всемирного костра... Еще раз прыснула луна, и, угрожающе шевельнувшись, как ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения... В последний раз повертел я оставшей на воздухе головой и провалился в подземелье, сверкнула надо мной последняя звезда, словно это она упала...

— Осторожнее! — ласково прозвучал Павел Петрович. — Подайте руку... Да вот же рука! — Рука оказалась неожиданно живой, сильной и теплой. — Вот так. Сейчас придем.

Все уверенней двигались мы в этой катакомбе, что-то даже жизнеутверждающее, оптимистическое объявилось в нашем продвижении, будто впереди мог оказаться свет...

— Ну что такого неприятного в черве? — напугивал меня голос, снова звучащий уверенно и трезво. — Паук чем не хорош? А не нравится человеку, неэстетичным кажется, особенно некрасиво ему именно то, что его переживет. Переживет даже не личность, а самого человека переживет, сам вид его пережи-

вет... вот он и морщится от напоминания: бурьян, пустошь, тараканы, мухи... Они ему опять и опять: тебя не будет, тебя не будет!.. Тьфу, заладили...

Тут я наткнулся на Павла Петровича, потому что тот, в свою очередь, уперся. Это был тупик. И темно же было! Я поднес растопыренную ладонь к глазам — и не видел.

— Пришли! — даже голос его повеселел.

«Кончатся он, что ли, меня будет?» — столь же весело подумал я и потрогал заодно свой бесполезный глаз. Самостоятельной жизнью дернулись под рукой реснички: я совсем не испугался, но нежность к своему замкнутому, самостоятельному существованию сладострастной волной пробежала по спине... Павел Петрович пнул в преграду, и она отозвалась радостно и гулко.

— Семе-е-ен! Семи-он! — кричал он, барабаня.

Это была дверь. Куда она могла вести еще?

— Се-е-час! — наконец недоброжелательно донеслось оттуда.

Мне послышался облегченный вздох Павла Петровича: слава Богу...

— Кто там? — Голос мой прозвучал испуганно, что меня удивило и задело.

— О, это... — Павел Петрович переминался нетерпеливо. — Великий человек... Не нам чета... Мудрец!

— А кто он? — настаивал я.

— Семен-то?.. Да так. Отшельник.

— Ну! — Я балдел от происходящего. — Он Семен или Семион?

— Точно не знаю. Сейчас спросим. — И Павел Петрович заколотил по двери снова, и словно под ней все это время стояли... залязгал засов, брякнул крюк, визгнула жесь, острое лезвие света резануло из щели...

Ослепительная пятнадцатисвечовая лампочка освещала белую крысу на плече Семиона. Сам он был высокий, на грубых шарнирах мужик, длинное молчаливое его лицо выходило за рамку: то челюсть, то лоб; он был в измазанном фаруке и пах краской. Павел Петрович повлек его, молчаливого, вглубь под локоток, оставив меня озиаться. Погреб был долог, тот его конец тонул в темноте. Посреди в два ряда были замазаны в цемент огромные бочки, накрытые тяжкими крышками. Сложный и могучий дух кислоты и соленой сырости (будто тут умерло море) не вязался с запахом краски, оставшимся от Семиона. Они прошли еще в одну дверцу, откуда вспыхнул и впрямь яркий свет. Семион, ярко освещенный, взглянул через крысу

на меня, будто проверяя что-то из нашептанного ему Павлом Петровичем; и они оба там скрылись.

Долго стоял я, про меня забыли. А может, бросили?.. Наконец я рискнул заглянуть... Они обернулись с подозрительно трезвыми лицами, как застигнутые. В руках у Павла Петровича была икона, необыкновенно свежая и яркая, он ее как бы повертывал и так и этак; руки же у Семиона были заняты иначе: в правой — кисточка, в левой посверкивали пол-литра. На верстачке под сильной лампой в рабочем беспорядке толпились тюбики и бутылочки, и вся комнатка была величиной с бочку, которую мы всю и заполнили. На единственном стуле отдельно стояла еще одна икона, оказавшаяся тем же самым «Спасом», с которым мы выпивали. Как она сюда попала? Я не заметил, чтобы Павел Петрович что-нибудь нес в руках...

— Узнаете? — спросил он.

Я кивнул. Но оказалось, не про то он спросил.

— Кирилл и Мефодий, — сказал он, обращая ко мне свежую икону.

— Этот Кирилл? — растерянно указал я.

— Угадали, — усмехнулся Павел Петрович.

Я хотел было спросить Семиона, как так получилось, что и он реставратор, но Семион, прихватив два стакана, кивком позвал нас за собою.

Я уже не удивлялся, замороженный. Семион поставил бутылку и стаканы на бочку и, подналегши, сдвинул крышку с соседней; ниоткуда взялся в его руке ковшичек-черпачок, которым он из бочки и черпанул. Не что иное, как соленые огурцы заплескались в ковшичке, как рыбки. Он выплеснул ковшичек на крышку; живописной кучкой насыпались они, лоснясь.

— Патефончиков бы... — сладковато сказал Павел Петрович.

— Кончились. — Это было первое слово, услышанное мною от Семиона.

— Ну, с доньшка?.. (Семион молчал, так же клоня голову к крыске и будто с нею разглядывая). Я сам полезу... — умолял Павел Петрович.

Семион нехотя согласился, и Павел Петрович направился к третьей бочке; крышка на ней была откинута, и, свесившись в нее, он стал шарить в ней ковшиком, как недавно в ларе, будто и в бочке была еще бутылка...

— За ноги поддержи, — донеслось из бочки.

Семион не шевельнулся, и это был я, кто стал держать его за ноги.

— Тяни! — наконец крикнул он в гулко отозвавшуюся бочку. И вот он стоял, красный от прилива крови и победный, держа в руках два патиссона. С рук его капал рассол.

— Где мы? — наконец осмелился я.

— А я вам разве не сказал? — удивился Павел Петрович. — Да ведь ясно где! Вы что, никогда не бывали на засолочной базе?

Что-то страшное вроде улыбки осветило мрачное лицо мудрого Семиона, и я понял, кого и что все это мне напоминало. «Три мушкетера». Лилльский палац! Этот привет от любимого писателя тронул мое сердце, и не стало предела моему восхищению...

— А Семион? — любезно спросил я, принимая от него второй стакан.

Семион с зубовным скрежетом заиграл желваками и отвел взгляд.

— Он не по этой части, — сказал Павел Петрович, разливая. — Он выше этого...

Мы чокнулись. Я подобострастно поднял стакан, приветствуя нашего гостеприимного хозяина. Он еще поиграл желваками и ничего не сказал.

За что он меня так презирал? Когда я заранее, через Павла Петровича был к нему преисполнен. Мне было обидно.

Сначала даже плохо пошло, хоть и под патиссончик, а потом — хорошо. Не заметил, куда делся Семион. Ну да раз уж он был не по этой части... Я все хотел спросить, по какой же, да все и забывал. Павел Петрович все говорил, и мысль его не ослабевала:

— Еще почему вряд ли я художник... Я все постичь хочу, а не изобразить. Художник не должен особенно думать. У него глаза и руки думают, голова молчит. Словами он, во всяком случае, думать не должен. А для меня то не мысль, что не в слове. Художник мыслит образами... Слыхали такое? Какая же это мысль? Это наскальная мысль. Вот кто, кстати, зверя-то нарисовал! Питекантроп!

— Кроманьонец, — сказал я.

— Ну да, вот он. Все настоящие художники — кроманьонцы. Они потому и любят блузы и длинные волосы... чтобы хвост прикрыть. У них и в лицах — замечали? — сплошь такая узко-крутолобость, глаза глубоко в глазницах. Еще больше — у скульпторов. Те еще пещернее. На пару сотен тысяч лет. У них щетина на ушах, на плечах, на спине. Непременно! Волосатый человек Евтихийев, вы его не застали уже... в старом учебнике естествознания... с детства казался мне скульптором. Потому они и любят голеньких ваять, что те, кто люди у них, без

шерсти... Не люблю я их, признаться. Вы думаете, я из зависти? Мол, неудачник...

Я хотел было сказать, что так не думаю, но, к удивлению своему, услышал лишь собственное мычание. Павел Петрович меня понял по-своему и разлил по новой.

— Ни на что я не променяю мысль! Даже на их гений... Хотя мысль, — горько сказал он, — смертельна!

Я хотел спросить почему, но не мог.

— Сейчас я вам скажу почему, — сказал он, зажевывая огурцом. — Это великая мысль. Мы рождаемся не в беспредельном мире, не так ли? Мы его постепенно познаем. Спеленатые, мы шарим глазенками и видим мать. Она — весь мир. Потом мир становится размером с комнату, с дом, с улицу. Потом мы убеждаемся в том, что никогда не дойдем до его края... Потом нам объяснят про шар, про материки и страны, про Солнечную систему, про галактику, про космос... И, преподав нам то, что мы не в силах вообразить, обучат нас подменять представления словами, убедят нас не столько в беспредельности мира, сколько в беспредельности якобы наших возможностей познания. Мол, мы не все еще поняли и знаем, но теперь знаем больше, чем раньше, а потом станем знать еще больше, а потом однажды едва ли не все будем знать... И человек со способностью мыслить начинает рваться этой своей способностью все вперед, все дальше, и это почище наркотика, я вам скажу. Из наркотика-то можно не выйти, а там и остаться, не то что из мысли... Как Семион... (Я посмотрел в сторону, в которую он кивнул и где Семиона не было.) Бывший десантник... Там и остался, где его высадили... Там и начал колотиться. Как говорят, сел на иглу. Ему теперь ничего не надо... А нам объясняют, что для жизни нужны кислород, вода, пища, и это тоже будет правда, потому что так оно и есть... объясняют, что жизнь на Земле — это редчайшее чудо, потому что сочетание условий, при которых она возможна, уникально и неповторимо в космосе, что диапазон жизни феноменально узок, что мы погибнем тотчас, как нам не хватит градуса тепла, глотка воздуха или воды... И это опять правда. И только сознание наше, видите ли, всемогуще и беспредельно, как мир... Не улавливаете несоответствия? Нет еще? Поясняю. То, в чем мы живем, то, что мы видим, воспринимаем и постигаем, то, что мы называем реальностью, — тоже диапазон, за пределами которого мы так же гибнем, как замерзает или задыхаемся. Мы думаем, что реальность наша беспредельна, только, видите ли, мы ее еще пока не всю познали; на самом же деле наша реальность — тот же диапазон, отнюдь не шире того, что мы слышим или видим. Мы живы лишь в этом

диапазоне. И мы живем лишь в нем, мы живем совсем не в реальности, а лишь в *слое* реальности, который, по сути, если бы мы были способны вообразить реальные соотношения, не толще живописного слоя. Вот в этом масляном слое мы и живем, на котором нас нарисовали. И живопись эта прекрасна, ибо какой художник ее написал! Какой Художник! Леонардо с ним несравним, как... как... И сравнение-то с ним — несравнимо! Для нас *Он* нарисовал жизнь, устройство которой мы понемногу разбираем, разбираем еще и в буквальном смысле... «Так по камешку, по кирпичику растащили мы этот завод...» Мы копошимся, ползая по слою, и все думаем, что проникаем вглубь, не в силах понять, что там, в глуби, совсем уже не наша реальность, нам не отпущенная, отнюдь не данная нам в ощущении... что устройство нашей жизни имеет еще свое устройство, отнюдь не внутри нашей жизни расположенное. Не в яблоке заключен закон Ньютона и не в ванне — Архимеда. В слое нарисованной для нас жизни есть устройство, являющееся, в свою очередь, слоем реальности, у которой, в свою очередь, найдется устройство, помещенное не в нем, а еще в одном, нескольких, не знаю скольких еще слоях, но опять ничего нам, даже если бы мы туда проникли, не объясняющих. Не было такой задачи, чтобы мы поняли, была задача, чтобы мы жили! Она и была прекрасно — Господи, как прекрасно! — *воплощена*. В воплощении и плоскость есть, не только плоть... Теперь — мыслящий человек, теперь — художник. Художник не понимает, а отражает, поэтому это прекрасно, что отразится в нем может лишь то, что было уже прекрасно, но если он при этом еще и постигает, видите ли, то, полагая, что идет вглубь, он идет поперек слоя, а слой-то узок, не толще масла, а что за ним?.. За ним грунт, за ним холст, основа, а за ним — пропасть, дыра, рваные края, а там — пыль, темнота, стена с гвоздем и веревкой, чтобы повеситься, бездарная подпись с бессмысленным названием... Про живопись никто не знает, кроме живописцев, но, поверьте мне, истинный талант в живописи никогда дальше немой догадки, что за красотой есть что-то, не пойдет, а мыслящий дурак — пойдет. Там, там они все — Леонардо, Эль Греко, и Гойя, и Ван Гог... все они вышли за диапазон, за пределы изображения и ничего, кроме безумия, за этими пределами не обрели... Сезанн... — И опять его перекосило, как от зубной боли.

— Что же все-таки Сезанн? — вдруг отчетливо сказал я, удивившись металлическому своему голосу.

— А что Сезанн? Ничего себе Сезанн. Никогда нормальным человеком и не был. Вы все равно ничего не можете понять

в живописи. Так что и не будем. Возьмем художника слова... Кто был наиболее близок к живописи в слове?

— Гоголь. — Тут я не сомневался.

— Правильно. А в живописи ничего не понимал... Ну и что с ним дальше-то было? Ясно? То же самое. Он истощил слой реальности, отпущенный ему Господом для отображения, двинулся поперек слоя и вышел за пределы изображения. Там начинается другое — там вера. Да какая же вера у кроманьонца, когда он поклонялся тому, что видел? Там, где вера, там уже нет художника. Художник не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что искусство не только образ, но и способ жизни... Нам, негениям, все что-то мешает стать гениями: лень, косность, общество, грехи... — и мы никак не можем допустить, что это инстинкт, страх гибели и жажда жизни нам мешают. Мы подсознательно боимся вывалиться из слоя реальности, мы хотим остаться живы. Но мы этого не поймем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении. Нам помешали, и только. Кризис художника — это не обстоятельства. Они всегда тут как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут, никакая схема, никакой подвиг: все легче, чем продолжать писать жизнь, только что казавшуюся живой и изображимой, да и бывшую живой, а для кого-то так и оставшуюся навсегда живой, потому что он и не претендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все то, от чего не в силах отказаться другие люди, чем написать *следующее* за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. Гений движется с космической скоростью в своем постижении и прорывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния равняется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об устройстве мира если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. Судьба гения — это космическая катастрофа не в том смысле, что нам его в таких масштабах жаль или что это на нас космически же отразится, не в том смысле, что бы он нам еще преподнес хорошего, кабы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилось к того же масштаба катастрофе, которую пережил каждый гений. Только художник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму, люди истощают пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтобы мы жили

и прожили. Не более и не далее. Далее — смерть. Сначала смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было столько, сколько надо. Значит, не больше, чем надо. Не так много. Столько. Запаса оболыщения в том числе. Господи, когда же они поймут, что кончилось — это кончилось? Нету больше. Не-ту! Откуда я вам возьму, когда нету! — кричал на меня Павел Петрович. — Богом сосчитано до одного. Дальше — ревизор. К нам едет ревизор! А ревизор-то — дьявол.

Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили.

— В дьявола я не верю, — вдруг воспротивился я.

— То есть как?! — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом.

— То есть в Творца, в Христа... — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. — Верю как в реальность, что они были... есть... а что дьявол так же есть, как они, — нет.

— Он не верит... — испуганно прошептал Семион своей белой подружке. — Во что же он тогда верит?!

— Слушай его, слушай, — сказал Павел Петрович.

— Да ведь весь воздух кишит?.. — И Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство.

Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал.

— Чем кишит? — разозлился я.

— Невидимыми существами! — И он заозирался будто в страхе.

— И в тот свет — не верю! — уперся я.

— То есть как?! — Семион, казалось, лишился дара речи.

Павел Петрович не без интереса на нас поглядывал.

— А так, — сказал я зло.

— Так ведь раз есть свет этот, — сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, — так есть и тот...

— Слушай его, слушай, — с удовольствием поддержал Павел Петрович.

— Как магнит не разрубишь пополам, — сказал Семион.

— Как свет и тьма! — воскликнул Павел Петрович.

— Как жизнь и смерть! — заиграл желваками Семион.

Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего заклания... Я плохо сообразил, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе всей речью, как невидимый, прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый... То

крыса, то лицо Семиона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла... Тогда тусклеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием, и Семиона снова как не бывало...

— Ты кто? — спрашивал я Павла Петровича.

Кто он?..

— Ни одного более носорога! Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживает, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? *На нас?*

Я восхищался его умом, я был им переполнен и подавлен, хотя и водка плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на ногах... Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения: он выступал, а я слушал, и как бы я ни молчал, хотя бы потому, что ничего вровень ему и сказать-то не мог, я — тоже выступал и не мог отступить от роли, как от верховности положения: я выступал оценщиком, конечной инстанцией, ОТК его идей, браковщиком его истин, — так или иначе, я был тем, ради кого он говорил... Что-то с ним когда-то случилось непоправимое, чего-то он не скушал, не переварил, не простил чему-то такому, чему принадлежал без остатка и любил без памяти, ревность пылала во всем... Что это было, чего он не снес? Культура, искусство, сама жизнь? Или сам Бог?

— В Творении не предусмотрены наши блага, блага — это дело наших рук! — голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно он уже не догонял мысль, а убежал от нее и она его нагоняла. — Было предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение, — любовь, смерть. Это конец программы. А мы-то полагаем, что наше познание только начинается, когда мы покидаем свою программу... Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не хватит познающему, потому что знания, как и Бога, неизмеримо больше, чем нас. Ни Екклесиасту, ни Фаусту...

Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кончился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый свет, осклизлые, серые стены, помойный цементный пол; в бочке плавал последний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высовывающийся любопытствующим

тупым концом наподобие крокодильчика. Одно мне стало окончательно ясно: что там мы и находились, где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким преувеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил. С сомнением, что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж нашего знакомства. Правда была здесь, а не там; правдой, то есть реальностью, был вот этот огурец. Безумие — это не то, что можем себе вообразить и испугаться, безумие — это когда уже *там*, а не здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Семион, потому что то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кованый ключ от храма.

— Опять забудете, — говорил он ласково.

Потому что мы, оказывается, собирались.

— Ну ты нашабился! — восхищенно сказал Павел Петрович трезвейшему, на мой взгляд, Семиону. — Дал бы дернуть...

С той же устрашающей и подкупающей маской любезности Семион вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Павлу Петровичу.

Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе то же карабканье в стене и там долгожданный глоток воздуха и неба... оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую дверь, и никуда не надо было карабкаться — очутились прямо на улице по ту сторону кремля.

— Мы сейчас пойдем в одно место, — сказал Павел Петрович.

— Куда уж... ведь ночь... — Это не я — моя плоть боялась: я весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне.

— Там нас очень ждут. — Павел Петрович был безапелляционен, однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо или налево, и что-то про себя взвешивал и решал.

Мы стояли под единственным фонарем, дорога, изогнувшись вокруг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раздумье же Павел Петрович достал, теперь из-за своего уха, Семионову папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал — я ощутил, до чего же сладко здесь настоялась ночь: общий запах асфальта, листвы и травы и тумана, остывая, излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, Павел Петрович передал папиросу мне. Я затаился, и мы пошли.

То есть это мне так показалось, что мы пошли. Потому что и фонарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор... Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы, он меня бережно поддерживал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же фонарем...

Речь его струилась по этому руслу, как поток, как стихи...
Но это и были стихи!

О вечность, вечность! Что найдем мы там,
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа, где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.

Я был восхищен и подавлен.

— Прекрасные стихи...

Он испепелил меня взглядом и заиграл желваками. Будто
я Сезанна помянул...

О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший,
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить два дня...

— Не жрамши... — Павел Петрович осекся и снова ожег
меня взглядом, будто это я и был само воплощение...

— Эт-то в-ваши?.. — робко догадался я.

Великая скорбь залила его чело. Он замотал головой от
невыносимого страдания.

— Он и обезьяна, и питекантроп, и каменный, и бронзо-
вый, и золотой, и язычник, и ранний христианин, и атеист,
десятый век соседствует с первым, а первый с двадцатым, он в
галстук и набедренной повязке, с пращой и автоматом, рабо-
владелец, смерд, буржуа и пролетарий, грек, монгол и рус-
ский — все это одновременно, все это сейчас, не говоря уж о
том, что он и женщина и мужчина... Мы судим по верхнему
этажу, который он надстроил уже в наше время, но мы не знаем,
какой из этажей реально заселен в нашем соседе: может, это
монгольский сотник пятнадцатого века в «Жигулях», а может,
слушатель платоновской академии в джинсах... Мы все из кожи
вон уподобляемся друг другу, настаивая как раз на несущест-
венных отличиях как на индивидуальности... и никто нам не

подскажет, кто мы. Что ты скажешь про возраст дерева?.. Нет, не надо его пилить, чтобы считать кольца! — перебил он меня. — Что за варварство! Каждая клеточка дерева — разного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли свежий лист нижней ветви старого листа верхней?

Я не знал. Я стоял в замешательстве перед бурным потоком, внезапно преградившим путь. Павел Петрович заботливо помог мне перешагнуть его, ибо это была лишь жалкая струйка из протекавшей в муфте водопроводной трубы. Он развивал теперь передо мной в противовес теории слоя, в которую я уже веровал, некую теорию фрагментарности жизни и был крайне сердит на Создателя.

— Подумаешь, понастроил! Без плана и контроля, как получилось и из того, что под руку попадалось... Это мы населяем, мученики, все логикой и стройностью, которая нам не дается, за что себя же и виним. А это самый обыкновенный курятник, только очень вычурный, с пристройками, лесенками и надстройками, выданный нам за совершенное здание, благо мы другого не видели. По кусочкам — и в кучу! А все — отдельно, все отдельно! — вскричал он. — Не завершено, недомалевано, сшито на живую... Стоп! — ликовал он. — Вот что живо, вот что грандиозно, вот что велико и божественно — нитка! Нитка-то — живая! Она-то и есть присутствие Бога в Творении! Как я раньше не подумал! — Павел Петрович плакал, по-детски растирая слезы по лицу.

— Ты что? Ты что?.. — умолял его я. — Что с тобой? — спрашивал я, еле сам сдерживая слезы.

— Бога жаль! — сказал он и, круто, по-мужски смахнув предательскую слезу, заиграл желваками, как Семион.

— Ну уж, — опешил я, — чем мы можем ему помочь?

— Именно мы и должны! — убежденно сказал Павел Петрович. — Он же верит в нас! Это не мы в него, а он в нас верит. Ты думаешь, ему легко? Взгляни на нас!.. Вот что тут... — И он опять заплакал. — Нет, ты не знаешь! Ты не знаешь! — причитал он. — Ведь он — сирота!

— Семион?..

— Бог — сирота, болван! Он — отец единственного сына, и того отдал нам на растерзание. Каково ему, от вечности лишенному родительской заботы, той же участи подвергнуть дитя свое единокровное!

Чего не ожидал, того не ожидал! Хмель вылетел у меня из головы. Во всяком случае, фонарь наконец отцепился от меня и отстал. Тьма вокруг густела.

— Разъясняю, — доносился Павел Петрович из темноты. — Сначала тебе вопрос. Адам был создан по образу и подобию... Можно ли считать его сыном Бога?

Шея как-то свободно болталась у меня в воротничке, почему-то показалось, что мне ее сейчас с легкостью свернут в темноте невидимой громадной рукою, тянущейся с неба.

— А вот нельзя! — ликовал Павел Петрович. — Потому что он сотворен, а не рожден! А Иисус — рожден! Иисус — сын. Я об этом еретическую книжку одну читал, не помню автора... Творением мы можем быть удовлетворены, даже горды, но это чувство еще любовью не назовешь, любить собственное творение может лишь дилетант, а не истинный творец. Творение любить нельзя, а сына — нельзя не любить. Творение может не удовлетворять, но вряд ли в нем можно что-то исправить: сотворенное, оно не принадлежит создателю. Ты перечитываешь свои книги, ты можешь поправить хотя бы опечатку во всех экземплярах? Я люблюсь своими пейзажами?.. Такова реальная возможность любить свое создание и поправлять в нем. Творец не может войти в контакт с творением, когда оно закончено, как бы оно ни огорчало его. Он может его лишь уничтожить. Но оно ведь живое! Единственный способ находит Господь — отделить себя от себя, послать другого себя, сына своего... Он отдает нам единственное и самое дорогое, чтобы тот доделал то, чего не мог он сделать сам. Учти еще и то, что не только Иисус — человек, но и Создатель, не нисходя к нам, становится человеком, ибо он отец человека Иисуса, и этим он приносит еще одну жертву, обожествив Творение, усыновив его. И тогда мы, бывшие лишь созданием, подобным ему и сыну его, станем и детьми его, ибо его сын — наш брат по матери и по крови. Но, став братьями Иисуса, не старше ли мы Иисуса? Адам старше Иисуса во времени, и, как дети его — Каин старше Авеля и Каин убивает Авеля, — не Каином ли стало Адамово человечество, распяв Божьего сына, а своего брата?

Мы вышли на свет следующего фонаря, я еще покрутил шейю, и тут нас разглядело возмездие. И не надо было крутить шейю — оно последовало не сверху, хотя, возможно, и свыше.

Из оставшейся за спиной темноты нас нагнал и круто тормознул «воронок». Два милиционера проворно выскочили из кабины, и один уже крепко сжимал мне руку повыше локтя, а второй, проскочив мимо, грузно шуршал в кустах, как лось.

Я оглянулся — милиционер смело заломил мне руку за спину; я ойкнул.

— Полегче, — сказал милиционер.

— Это вы полегче, — сказал я.

— Ты у меня! — сказал он.

— Я у тебя не убегаю и не сопротивляюсь, — сказал я.

— Это точно, — сказал он, — куда ты... денешься.

И он улыбнулся открытой, детской улыбкой. Был он сам мелковат, а зубы были замечательные и крупные. «А ведь я мог бы с ним справиться», — подумал я, сжимая в свободной руке ключ от храма. Бог меня спас, я мог бы и убить таким ключом...

— Ключик-то отдай мне, — сказал он тогда.

Я отдал.

— Ну и ключик! — восхитился он. — Откуда такой?

— От квартиры, — не удержался я.

Милиционер, к счастью, не обиделся, а засмеялся, довольный.

— Скажешь... — сказал он утвердительно и удовлетворенно.

— Да отпусти ты руку, не убегу, — сказал я.

— Прописан? — спросил он.

— Прописан, — сказал я.

— В Москве?

— В Москве.

— Где?

Я назвал.

— Далеко же ты забрался. Как добираться-то будешь?

— На такси.

— У тебя что, и деньги есть? — искренне удивился он. — Не все разве пропил?

— На такси осталось.

— Покажи прописку.

— Да не ношу я с собой паспорт! — Это меня всегда бесило.

— И зря, — сказал он, но руку отпустил.

Этот милиционер был ничего. Другой был хуже. Он вылез, запыхавшийся, из противоположных кустов: как он перепорхнул?

— Ушел, гад! — сказал он.

Что Павел Петрович сбежал, вызывало во мне смешанное чувство: с одной стороны, я был, конечно, за него рад; с другой — он меня этим очень удивил, такой своей способностью; с третьей... «Адам, Каин, Авель...» — думал я и усмехнулся не без горечи.

— Взгляни, — сказал мой, протягивая ключ коллеге.

— М-да, — протянул тот. — Откуда такой?

— Не говорит, — доложил мой, — и паспорта нет.

— Так, ясно, — сказал тот, — без прописки, значит.

Я было вскипел, но мой поддержал:

— Говорит, что прописан в Аптекарском переулке.
— Где это?
— У трех вокзалов, — сказал я.
— Ну, у трех вокзалов вы все прописаны... — засмеялись они вдвоем. — А друг твой что, тоже там прописан?
— Да не друг он мне...
— Что, впервые видишь?
— Впервые вижу.
— Чего же в обнимку шли?
— По дороге было.
— На три вокзала?
— Да нет, до трассы. Я тут заблудился, а он сказал, что покажет.

— А ведь не простачок, а? — поощрительно кивнул тот моему.

— Это да, — согласился мой.

— Заблудился, видишь ли. А где ты заблудился-то, хоть знаешь?

Вот это был вопрос! Это он меня взял. Этого я совершенно не знал, где я.

— Откуда хоть идешь, скажи, — подсказал мне мой, словно и впрямь был на моей стороне.

— Из монастыря.

— Из монастыря?! А что ты там делал?

— Причащался.

— Все ясно, — сказал тот. — Что мы стоим? Поехали.

...Можете мне не поверить, но меня в конце концов отпустили. Не ожидал я от них, но еще меньше ожидал от себя.

Проснулся я; сидя на обычном канцелярском стуле, в помещении, до странности не напоминавшем камеру. Это был такой загончик, в котором содержат некрупных животных, вроде кроликов или в крайнем случае лисиц... Сквозь проволочную стенку, отделявшую меня от дежурки, видел я мирного милиционера, дремавшего на посту. А вот о бок со мной помещался на таком же стуле человек, которого никак нельзя было бы здесь ожидать: солидник. Он был в драгоценном на вид пальто с бобровым, как мне показалось, воротником; в каракулевом пирожке, оттенявшем благороднейший бобрик седых волос; в тонких золотых очках, свирепо посверкивающих... и он спал, оперев выбритейший массивный подбородок на набалдашник (слоновой кости!) столь же массивной трости.

— Проснулся? — услышал я добрый голос милиционера. — Выходи.

И он отпер сетчатую дверь в нашей клетке.

— Выходи, не бойся, мы ничего против тебя не имеем... (В жизни со мной так не разговаривали!) Как раз майор пришел, сейчас тебя отпустим... Сиди, сиди. Тебя не касается! — грозно прикрикнул он на шевельнувшегося за мной сановного соседа. — Ты у меня еще посидишь! — Два «и» в последнем слове прозвучали у него тоненько, как у комарика.

Образцовый и показательный, выпорхнул я из камеры, как птичка, осуждающе посмотрев на моего, теперь уже бывшего, коллегу... Протрезвел я, конечно, сам удивляюсь как. Правда, разило от меня!.. Майор, чисто выбритый, образцовый, со спортивным румянцем на подтянутых скулах и университетским ромбиком в петлице, брезгливо попросил меня не подходить к нему и говорить на расстоянии. Все-то я ему сумел объяснить... За что я люблю кино — так это за то, чтобы в милиции сказать, что я в нем работаю. Тут, конечно, начинаются вопросы, на которые я могу ответить, то есть вопросы, переходящие в разговор, переходящий в беседу. Не то чтобы майор видел хоть одну из снятых по моим сценариям картин, но удостоверение-то, хоть и не паспорт, у меня было. И адрес мой подтвердился, и ФИО. И не дрался я, не пел, не матерился, не оказал сопротивления. И в монастыре, как оказалось, был я в гостях у друзей-художников, а художники, известное дело, сами понимаете... И запах у меня такой, просто несчастье мое — пищеварение такое или печень: выпьешь на грош — разишь на рубль.

— Что ж вы здоровье-то не бережете, раз так? — напутствует майор.

— Да не могу сказать, чтобы часто злоупотреблял-то, — сокрушаюсь я на голубом глазу.

— Что ж они вас не проводили-то?

— Да набрались, как поросята, — осуждающе говорю я, — я-то не вровень с ними пил.

Ключ же, оказалось, я нашел в деревне (отдельно разговор о деревне — где, в какой области, оказались почти земляки...), ржавый-ржавый; вот ребята мне его и отреставрировали, я его на стенку повешу.

— Вот ключик-то у нас и оставьте... А Голсуорси, что обещали попробовать достать (уж больно жена им увлекается), когда достанете, зайдете к нам, я вам и верну...

И телефончик даже записал, выдернув листок из прошедших дней календаря.

И я настолько воспрял, что даже спросил, что натворил мой вельможный сокамерник.

— И не спрашивайте! — презрительно отмахнулся майор.

А было уже утро, и не самое даже раннее. Солнце грело. Небо синее. Господи! Какое же это счастье! Выйти из КПЗ, выйти сухим, выйти на воздух, на свободу, да еще и погода! Чувствовал себя даже молодо и свежо, будто не зашел вчера за литр, а возвращаюсь себе с утреннего бассейна или корта. Не то что вспоминать — подумать во вчерашнюю сторону омерзительно и страшно. Чем я жив, отчего единственно все еще считаю себя неконченным, так это ханжеством. Я ведь как их сумел убедить? Да только сам во все поверив. И вышел я оттуда с полным ощущением, что справедливость торжествует и, что особенно характерно, что именно в моем случае. И тот, с тростью, убедительно подтвердил это...

И только отделение скрылось из виду, только я окончательно полной грудью вдохнул воздух, убежденный в том, что вчерашнего фантастического ужаса просто не было, что все это воспаленный бред, который я, к счастью, преодолел, победил и забыл, как меня решительно потянули за рукав... Продрогший и осунувшийся, бессонный, стоял передо мной Павел Петрович.

— Неужто выпустили? — озираясь и шепотом сказал он. — Вот уж был уверен, что пятнадцать суток — твои.

— А ты как узнал, что я здесь? — опешил я.

— А куда тебя еще могли повезти?..

— И ты меня все время ждал?

— После одиннадцати не ждал бы. К одиннадцати приезжает судья...

— А сейчас сколько?

— А сейчас ровно столько, что откроют магазин¹. Пошли!

Так я был наказан, и опять свыше, за ханжество, только что столь меня преобразившее! И выходили мы уже из магазина с двумя бутылками, на этот раз точно портвейна «Кавказ». Причем угощал опять он, вот что удивительно. Ибо целы у него оказались мои пятерки, и вовсе не покупал он водку у Семиона, а тот был ему ее должен... И вот, щурясь на белый свет, и ощущая взгляды на своей испитой коже и внезапной щетине, и прижимая к пузу петарды с «Кавказом», будто под танк с ними бросаясь, а вернее, под «КрАЗы» и «МАЗы», стоим мы посреди улицы, задыхаемся, и никак нам этот поток не перейти, и уж я-то точно не знаю, куда дальше, и уже больше совсем не хочу туда, «где нас очень ждут», да и ПП будто сник после ночи... Ни тебе садика, ни скверика — крошечный район: новостройка, которая уже не новостройка, а застройка пятидесятых. Слоновые строения с глухими крепостными подъездами и особыми,

¹ Отсюда ясно, что действие происходило задолго до 1 июля 1985 года.

выросшими за эти четверть века старухами на лавочках у подъездов... И даже всюду входящий Павел Петрович будто наконец растерялся. Но вы не знаете Павла Петровича! И я тогда еще не все про него знал... Буквально в двух шагах было дело, на них-то он и прищурился, не от растерянности, а для рывка... Напротив магазина шел ремонт, а вернее, перестройка первого этажа под что-то такое, под другой, скорее всего, магазин. Рассыпающаяся звезда сварки и был наш ориентир... Работяга, накинув забрало, варил некую конструкцию в чернеющем дверном проеме. К нему-то и направился уверенно Павел Петрович, а я безвольно, уже опять подпав, за ним. Павел Петрович подошел к сварщику и даже не сказал ему ничего, хотя точно на этот раз это был не Семион, а, как и мне, совершенно не знакомый ему человек, — не сказав ему ничего, лишь сказал: «Дай пройти». И тот, совершенно не матерясь, а тут же входя в положение, притушил свою сварку, приподнял забрало, открыв свое хорошее рабочее лицо, готовно отошел в сторонку, освободив нам проход и тоже ничего не сказав, только сказал: «Только вы отойдите туда поглубже...» — мысленно я моментально продолжил фразу: «...чтобы вас не увидели», — но опять был не прав, потому что окончание фразы было другое: «...чтобы я вас не слепил». «Отойдите в сторонку, чтобы я вас не слепил» — не меньшим счастьем, чем утро, встретившее меня за порогом милиции, одарила меня эта фраза! Мы прошли, и он, впрямь не прожояя нас взглядом, ничем нас более не напутствуя, продолжил прерванную работу.

В глубине пустого темного зала, наверно будущего магазина, стояли строительные козлы; на них-то Павел Петрович и расположил — и опять уютнейше! — наше достояние. Рабочий (не хочется называть этого благородного человека работягой) сверкал в единственном светлом на все помещение проеме, и мы молча выпили по первому стакану и молча подождали довольно быстро пришедшего обновления наших организмов, и стало хорошо, опять хорошо и снова хорошо, и мне показалось, что рабочий защищает нас, отстреливаясь, от нехорошего, недоброежелательного к нам мира...

— Хочешь, совсем честно тебе скажу, — сказал Павел Петрович и посмотрел на меня так грустно, что я не понял.

Но я был настолько снисходителен к нему ввиду такого благородства нашего рабочего, нашего защитника, нашего пулеметчика... что уже как бы не помнил (хотя на самом деле помнил) его ночного предательства, я был снисходителен и не хотел слышать его оправданий, унижающего его лганья, и я сказал, любуясь моим рабочим:

— Что ж ты ему-то не предложил, а?
— Он не будет, — ясно ответил Павел Петрович.
— Почему же не будет?
— Потому что в обеденный перерыв будет.
— Ты с ним знаком?
— Откуда?.. В первый раз вижу. Так хочешь, я тебе скажу?
— Ну? — спросил я недовольно, все еще не пережив своего героического поведения в милиции.

— Честно говоря, я ужасно струхнул, поэтому тебя и бросил. Теперь ты не захочешь, чтобы я был твоим крестным...

Нет, я еще не знал этого человека! Он никак не мог смириться с мыслью, что предал меня. Нет, он не предал. У него как бы не было выбора. По целому ряду обстоятельств, о которых он мне когда-нибудь расскажет, он не имел права рисковать. С другой стороны, я должен был понять, что я у него на всю жизнь и должен положиться на него как на себя. Но если бы я знал все, если бы имел хоть какое-нибудь представление о том, что ему пришлось за жизнь пережить...

Что же это за власть он захватил, хотя бы и над одним мною?.. Вряд ли я один... Опять я поплелся за ним, как зять Мижухев.

Вот это было то, что мне никак не удавалось уловить и на что я бесспорно попадался: пауза и доза. То есть я не мог уловить закона и ритма, по которым он это варьировал: то полстакана, то стакан, то треть, то через пять минут, то через час... За точность времени я, конечно, не мог ручаться, потому что вряд ли хоть какое-то чувство времени во мне сохранилось. Но было что-то от власти над собой и над процессом в его неумолимом, самоубийственном пьянстве, и уж совсем непонятно было, как я-то выдерживал это с ним равенство, но всякий раз, как он находил нужным добавить или повторить, я оказывался вполне способным, а иногда даже готовым это вынести. И рассказ его, и бурные барашки мыслей, предвещавшие шторм очередной системы мира, были каким-то образом подчинены и организованы кажущейся бессистемностью тостов. Ибо он держал руку на этом аритмичном пульсе! Трудно было в это поверить, а тем более оформить как мысль, но он пил как бы не сам, а — мною, и не я подчинялся его желаниям продолжить, а он — руководствовался моими сначала способностями, а потом и возможностями. Страшные истории своей вызывающей сочувствие и ужас жизни помещал он между этими неравными в пространстве и во времени стаканами... Фашисты подагли дом; мычали овцы; трепетал флаг над сельсоветом; трактор раздавил пьяного в колее; ночью под фары «студебеккера» вышел кабан; их нашли

лишь через неделю в погребе оголодавших и забывших слово «мама»; брат бежал из колонии, но оказался «коровой»: его съели товарищи по побегу в пятидесяти километрах от Улан-Удэ; в пирожке в станционном буфете нашли детский палец; отец изнасиловал сестренку в борозде... Это был многосерийный телевизионный рассказ, в котором им оказались сыгранными все роли. Но я не сомневался. Иногда мой слабый разум пытался высчитать возраст героя и сбивался, как и от попытки высчитать количество выпитого. Мой собутыльник и современник прожил несколько жизней, достигая иногда и семидесятилетнего и семилетнего возраста одновременно; события, которых он был участником, а иногда лишь свидетелем, бывали историческими, но тогда роль и ракурс становились фантастическими и, ровно наоборот, убедительность и реальность фактов личной его жизни окрашивала факт исторический в самые фантазмагорические цвета. Но каждое из этих биографических колен имело все один и тот же подмысел: предательство. Всякий раз он был несправедливо, незаконно, случайно, умышленно, не по своей воле и т. д. изгнан, отторгнут, выселен, посажен, казнен, унижен, растоптан — в университете, в армии, в оркестре, в бригаде, в детском саду, в Академии художеств, — упиралась и обрывалась его столбовая дорога, светлый путь, призвание, назначение. Всякий раз его *предавали*. И каким бы я ни был ему безукоризненным слушателем и сколь бы плохо я ни соображал, от меня не могла вполне ускользнуть связь этой бесконечной цепи предательств с тем, что этой ночью он смылся, а меня — забрали. Мое сочувствие его злоключениям и вера в истинность происшествий потому и не устраивали его, что чем больше я с ним соглашался, тем туже он эту собственную петельку и затягивал. Моего умысла в этом не было, и то, что я преисполнился в его глазах и все возвышался, по-видимому, изводило его...

— Вот и ты меня предашь... — тихо и властно, будто склоняясь на вечере к Иуде, наконец произнес он.

Я ничего ему не ответил, во-первых, потому, что не мог, а во-вторых...

— Достаточно во-первых, — прервал он мое молчание. — Так сказал Наполеон.

Иуда, кажется, ведь тоже промолчал... И впрямь «Кавказ» весь был выпит. Здесь, из темноты, так ярко светился дверной проем, такое за ним было солнце, будто сразу за дверью было небо, а не улица. Звал этот проем. Искры сварки, казавшиеся такими слепящими, когда мы входили, теперь бледно рассыпались в солнечном свете. Рабочий так же молча посторонился, пропуская нас...

Там мы и оказались на солнечном свете. Чувствительность моя была как у фотопластинки, я пытался спрятаться в собственном рукаве, и не вполне мне это удавалось — я засвечивался по краям... Павел Петрович, опечаленный моим грядущим предательством, больше не говорил о будущем, даже ближайшем. Однако *куда-то* мы уже шли, взгляд милиционера останавливался на нас и, взвесив и оценив, пропускал до следующего. Он пропускал нас, как мы стакан, в том же неявном ритме. Тут я уже что-то плохо помню... Мы говорили теперь только о России. Самый неотступный, самый невспоминаемый разговор.

Но продвигались мы упорно. Бесспорно, по России. Кажется, опять нас где-то «очень ждали». Кажется, даже к нему домой. У него, оказывается, и дом был. И семья. И жена. Она нас тоже очень ждала. Но как это было далеко! За семью долами, за семью горами... На каждой из гор добывалась бутылка и в каждом долу распивалась...

Я обнаруживал себя то там, то тут и где-то, наверно, бывал между тут и там. Тут — был зеленеющий дворик меж хрущевских пятиэтажек, выстроенных в каре. Зеленеющий дворик с подростками за прошедшую так быстро историческую эпоху деревьями, но все еще не окончательно выросшими. Они торчали вокруг детской площадки с грибками, и песочницами, и ракетой в виде детской горки и оттого напоминали второгодников-переростков, кстати как раз возвращавшихся уже в наше время из школы — сбежали с последнего пения, — тоже выросших из школьной формы. В тени одной из таких школьниц с коленками, в тени юной тополихи, на доминошном столике, раздавив с игроками и снова сбежав и раздавив, играли мы в рулетку, сделанную из стирального таза, принадлежавшую некоему Жоржику... Там проиграл я, под ласковыми и нежаркими солнечными лучами, свои все еще остававшиеся пять рублей, а Павел Петрович отыграл их, достав со вздохом значенные от «собачьих» денег три... как говорил Павел Петрович, «три рубли». «Посылаем семь рублей на покупку кораблей, остальные три рубли...» — декламировал Павел Петрович, ставя сразу на красный и на нечет, и выигрывая и там и там, и тут же все вместе просяживая на зеро.

Проигрыш уводил нас в новую даль и приводил почему-то на базу спортторга, закрытую к тому же на переучет, но там-то нас как раз и впрямь «ждали». Павел Петрович и здесь был совсем свой и даже нужный человек. Ему обрадовались, на меня не обращали внимания. Стареющий плейбой заводил нас в свой кабинетик, где Павел Петрович разворачивал газетку, в которой было что-то вроде книжицы (она была с ним, выходит, весь наш

нелегкий путь — и он не забыл, не выронил и не потерял...). Книжица эта была не чем иным, как освеженной доской от Семиона с теми же Кириллом и Мефодием, что и вчера. Они ласково и трезво блестели теперь под японским календарем с голой японочкой, искусной позой скрывающей некоторую краткость ноги, зато не скрывавшей всего остального. Изысканно, даже с икрой накрыл нам щедрый плейбой на гимнастическом коне. Плейбой накрывал и уронил с неловкой поверхности коня хлеб, я покачнулся поднять, а он махнул рукой: пусть, — а Павел Петрович — тот трепетно поднял его, поцеловал и сказал: «Прости, хлебушек». Хотя был хлебушек — с икрой. И, усевшись на гряде матов, меж лыжами и рапирами, вдыхая дивный запах дерева и резины, пришли мы немножко в себя. Весело стало мне среди этих неуклюжих спортивных чудищ, дисциплинированно сработанных в неких выселенных за края нашего сознания артелях — слепыми, малолетними преступниками, престарелыми актерами и прочими отверженными кастами! Весело, и захотелось плакать. И плакал я, обнимая школьной памяти козла за прочную его ногу. И очень заботливо и тактично входил в мое положение добрый зав, и, утешенный, выходил я с Павлом Петровичем далее, откуда, как уверял он, нам было уже рукой подать.

Рукой подать нам стало в некоем одичавшем яблоневом саду, предварявшем самую отдаленную в городе новостройку. Рассыпанной пачкой рафинада искрились корпуса в лучах закатного солнца, подавляя остатки моего сознания чистотой и недоступностью всеобщей созидательной жизни. И сад, по которому мы уже шли, был необыкновенно красив и велик со своими редко и стройно, по-солдатски расставленными корявыми и приземистыми деревцами, в ветвях которых уцелевало по одному корявому, в точечках, яблоку, которыми мы и закусили. Здесь, в густой траве, меж деревьями, на красиво отлогом склоне, в виду того дома, где нас «очень ждали», был наш последний привал. Это была и впрямь долина, дол, отделявший предпоследний микрорайон от последнего. И сил у нас уже не оставалось. И мы были у цели. И какая-то оконченность, исполненная скорби и счастья, светилась в закатном воздухе, застоявшемся между яблонь. Здесь было преддверие рая, последняя черта раздумья перед тем, как — неизвестно что. Мы дошли до конца. Мы выпили, и сознание мое прояснилось как еще ни разу в жизни. Павел Петрович этого только и ждал, будто два дня сознательно и неуклонно вел именно в эту точку.

— Теперь я скажу то, что преждевременно было тебе говорить раньше... — сказал Павел Петрович со светлой грустью

во взоре. И он положил мне руку на плечо так, как, наверно, клали меч, посвящая в рыцари.

Я сознавал вполне высшую ответственность этого посвящения...

— Все было закончено к приходу человека, налажено и заведено, как часы. Человек пришел в *готовый* мир. Никакой эволюции после человека не было. Она продолжилась лишь в его собственном сознании, повторяла ее в постижении... Но человек перепутал постижение с обладанием, с принадлежностью себе! Мир был сотворен Художником для созерцания, и постижения, и любви человеком. Но для чего же «по образу и подобию?» — будучи несколько знакомым с людьми, никак этого не понять. И только так это можно понять, что — «по образу и подобию»: чтобы был тоже художник, способный оценить. Художник нуждался в другом художнике. Художник не может быть один. Еще больше был нужен Адам Творцу, чем Адаму Ева. Что такое Творение, что такое готовый этот мир? Лишь в художнике найдется если не ответ, то отклик, если не любовь, то жалость. Не то что Творение... — когда я вижу обыкновенную великую живопись, я плачу от жалости. Ибо за любым нашим восторгом таится чувство обреченности: продадим, предадим, распylim, растлим, растратим! Так нет же, и тут мы преувеличиваем себя. И до этой-то мысли дошли лишь индейцы племени яман...

— Как-как? — встрепенулся я. — Какие индейцы?

— Последний индеец племени яман, — печально и торжественно продолжил Павел Петрович, — умер в аргентинском городе Ушуая в тысяча девятьсот шестьдесят втором году. Родиной племени была Огненная Земля. В середине того века оно насчитывало три тысячи человек. У них не было никакой политической организации, слово старейшины было для них законом. То есть, с нашей точки зрения, они находились на крайне низкой ступени цивилизации. Даже ростом они были метра полтора. И жили себе в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Однако у них был весьма развитый язык, делившийся на множество диалектов, что особенно затрудняло работу этнографа. Так что ничего от них не осталось. Ни слова, не то что диалекта. Только оказалось, что перед смертью последнего ямана доктор из больницы, в которой тот помирал, записал-таки его на магнитофон. Яман был без сознания и говорил безостановочно, торопился нечто поведать. История с этой пленкой — целый детектив. Она пропала. Потом была найдена чудом, уже в Австралии. Но не в этом дело. Когда ее расшифровали, там вместе с эпизодами истории великого пле-

мени оказался изложенным и примечательный миф о Творении, впервые, по-моему, трактующий Творца нашего как художника. Когда великий бог, кажется Никибуматва, что в переводе означает «пасущий облака», взялся воссоздавать картину жизни, в его дело сразу вмешался его тень-дьявол, кажется Эсчегуки, в переводе означающий «сырое имя бесследного существа». Никибуматва умел творить форму, а Эсчегуки его ревновал и ни в чем старался ему не уступать, но он не умел творить форму и очень боялся это обнаружить. Присматриваясь к тому, как творит форму Никибуматва, Эсчегуки пробовал повторить, но у него и повторить-то получалось уродливо и коряво. Тогда он начал делать вид, что смеется над Никибуматвой и нарочно делает так уродливо, чтобы показать ему, как нелепо все, за что только ни возьмется великий Бог. Никибуматва, будучи истинно велик, не обращал на него внимания, хотя тот ему и досаждал как только мог. Никибуматва сотворил, скажем, форму рыбы и сделал многих рыб, пока не дошел до совершенного дельфина; Эсчегуки, подсмотрев за его работой и бездарно повторяя, к изуродованной форме прибавлял еще обломки других несовместимых существ, тоже совершенно созданных Никибуматвой, и наконец, выдохшись, получал крокодила. Великий бог создавал певчую птицу — Эсчегуки летучую мышь. Никибуматва — бабочку, Эсчегуки — грязную муху. Никибуматва успевал сделать десять прекрасных животных — Эсчегуки их всех уродовал и склеивал ядовитой слюной одного. Но, несмотря на завистливость и бездарность, и Эсчегуки многому научился, потому что втайне вовсе не насмехаться, а сравняться хотел с Никибуматвой. И вот когда великий Бог сделал благородного волка, Эсчегуки старался особенно долго, но у него получился шакал. И отчаялся Эсчегуки, и разгневался Эсчегуки, и сообразил он жуткую шутку — стал лепить существо наподобие великого Никибуматвы, и получилась у него — обезьяна. Все терпел великий Бог, чтобы только не отвлекаться от великой работы, но этого не стерпел. Но так как он не мог вмешиваться в чужое, пусть и уродливое, творчество и так как он не мог помешать жить тому, что уже живо, он и не уничтожил крокодилов, летучих мышей и шакалов и не поправлял их, раз уж они есть, — так и обезьяну, карикатуру на себя, не стал он никак исправлять, а только брызнул на нее слезой своей досады и капелькой своего пота, на секунду отвлекшись от работы и смахнув слезу и пот усталой рукой. И обожгли обезьяну обе капли, попав ей прямо в глаза, и стало с обезьяной что-то твориться, что она сама стала меняться на глазах у ее создателя Эсчегуки, во всем стараясь подражать и походить на Никибуматву; и изменилась она, став

человеком, и создали его слеза и пот великого Бога, и оттого уделом человека стали любовь и труд: любовь видит форму, а труд ее создает. Но оттого же и человек оказался «по образу» лишь и «подобию», потому что вовсе не собирался великий Бог копировать самого себя, ибо он был настоящий творец, не то что бездарный пародист и карикатурист Эсчегуки. Оттого человек и двойствен по сию пору, что создан он дьяволом, а одушевлен Богом. И мог бы он стать во всем подобен Богу, да мешает ему дьявольская природа, с которой он борется, но не побеждает, потому что плоть его от дьявола, а дух от Бога.

Павел Петрович торжественно умолк, налил в стакан, но так и не выпил и мне не предложил, а снова надолго задумался, как великий Никибуматва, я же молчал, как воодушевленная им обезьяна, у его подножия, глядя на него снизу вверх с обожанием. Тут-то он залпом стакан и осушил.

— И знаешь, что я понял благодаря этому мифу? — сказал он, теперь наполнив и передав стакан мне (он у нас, забыл сказать, был один). — Понял я наконец первую фразу в Библии...

— «В начале было Слово»? — подхватил я.

— Все-то ты знаешь... «Земля же была безвидна и пуста...» А ты так и думаешь, что — слово. Тогда вы, пишущие, первые люди, не так ли?

Уличенный, я скромно потупился.

— «Слово» в оригинале — логос, знание, и я тебе уже это толковывал, но ты еще не смел понять... В начале мира было знание о мире, то есть образ мира. Что и есть по любой системе эстетики основа творчества. Так что уподобление Творца художнику не так уж и метафорично, как — точно. До мира существовал его образ, а раз есть образ, художник способен его воссоздать. Значит, образ старше Творения во всех случаях, что и подтвердит любой художник на практике. «Слово было Бог...» Не так ли? Так кто же тогда заказчик, а?

Я не знал.

— Почему моцартовский черный человек так и не пришел за своим заказом? Только потому, что заказ был выполнен... Величие замысла есть величие изначальной ошибки. Замысел всегда таит в основе своей *допущение*, то, чего не может быть. Это и есть жизнь. И жизнь есть допущение. Она заказчик, она изначальна, потому что только жизни — совсем уж быть не могло. Не только в Творении, в любом обычном великом произведении найдешь ты эту ошибку... Что неверно в «Преступлении и наказании»? Что Раскольников убил старуху. Лизавету, вторую, он мог убить, но первого убийства совершить не мог — он не такой. Но был ли бы роман, если бы он был «по

правде», без убийства старухи? Не было бы и романа. От неправого допущения, лежащего в основе, расплзаются по всему созданию по мере исполнения бесконечно выправляемые неточности. Этот труд уточнения и исправления и создает произведение. Воплотить образ или слово значит не только его воссоздать, но и *подделать* под замысел. Страдания гения неизмеримы от этой борьбы с изначальным допущением, но тот и гений, кто много *допустил*. Без этой первородной лжи замысла ничего бы и не было; только мертвая материя точна. И вот чтобы была *жизнь*, надо было допустить неточность и в точном — в самой мертвой материи. Вода! — вот что изобличает в Творении Творца, в Творце — художника. Как там она расширяется и сжимается, кипит и замерзает единственным и противоречивейшим способом из всех жидкостей? Ты, специалист по кроссвордам, должен лучше меня знать... Из воды и вышла жизнь, что всем известно. Так вот не жизнь изумительна, а — вода! Она есть подвиг Творца, преступившего гармонию во имя жизни. Не нам себе представлять, чего это ему стоило. Вот что он воистину создал! Воду... От ее капли до нас с тобой меньшее расстояние, чем от неживой материи до воды. Эволюция — это всего лишь роман с неизбежной развязкой; возможно, мы и закроем всю книгу... Поправки, вписки, вычеркнутые места... Есть, впрочем, еще одна принципиальная вставка: нефть! Тоже никто не объяснил толком, почему нефть, как и зачем. А вдруг, создав жизнь, в неизбежности поправок и дополнений он сам нам ее запас, в наше продолжение и будущее... Будто и впрямь куда-то мы должны залететь в нашем будущем. Но не нравится мне. Куда этому допущению до величия первой воды!

Что-то и впрямь плескало во мне и вокруг, как прибой... Серебристая гладь, и дома всплыли... Запахло вдруг морем, как родиной...

— Младенец... — лепетал Павел Петрович, уже тоже прозрачный, растворившийся в смыкающемся вокруг океане. — О, если бы я смог — младенца!.. Его еще никто не нарисовал. Потому что он не человек, не зверь, не Бог... А может, и Бог... У него лицо — как великая вода, всегда течет, ничего нашего не значит. Видел ли ты истинный пейзаж? Взгляни в его лицо! — ослепнешь. Пейзаж этот проступает в лице матери, ждущей его, носящей его под сердцем... Там, вглядываясь, еще что-то могли бы мы понять, кабы могли... Но нет, Творение нам недоступно, только — страсти...

Последний стакан несколько раз перевернулся во мне от неподъемности этой мысли, и я нырнул серенькой темной мышкой в мелькнувшую передо мной глубину...

Проснулся я как от толчка в голой кухоньке панельного дома. Следы строительных недоделок возвещали о его новизне. Покоился я на раскладушке, завернутый в одеяльце, и туфли с меня были заботливо сняты. У изголовья стояла бутылка пива и лежала рядом с ней открывалка. Отвратительна показалась мне эта забота... О бутылку я и запнулся, встав в носках на линолеум, встав, как колосс на свои глиняные ноги, и шатаюсь, как колос. Подошел к розовеющему окну, чтобы понять, где я и что это за странный живой шум за окном. Я был очень высоко. В сторону от окна простирались бескрайние просторы, уже не городские, а российские. Лес тянулся до горизонта, лишь вблизи дома, за пустующим в этот час шоссе сменяясь молодым густым подлеском. И вот, раздвигая сильной грудью этот подлесок, отчего и происходил дивный шорох, пробудивший меня, мчался в сторону почему-то не леса, а дома чем-то вспугнутый и обезумевший лось. Не такой уж я знаток, не охотник, но был он явно молод, хотя и достиг вполне взрослого размера. Он мчался, раздвигая лесок, как траву, и безумие его взгляда было видно даже с многоэтажной высоты... или мощные его ноги так шли вразнотык и наобум, что казалось, что он ничего не видит перед собой? Над лесным горизонтом краснело солнце ровно на том уровне, как вчера, когда я больше уже ничего не помнил... Тот же ли это был закат, новый ли восход, следующий ли закат?.. На запад я смотрю или на восток?.. Но сада яблоневого передо мной не было, и можно было предположить, что я смотрю в противоположную все-таки сторону, если вспомнить, что окончательный дом, где нас «очень ждали», был тогда в саду перед нами... Тогда получается — восход! Особым, неизъяснимым перламутром еще лишь начинало вспыхивать, подернутое, это прекрасное ВСЁ... Значит, я в доме Павла Петровича! Ужас, который нельзя объяснить похмельем, охватил меня. Лось промчался на меня и скрылся из глаз моих. Я отлепил лоб от стекла и бесшумно, в носочках, последовал на рекогносцировку.

Квартира была однокомнатная. Тихо приотворив дверь, я застал комнату, столь же, как и кухня, пустую. Только стены были увешаны бесконечным количеством пейзажей. Подойдя поближе к одному из них, я не без изумления признал в нем тот самый, с которого все и началось. И на соседнем. И на еще соседнем... На всех полотнах был один и тот же пейзаж. Облещали листья, закатывалось и восходило солнце, покрывал все снег, набегали тучи, и лил дождь, и даже в ночном мраке с одинокой звездой угадывались его черты... Все тот же пейзаж, все из той же точки. При всем сочувствии не мог бы я назвать все это сносной живописью, или, что тоже возможно, я ничего

не понимал. Но ничего от духа Павла Петровича, два дня трепавшего мою утлую лодочку по своим валам, я в этих картинах не увидел. Но особенно в двух неудачных — непонятная размытая тень, серое расплывчатое пятно неоправданно висело как раз над той точкой, из которой он этот пейзаж писал... Нос! — наконец догадался я. Нос это был. Тот самый, про который он мне объяснял, насколько он в пейзаже не нужен. Осмотрев, я повернулся выйти из комнаты и тут, чуть не вскрикнув, увидел Павла Петровича...

В углу за дверью прямо на полу простирался широкий матрас; около него на коленях — Павел Петрович, осторожно уронив на краешек матраса свою голову, а на самом матрасе — я сразу не понял что... что-то непомерно большое и круглое было прикрыто простыней. И там, вдали, в углу, у самой стенки, за дюной простыни, разглядел я женское лицо. Позы обоих были настолько безжизненны, что ужас обуял меня, и те самые только в литературе встречающиеся волосы зашевелились, как черви, на моей пропитой голове. Комар сидел на ее лбу, его вздущееся брюшко отдельно алело, по чему можно судить было, что рассвело окончательно. Мог ли комар сосать мертвую? Еще теплую?.. И тут я разглядел и бьющуюся на виске жилку, а затем и мерно задышала гора под простыней, и Павел Петрович чуть слышно посапывал... Непомерное ощущение счастья переполнило меня. Я глядел и глядел на это безбрежное беременное лицо, пейзаж степной и вольный, в котором нас уже нет, древний, как курган, и юный; как полевой цвет... И успокоенное и мяконькое личико Павла Петровича... И на обоих следы слез прошедшего ночью быстрого грозового ливня... Тихо, на цыпочках, вышел я из квартиры, дверь была открыта, и замок болтался на последнем винте бесполезный... и никого еще не было на улице, лишь с чьей-то лоджии прокричал петух, и, чуть подумав, ответил ему другой... Тут только я заметил, что я в носках, но за туфлями решительно не вернулся, а направился в сторону предполагаемой трассы ловить машину и ехать туда, где меня ждало свое объяснение.

Я мог бы отыскать по памяти дом Павла Петровича или, еще точнее, мог назначить ему свидание в точке его пейзажа... Непобедимый страх сковывал меня каждый раз при одной мысли об этом. Даже в милицию вернуться (книга у меня уже была) я не так опасался, хотя тоже так и не пошел. Так что памятный ключ от храма по-прежнему там, и я в него по-прежнему не вхож. Прошло немало лет, многое произошло. То ли

я ушел из дома, то ли от меня ушла жена, но и не вернула невеста. И хотя Павла Петровича я больше не встречал, но все сказанное им в те кромешные дни, когда я провалился в его люк, хотя и напрочь забытое, видно, ушло на самое дно, или, как теперь говорят, залегло в подсознании, и время от времени, а главное, ни с того ни с сего всплывает на поверхность в виде потрясающих, прежде всего самого меня, озарений; некоторое недолгое время, сокрушенный и возвеличенный мыслью, кажущейся мне самому моей, «получаю я награду свою», самодовольствуя, но тут же и выгребая всю награду, внезапно поняв, что и она не моя, моя мысль, а тогдашняя, Павлопетровичева... и тогда — то огурец, как крокодил, всплывет в моем мозгу, то завертится азартный стиральный таз, то забьет копытом гимнастический конь, то пузо Фудзиямой застит взор, то вспыхнет в мозгу электросварка, то нос Павла Петровича вспомнится на фоне... Времена года бегут, как на его пейзаже, означая мои годы, мысль прикипает к мысли, и пусть и не моя, но я ее уже вторично не забываю... На Сезанна с тех пор не могу спокойно смотреть — все боюсь, что не понимаю его до конца... И, натываясь на чье-нибудь великолепное откровение — непременно о судьбе, непременно о Боге, душе или родине, — пугаюсь тут же, как восхищаюсь, потому что Павел Петрович, кабы я мог его вполне воспроизвести, говорил совсем не хуже, а чуть ли и не лучше почти то же, что и наши пророки, — мне вот самому так и говорил.

Да... сказано было... Но кто и кому все это говорил? В истинности чего кто убеждал и кто убеждался? *Когда и где?* И что произошло? Что произошло из всего этого сказанного? Где витали, куда залетели и где проползаем? Прорывая слои и за края вываливаясь? Углубим наш взлет еще более глубоким падением! По законам соотношения верха и низа, реально их к реальности прикладывая, меняя внешнее на внутреннее и обратно, не меняя жизненного пространства и ничего не поделав в нем и с ним, ничего не произведя... меняя внешнее на внутреннее и внутреннее на внешнее, как на базаре вещь на вещь... чтобы женщина стала мужчиной, мертвое живым, мужчина женщиной и живое мертвым... и каковы наш навар и корысть на этом духовном рынке? Столько раз взлетая и падая, столько раз вывернувшись наизнанку или уйдя в раковину, где мы очнулись наутро и с кем? Кем мы проснулись — вот еще вопрос. И кто проснулся?? Странная эта ошупь самого себя — кто это? Вот я до сих пор... с моею даже мне иногда кажущейся пригодностью... другие же, будто сговорились, так в ней убеждены... меня приглашали, потеснялись, звали к себе... звали как

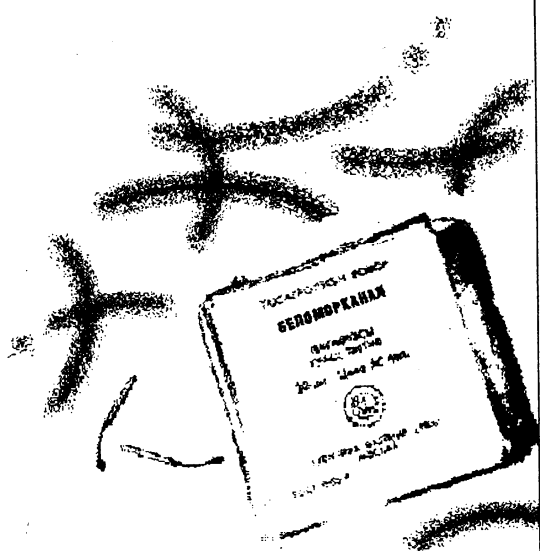
своего, как такого же, как не хуже, как даже лучше... звали в люди, звали в народ, звали в народы, в семью... я старался, я подходил, я нравился... Когда это кончалось? В какую черту я упирался, каждый раз ее не перейдя? Кто очертил меня этим магическим кругом?.. Я упирался в невидимую черту, за которой кончалось знакомство и начиналась жизнь: обыденность, нагрузка и разочарование. Я никому не был обязан каждый раз: не просил, сами позвали, не очень-то и хотелось, на себя посмотрите... И входил, улыбаясь и скромничая, в следующее чужое существование как в свое. Поэты, женщины, армяне, литературоведы, иностранцы, крестьяне, нувориши и бывшие, классики и модернисты, монахи и заключенные, поколения целые отцов (оно же детей) — все подвигались и чуть ли не уступали место... Я усаживался как на свое, как на пустое, как на никем не занятое, как на никому не нужное... и только родственник человек не подвигался, а требовал разделить с ним вовсе не жизнь, а пол-литра для начала, не подвигался, узнавая не то во мне, не то в себе такого же, на всякий случай подозревая меня в более спорной реакции предательства.

Еще недавно всего было хоть... ешь. Земли, воды, воздуха. Казалось бы. Ан нет. Почти нету. Осталось чуть поднатужиться — и уже нет. Но это еще что — грабеж среды обитания. Золото и драгоценные камни по-прежнему в карманах, хоть и чужих. Проигранная в карты деревня не исчезала. Закон хоть как-то на страже твердой материи. С материей попрозрачней куда хуже. Куда утекла вода и испарился воздух? А ведь есть вещи еще потоньше и попрозрачнее, чем вода, побесплотнее, чем воздух... Дух! Какой еще никем не ловленный разбой кипит на его этажах! Идеи крушатся по черепам как неживые, как ничьи. Никто за руку (за голову) никого не схватил. Не поймали никого на слове...

Где он? Надеюсь, что жив. А впрочем, уверен. Я же вот сижу... и даже... Чем восхитительна жизнь?! Тем, что она и впрямь — жизнь. Ее — не представишь. И если кому-нибудь эти мои воспоминания могут показаться в чем-то неправдоподобными, то пусть и впрямь что-то в моей памяти сгустилось, а что-то выпало... Куда неправдоподобнее описанного выше просто вот это утро живой и вечной жизни, которое я пишу прямо с природы, утро, на будущее существования которого у меня бы не хватило никакого воображения всего неделю назад... Мог ли я еще месяц назад, опасаясь смертного своего часа, представить себе, что и он минует и что я не сплю, не пью, не ем мяса, не знаю женщин, — пишу вот, и рука не подыметя у меня перекреститься, как подымалась в неизбывном грехе? Мог ли

бы я вообразить себя именно на этой вот кухне, которой раньше никогда не видел, на кухне, куда я удалился на ночь, чтобы не грохотал под моей машинкой гостеприимный дом и не будил хозяев, после многотрудных крестьянских трудов и очередных родственных похорон наконец уснувших? Разве мог я знать, что на кухне, где я сижу, кроме меня два цыпленка, большой и маленький, — все передохли, остались только эти двое от двух последних выводков, но и на кухне им холодно, и маленький все пытается подлезть под большого, хотя на самом деле тоже не большого, но большой его прогоняет, и тогда, проснувшись, начинают они цокать гуськом по цементному полу, пока наконец не додумаются до того, до чего я бы ни в жизнь не додумался: усесться у меня на ногу как на самом теплом в кухне месте, и хотя я строчу как пулемет, приближаясь к заветному концу, они попискивают пугливо от этого стука, но не сходят с ноги, попискивают, но терпят, и кто мне сейчас скажет, что я не жив, если на мне, живом, согреваются цыплята, и мы все втроем сейчас живы, живы и выживаем, борясь пусть с разным, но все — с холодом? Никто бы, ни тем более я, не предположил такого еще вчера, но кто-то знал... как я вот знаю сейчас, когда за окном начинает сереть и проявляется из мрака белая стена дома и дивный английский (абхазский) газон (агазон), ковровый двор, — знаю точно, что сейчас выбегут на эту восхитительную поляну куры и индюшка с бездной индюшат, и просунет ко мне в дверь свою морду телка Мани-Мани (Money-Money) и будет смотреть на меня, здесь неожиданного, как на картине «Поклонение волхвов», и ее прогонит мама Нателла и начнет ставить в духовку хачапури как раз в тот момент, когда я кончаю эту повесть 23 августа 1983 года с цыпленком на правой ноге

ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН



Ты выпил!.. без меня?

Моцарт и Сальери

I. КОНЬ

... с цыпленком на правой ноге

И не успел я поставить точку...

Как *он* стряхнул цыпленка с ноги и, прежде чем я успел о чем-либо таком подумать, уже достал ни разу еще не ношенные мною белые джинсы и впрыгнул в них так стремительно и дерзко — никогда бы не подумал, что такое возможно — именно *впрыгнул*, сразу обеими нижними конечностями; не сначала одну ногу, потом другую, неловко танцую и теряя равновесие в спешке, а сразу — обеими, и молнией — вжик! — и они пришились ему как влитые, даже чересчур, тесня и поджимая снизу столь долго не востребованное мужское хозяйство, и были разве несколько длинноваты...

В конце концов, я не возражал. Я достаточно томил и мучил *его*, давая лишь немного есть и долго спать, раз в день выгуливая к морю и купая; не позволял *ему* ни капли алкоголя, ни даже помыслить о прекрасной половине... Я не позволял *ему* также слишком долго гладить всяких там местных деток, щенят и поросят, чтобы не дать развиться подозреваемой мною в *нем* склонности к педофилии. И так целый месяц!

Так можно было выдержать, лишь только сразу *поставив* себя. Как только мы появились в Тамыше и нас приветствовало население, степенно и нетерпеливо стекаясь из близлежащих дворов и целуя нам плечи в естественном ожидании освященного обычаям пира, я тут же заявил, что нет, я пишу — *мы* не пьем, чем поверг, надо сказать... и если бы не предстоявшие сегодня же на другом краю села поминки, не знаю, чем бы еще это кончилось. Во всяком случае, Аслан, наш сосед, впоследствии уверял меня, что могло добром и не кончиться, если бы за нами не стояли *такие* люди, как Алеша и Бадз.

Но и на следующий, и на еще следующий день мужественные и небритые лица односельчан, казалось, застряли со вчерашнего меж кольями нашей ограды. Их терпеливо-приветливый взгляд выражал уверенность, что сегодня уж мы

передумаем... но — нет, нет! мы работаем, — беззастенчиво заявлял я. Хотя о какой работе могла идти речь, когда он у меня впал в такое уныние от всей этой силы воли! Я скрывался в доме, как узник, стыдясь честности их взгляда на меня. Всем селом, всем миром они жалели его.

Через день, буквально на пять минут, проверял мое состояние Аслан. Этот в высшей степени достойный молодой человек рано остался без отца, и теперь на нем лежало все хозяйство, и мать, и сестры. Ранняя зрелость была его отличительной, пожалуй, чертой. Мальчишеский непобедимый румянец пробивал уже рыцарские его черты. Он что-нибудь рассказывал о своих заботах, ненавязчиво предлагая зайти к нему попробовать чачу, которую он как раз только что выгнал, или косячок дряни из как раз полученной им новой партии. Кажется, получалась, кажется, хорошей... Он не настаивал.

Наверное, Аслан ходил к нему, а не ко мне.

Однажды он пришел сверх обычного возбужденный и бледный и, обращаясь уже как бы только ко мне, попросил меня, столь уважаемого человека, присмотреть за его младшим братом, который в последнее время стал внушать ему некоторые беспокойства, в знак чего он с опасением понюхал свои руки. Я кое-что уже слышал от Аслана о брате, но, мне казалось, о старшем: тот был силач и богач, держал ларьки в Гаграх, и Аслан им, видимо, гордился, как бы мечтая со временем на него походить, — но как бы я мог следить за ним отсюда, за сотню километров?..

Дело в том, сказал он, что он мечтал для брата о другой судьбе, никак не похожей на свою. Что было делать, они рано осиротели, все деньги ушли на похороны, на старшего легла вся ответственность, и ему пришлось идти на дело (и он снова понюхал руки)... сейчас ему удалось обмолотить вагон, и теперь надо скрыться, у него есть надежное пристанище, где не найдут. Важно, чтобы младший не пошел по той же дорожке, потому что незрел еще, романтик, мало ли что в голову взбредет. Он знал, что тот ходит с финкой, но он трогал и его шестизарядный!.. Может, он и с ним ходил!

Я подумал, что Аслан накурился и морочит меня, но, оказывается, никакой тайны тут не было: это был не Аслан. Это был старший на четверть часа брат Аслана — Астамур, не столько владевший сейчас цехом, за которым присматривали надежные люди, сколько сидевший в данный момент в тюрьме. Воспользовавшись необыкновенным сходством, он обменялся в момент свидания с Асланом, чтобы сходить на дело. Все

получилось очень удачно: сторож не убит, а только ранен, — но сейчас Астамуру надо уже очень торопиться, чтобы выпустить из камеры Аслана до смены караула, более надежного на менее надежный. Руки же у него отдавали керосином потому, что он только что зарыл свой «ТТ» в огороде, в ухоженную грядку с оружием, а ее приходится поливать керосином, чтобы не ржавело. Так он и обнаружил, занимаясь непривычным огородничеством, что Аслан роется в грядке тоже, а он так мечтал, чтобы Аслан поступил в сельхозинститут и остался настоящим крестьянином, и он так надеется теперь на меня...

И Астамур (если это был не Аслан) убежал в надежное пристанище, где его никто не станет искать — «домой», во тьму и в тюрьму.

Тюрьма же находилась неподалеку, буквально километрах в двадцати, рядом с редчайшим на территории нашей страны христианским храмом, построенным «другом абхазского народа» императором Юстинианом в романском, естественно, стиле, VI или VII век, последние шестьдесят лет, конечно, не действовавшим. Рассказать о нем у нас еще будет печальный повод...

Аслан появился на следующий день, по-видимому не догадываясь еще о нашем разговоре с его братом. Он был сильно возбужден и оттого еще более румян. Аслан напрямик предложил мне идти с ним на дело. Дело горит, а Миллион Помидоров в последний момент соскочил, а Сенёк (это был летовавший в селе бич) не годится, забухал на кладбище с безутешными. Про великого человека по кликухе Миллион Помидоров потом, и про Сенька — потом, а сейчас мне было никак не справиться не только с Асланом, но и с *ним*, поскольку *он*, до того дремавший, тут же очнулся, встрепенулся и стал в это, не свое, дело рваться. Мне с трудом удалось расстроить их немедленное взаимопонимание, и если бы не разговор с Астамуром накануне — не знаю, как бы я удержал их обоих.

Прочтя размеренную нотацию, от которой сам чуть не уснул, я решил, что уже поздно до купания садиться за работу, и направился к морю. Я все еще с трудом удерживал *его*, продолжавшего рваться от меня к Аслану в немедленной жажде идти на дело, молотить вагоны. Я позволил *ему* даже больше обычного поглядеть на супружескую пару свиней, всегда трахавшихся в этот час у забора двора Зантариев-пятых. В нашей деревне, надо сказать, все были Зантария или Ануа и лишь чуть-чуть Гадлия. Зрение деловитой любви свиней, к которым *он* всегда питал не объяснимую мною симпатию, не только отвлекло *его*, но, на мой взгляд, и чересчур увлекло, и я повлек

его дальше, пытаюсь отвлечь более умеренными и возвышенными картинами, возникавшими на нашем пути в разрывах листвы и синевы изо дня в день, в определенную минуту и час, как заведенные, не уставая и радуясь повторению, как дети: ровно в четверть пятого начинало щебетать гигантское тутовое дерево во дворе Гадлия — птицы объявляли закат, хотя солнце еще палило вовсю, но, по их сведениям, уже клонилось к. Ровно в половине пятого во двор Зантариев-тринадцатых возвращалась отбившаяся от стада, соскучившаяся по дому корова и, надыбав знакомую ей прореху в изгороди, проросшей колючим кустарником асапарели, о которой у нас тоже будет еще повод рассказать (на этот раз веселый), проникала в кукурузное поле, где ее к этому часу уже поджидала хозяйка... однако корова успевала прихватить два-три початка, не обращая ровно никакого внимания на побои, и еще — четвертый и пятый, пока хозяйка подбирала замену сломившейся палке. И ровно без четверти пять выходила в последнем дворе чистенькая старушка в трауре, неся на вытянутых сухих веточках рук прикрытое полотенцем хачапури, чтобы поставить его в уже успевшую прогореть к этому часу печку, стоявшую на краю газона. Почему печь на газоне?.. На фасаде была тщательно закреплена большая стеклянная вывеска, как на учреждении, изготовленная, по-видимому, по спецзаказу в столице Сухуми, в мастерской одного из Зантариев, промышлявшего вывесками для банков, школ и НИИ.

1880-1983

было начертано на вывеске без имени, потому что плата производилась побуквенно, а все здесь и так знали, кто умер, а родился-то тот, про кого здесь никто не знал, кто сказал: «Все чаще вижу смерть и улыбаюсь...» Умершая была свекровью той старушки, что как раз вставляла в этот момент лист хачапури в печь. Сколько же было тогда лет живой старушке? На вид не менее семидесяти пяти, но и не более ста пятидесяти. Проходя — в который раз! — не уставали и *он* и я представлять себе стотрехлетнего Александра Александровича Блока, нашего больше поэзии в том, чтобы ожидать смертного часа, подремывая на солнышке, чем в бессмертной поэме «Двенадцать»... А там уже, за ровесницей Блока, кончались дворы и открывалось море, отделенное от деревни топкой черной полосой грязи, в которой с удовольствием лежал черный же буйвол...

Мы входили на пляж, и *он* ни за что не хотел лезть в воду, а потом — так же упорно — не хотел вылезать, зная, что после купания — всё, начиналась работа. В ней мы вдосталь занимались тем, что *ему* категорически запрещалось: поддавали с Павлом Петровичем.

Поэтому не мог я слишком уж осуждать *его* за то, что *он* без спросу напялил мои штаны и рванул напрямую, через кладбище, где под утро еще допивали на одной из могил безутешные друзья покойного, чтобы, правильно и четко сообразив это, успеть хватить с ними за упокой стаканчик и еще один до открытия магазина. Но тут жены стали выгонять коров и загонять домой хозяев, и мы с *ним* как раз подоспели к первому автобусу в Сухум.

Он сидел в моих новеньких, в обтяжку белых джинсах нетерпеливо, на переднем сиденье как на коне, казалось, подгоняя автобус, но автобус, поскольку первый, подолгу повсюду стоял, поджидая постоянных своих клиентов с похрюкивающими мешками, и даже на то, что клиент сегодня не поедет, потому что *его* обещал прихватить Валико, друг зятя Зантария-семнадцатого, на своей машине, — на это тоже уходило не меньше времени, чем если бы клиент сел и поехал, тем более что *он*, возможно, все-таки передумал ехать с Валико и грузил-таки в наш автобус свои хрюкающие початки.

И пока *он* у меня ерзал и нервничал, я, еще по инерции ночного вдохновения, кое-что отмечал боковым, поплывшим от двух стаканчиков зрением мирные, рассветные, непыльные картины: у природы нет похмелья... Но кто-то прилег на обочине так вольно, так расслабленно, на совсем холодном еще солнышке: красная рубаша, спутанные, показавшиеся почему-то такими русскими, и впрямь русые, кудри... что-то русское было и в позе. Автобус наконец отошел, и я почему-то забеспокоился об этом человеке. Что с ним?.. Никогда не узнаю уже — еду. А *он* — там. Остался сзади. Похож на Сенька, нашего бича, кормившегося по дворам, помогая убирать кукурузу... *Он* и у нас во дворе работал, молчаливый, костистый, всегда ласково улыбающийся закатной, западающей улыбкой. Нет, все-таки это был не Сенёк... Да и был ли там вообще кто? В конце концов, *он* лишь мелькнул кровавым пятнышком на обочине — автобус уже отходил, не успел я толком рассмотреть. Однако по мере удаления тревога все росла, будто натягивая ту единственную нить, которая еще связывает с жизнью... Можно, можно было

еще успеть остановить автобус, побежать назад, помочь, даже спасти... Ужас никем не отмеченного происшествия был странно знаком, странно сравним с неизъяснимым восторгом приближающегося вдохновения — строка еще не писанного никем стихотворения выплывала из слезного тумана, увлажнялись глаза:

Все чаще вижу смерть и улыбаюсь, —

но тут автобус еще раз открыл и закрыл двери, а я так и не вышел, боковым слухом прислушиваясь к обрывкам странного разговора о каких-то абазях, а не абхазах... Опять абазы, абазинны... не пойму.

А он все ерзал и ерзал в нетерпении, проклиная каждую остановку, хотя уже точно прислушивался к разговору, постепенно начинавшему его интриговать. Кровь вскипала в нем, когда в смеси абхазского и русского уловил он нить: некие ненавистные рассказчику абузины опять напали на село и разорили посевы... Он всегда любил дымок спаленной жнивы. Ноздри его раздувались. Что ж, эта земля еще недавно все это помнила: набеги, пожары, кривые сабли, сведенные табуны, плененные девы...

«Абузины, я их маму!.. Я их всех перестреляю!» — слышал я.

...а он все ерзал и ерзал в нетерпении, не шадя моих брюк.

Всякая деталь вытесняет другую деталь. Подробность удаётся сообщить, лишь опустив другую подробность. Непоправимо жаль! Наверно, всю литературу можно было бы описать как эдакую борьбу деталей за существование. В этой битве на бумажных мечях давно погибли носители локонов и кудрей, лебединых шей и осиных талий, панталон и кринолинов — ни портрета, ни одежды, — современный герой не только *безлик*, но и раздет и разут. Не только без черт, но и без штанов. Вырублен и пейзаж.

Так ведь это же правда! Не только герой, не только это сомнительное «я» повествователя, но и сам автор (не в смысле этих строк, а в смысле — человек!) в момент повествования (не в смысле непосредственного написания, а в смысле — самого бытия) обнаруживает себя без этой детали. Деталь — это еще и собственность! Ее *приобрести* надо. Существование в переходной стадии от капитализма к коммунизму упирается в это последнее обстоятельство. Штаны есть, безусловно, наи-

последнейший вид собственности, поэтому «отдельно взятую страну» лучше было Владимиру Ильичу поискать где-нибудь в Африке. Россия не Африка, но собирался я все-таки на юг, в наши черноморские субтропики (имперское хвастовство климатическими зонами), а штанов у меня к сорока пяти годам (двадцатипятилетие творческой деятельности) не было. Это отнюдь не значит, что я их пропил. Это, кстати, не так легко и сделать. В старые добрые времена пропивали последнюю рубашку, «до креста», то есть и крест считался как бы одеждой, иногда и крест пропивался (помнится, князю Мышкину пытались всучить медный за серебряный...), но в наши времена то ли рубашка стала реже штанов, но пропиваться стали именно последние штаны, а не рубашка. Думаю, что выражение это скорее образное (образ последних штанов в русской литературе...). Образ последних штанов достаточно неэстетичен, чтобы пытаться их продать (что я, кстати, и пытаюсь сделать...), не говоря о том, чтобы их купить (кстати, купят...) — выражение это скорее образное, как и выражение «у меня нет выбора», употребляемое всегда, когда выбирают как раз не из одного, а из двух, когда выбор как раз есть. Так что штаны на мне были — у меня южных штанов не было. Хотя стояла уже осень, но там должно было быть тепло, бархатный сезон, на юге меня давно не было, ожидание юга было преувеличенным. И вот белые брюки подарила мне прекрасная дама, неохотно меня на юг снаряжая. Что было тут обидно для моего мужского самолюбия, что ноги у нее оказались длиннее (а у меня, выходит, коротковаты), что подтверждало, что, живи она в других условиях (имелись в виду, скорее всего, Соединенные Штаты), она могла бы застраховать их, как Марлен Дитрих. Но «молния» была на месте, и я счел, что они мне как раз. Я бы мог здесь еще много рассказывать о даме («Ты еще пожалеешь», — сказала она мне на прощание, что я здесь и делаю), но на этом кончаю стриптиз, сняв последние штаны в русской литературе.

Или — надев. Штаны, кстати, были настоящие, хоть и белые. То есть джинсы. То есть фирмы Lee. Значком этой фирмы, крошечным, величиной с номерок для прачечной, а не этой вульгарной кобылой во всю задницу, я особенно гордился (кто разбирается, тот оценит...). Правда, чересчур белые... Мастерство писателя, как нас учили в школе, сказывается прежде всего в отборе деталей. Пойди скажи, нужны ли здесь эти брюки?

Но мне-то они были нужны!

Я их вижу.

И вижу я их на нем.

Он лишил их девственности.

На заднице у него уже расплылось красное пятно от раздавленной им в автобусе тутовой ягоды (то-то он так нетерпеливо ерзал!..), но он его никак не видит (и не скоро еще увидит), а видит он «там море Черное, песок и пляж...» — ничего, кроме пальм, он не видит — ему достаточно для Рио-де-Жанейро — он стоит на ступеньках парадняка, под таким, дореволюционным еще, изящным козырьком, на тихой, не проснувшейся еще улочке столичного города Сухума, где пыль еще ленива в тени, и, «острый локоть отведя», победно дует в зеленую бутылку, а на самом деле — ИЗ нее, и бутылка сама не зеленая, а зеленая в ней жидкость (никогда прежде не видел такой...); он и сам впервые такую пьет: он ни разу еще не встречал такой водки, радостно окрестив ее тут же «зеленым змием», — водка между тем называлась на этикетке «Тархун» и носила цвет этой травы, на которой считалась настоящей. И вот он ее радостно дует, в первом же после покупки парадняке, и чем выше задирает он голову, тем голубее небо, и золотее солнце, и розовее стены домов, и ажурней листва деревьев, и похож он в своих глазах сейчас на того самого мулата в белых штанах, хоть и лишенного... а не на того пионера-горниста в парке (это уже в глазах моих...), в сени которого допьют они эту бутылку, но уже не в одиночку, а вместе с подоспевшим туда Дауром. Вместе с ним они ласкают взором розовый Сухум: пальмы, хули говорить... Перед ними даже проходят то ли ослик, то ли милиционер — один везет арбуз, другой грызет лепешку, один ухом, другой глазом поведет — и все.

И больше, как говорится в исландских сагах, вы не услышите о штанах, ибо они не встречаются в дальнейшем повествовании.

«Вы как хотите, а я больше не пью», — сказал я ему. А он даже не отмахнулся, столько в нем накопилось презрения ко мне.

В конце концов, я не возражал. Я так наподдавался с Павлом Петровичем по методике тайного советника Иоганна фон Гете (пользуюсь терминологией незабвенного Венички), не давая ему ни капли, что пора было и честь знать.

Итак, я более или менее с чистой совестью передоверил его Миллиону Помидоров, и они побрели «по белым кудрям дня» (выражение Даура Зантария, кажется, из Есенина).

Если у современного героя и стерлись черты лица и вылезли кудри, то у белого дня они остались. Чистый его локон окунулся в Черное море в виду белоснежного лба гостиницы «Абхазия» (построенной по проекту академика Щусева, как и гостиница «Аджария», что в Батуме, для запланированной Сталиным конференции стран-союзников, ни там, ни там, однако, не состоявшейся, а потому получившей название «Ялтинской»). Чтобы скобки не были такими длинными, с этого и начнем подслушивать их разговор в кафе «Амра», что выдается белым молом в Черное море напротив гостиницы «Абхазия»...

- А что, и была бы тогда Сухумская конференция...
- И Черчилль и Рузвельт приехали бы тогда в Сухум...
- И сидели бы они как мы с тобой...
- И пили бы кофе на «Амре»...
- «Амры» тогда не было...
- «Амра» была всегда!..
- Черчилль пил только армянский коньяк...
- С каких это пор?

— А вот как раз на Ялтинской конференции и решили. Каждый год Сталин отправлял ему вагон лучшего армянского коньяку...

- Ну да, и сигары от Кастро...
- Слушай! Зачем так... я знаю, что тогда Кастро не было!

Эта реплика означает, что их уже не двое, а значительно больше, по крайней мере на армянина Серож, бармена из соседнего бара, отдыхающего от предстоящей работы.

- Кастро не было, зато сигары были...

— Слушай! Ты что пристал... Тебе что, лучше, чтобы Ялтинская конференция в Батуми была!

Повод выяснить, какие сигары курил Черчилль после неперенной рюмки армянского коньяку, представился тут же. Он давно привлекал наше внимание, этот почти что в пробковом шлеме, кормивший чаек и пивший все ту же чашку кофе с красноречиво молчащим сопровождающим; по нашему предположению, он так и оказался — англичанином... Мы тут же перевели ему наш вопрос на доступный ему язык: с помощью слова «Черчилль» мы подливали ему коньяку и важно курили его «Мальборо», будто сигары, — он все не понимал.

— Вы, русские, странные люди, — сказал он после третьей рюмки, — любите Тачер, любите Чёрчил... Вы — странные люди.

Мы, русские: два абхаза, два мингрела, один армянин и один грек, не считая меня, — слегка было обиделись то ли за Россию, то ли за то, что он с самого начала знал по-русски, и заказали новый кофе.

Не по национальностям, а по чашкам мы делились! Два средних, два ниже среднего, один садэ, два султанских, один двойной сладкий и один ординарный без сахара, один для Марксэна, один для меня... Англичанин приходил в восторг, и было из-за чего. Это был ритуал! Во-первых, без очереди — коренные жители, право завсегдайтства, близкое знакомство с кофеварщиком; очередь, приезжая, молчит, робеет, не возражает; раз не возражает, значит, приезжая... «Дэвушка, надолго к нам? Дэльфинов уже видели?» — акцент нарочный, в Сухуме мало акцента, акцент для романтики, чтобы боялись и уважали, недельная небритость (что войдет в моду на Западе лишь много лет спустя), золотая цепочка, небрежно заправленная белая рубашка расстегнулась, обнажая утонувший в шерсти крест, рукава закатаны как бы случайно, ниже локтя, мускулистая, небрежная кисть, можно с толстым золотым перстнем... «Овик, еще шесть, будь добр, два выше среднего, один средний, два ниже среднего, один нормальный!» Особый шик кофейщика — не обратить никакого внимания на заказ, но тут же его безошибочно выполнить, не перепутав чашки: кому — какую. Особый шик заказывающего — иметь ласку в голосе и строгость в лице, не суетиться с расплатой, чтобы подать потом мятую бумажку с пренебрежением к ней, но не к кофе и кофейщику... Исполнив этот балет, заказавший еще не сразу освобождается от маски, но потом, выслушав с потупленной скромной гордостью тост за себя, все-таки освобождается и подключается к разговору...

— Можно считать его евреем, а можно и не считать...

— Если по матери, то считать. Евреи считают национальность по матери.

— Ну, а по отцу само собой. Если ты Рабинович, то, будь у тебя мать хоть русская, все знают, что ты еврей.

— Так, получается, евреев больше. И с той стороны, и с этой. Умные люди...

— Да, не то что абхазы. Нас только меньше. И если по отцу — грузин. И если по матери — грузин.

— Проклятый Лаврентий! Сколько бы нас было...

— А как вы считаете? — в упор спросили молчащего сопровождающего.

— Вы меня?

- Был Иисус евреем или нет?
— Я, знаете ли, научный работник. Это не моя проблема.
— Какая же ваша?
— Я обезьянами занимаюсь.
— А вы? — это уже ко мне.
— Слушай, что ты ко всем пристал? Ты что, еврей, что ли?
— Я не еврей, я грек. А все-таки?
— Кто из нас не был хоть раз евреем?
Кто это сказал? Неужели он?

— Мне кажется, — я осторожно поставил ногу. — Сына Божия можно считать по Отцу, а не по национальности.

— А ты, Серож?

— Я? Я — армянин.

— Я — англичайнин, — сказал англичанин. — Вы все не знаете, что такое город третьей категории!

Англичанин оказался только что из Воронежа, и это именно Воронеж был третьей категории... Каким легким здесь, однако, был разговор об евреях! Здесь все были в меньшинстве.

Но вместе мы образовали уже довольно большую толпу, чтобы вывалиться снова на набережную в веселом состоянии хозяев жизни.

Вот для чего, однако, нужны белые брюки! (Всякий зарок недолог — не думал, что этот окажется так краток.) Белые, они нужны, чтобы идти в обнимку с друзьями и ловить на лицах встречных отсвет собственного восторга собою. Именно в таком состоянии — судьба, сюжет, законы симметрии или просто зеркальное отражение — могли мы повстречать идущую нам навстречу компанию, еще больше собою довольную. Эти были всегда в неоспоримом большинстве — это было кино! Я почувствовал, как напряглись мышцы моих абхазских друзей под вчера постиранными тесными майками. Между прочим, Миллион Помидоров поднимал на моих глазах сто килограмм одной рукой, и каждый второй рассказывал о том, как отнимают полжизни.

Кино это и было. Оно шло на нас «свиньей». То есть впереди катился закованный в славу рыцарь, был он хоть и маленького росточка. Весь миф, все первенство, вся необсуждаемость кино концентрировались в нем. По бокам его, чуть поотстав и возвышаясь к краям, следовала свита — ассистентки и администраторы, все что-то как бы спрашивающие и как бы записывающие. Могучие и мужественные операторы и осветители оперяли этот клин.

Друзья мои напряглись, мы с режиссером обнялись, все слилось, и мы удвоились. Они приехали выбирать натуру. Действие фильма происходило в Ялте, но Ялта к Ялте не подходила. Более подходил Сухум. Это была новая версия «Дамы с собачкой», она была мюзикл, собачку согласилась играть актриса, снимавшаяся в юности у Бергмана, известная не только этим, а намек на отношения между героиней и собачкой, сами понимаете, произвел бы революцию в нашем кино.

В таком качестве, уже признанной международной, наша компания обошла все оставшиеся кофейни на набережной. Их было приблизительно семь.

О, эта набережная! Она кажется такой протяженной в силу этих кофеен! На самом деле этот напряженный отрезок длится от силы двести метров, но пройти его — надо потратить полдня (и полдня в обратном направлении), а можно и всю жизнь (те же люди набережной похоронят тебя). Мы шли от «Амры», то есть с юга на север, они шли к гостинице «Абхазия», где должен был разместиться режиссер, то есть с севера на юг, но мы шли как люди, а они протопали как слоны, следовательно, мы (как местные) развернули их вспять, чтобы они разглядели все, как то того заслуживает. «Натуру так не выбирают», — подразумевали мы.

Мы натешили свое тщеславие как могли. С нами раскладывался весь Сухум, киношников же не узнавали. «Кто это?» — спрашивал в том или ином случае режиссер, когда ему казалось, что наш тон особенно почтителен. «Как вам сказать... Вообще это не принято говорить, но все знают... Ну, это вор в законе». Вид этого джентльмена лет шестидесяти, в белоснежной рубашке, выбритого как бы изнутри, в облаке импортного дезодоранта, с мягкими умными чертами и взглядом, исполненным почтительности и достоинства, настолько не подходил, что восхищал, — тут же никакого сомнения, что именно таким, и только таким, может быть глава мафии. Он был очень озабочен, наш узаконенный вор: у него в Москве поступала внучка. Конечно, было предпринято все, и все-таки он очень волновался. Однако восемь жизней было на счету у заботливого дедушки. Нет, последние лет двадцать он никого не убивал. Просто потому, что не было необходимости. Как вам объяснить, это довольно сложно... Ну, у него, скажем, три-четыре цеха... Он — владелец?.. Нет, ему платят владельцы. За что? Ну, чтобы он их не трогал. Так он ведь уже двадцать лет никого не трогает!.. Значит, вовремя платят.

Благородный мафиози — о, эта неспешность походки! — прошел к своей машине не для того, чтобы уехать... Нет, я не точен! Конечно же, не мог он сам пройти к машине, раз не уезжал. Он просто что-то сказал, не оборачиваясь к тому, кому сказал. Из-за плеча вынырнул Аслан (или это был Астамур? — он то ли нехотя, то ли неузнаваемо кивнул на мое радостное приветствие), Аслан-Неаслан поймал ключи, и вот он-то и прошел к машине, открыл багажник, пошуршал в нем и вынес что-то продолговатое, завернутое в «Зарю Востока», вроде обреза — конечно, ружье это тут же выстрелило (в руках неумелого драматурга) ясно и сухо, как первый осенний морозец: шампанское было со льда! Талант — во всем талант... Именно наш друг-мафиози первым в Сухуме сообразил возить в багажнике сумку-холодильник! И вот несколько лет затоваривавшие полки всех сельпо пыльные бездарные эти коробки стали дефицитом. (Между прочим, он не купил эту сумку, а получил в подарок от хозяйки артели, производившей эти сумки.)

Шампанское выстрелило, попав в мое и *его* сердце, из дула вился дымок. Рука профессионала! Как это красиво... Я не мог отказать себе в преувеличении... Из того, как он обходился с бутылкой, было ясно, что она бы у него не дрогнула. Потом эта безукоризненная чистота (а не вымытость) и холя ногтей... а манжет! а запонка!.. запонка была разве великовата, но зато уж, конечно, золотая. Но не все сразу — будет и он когда-нибудь носить запонку крошечную, с одним бриллиантовым уколом, это еще не одно поколение надо, чтобы сделать главный знак незаметным, как орден Почетного легиона.

Стаканы выросли на столе сами (не заметил, чтобы их приносил тот или иной Неаслан); шампанское струится из руки скрипача, никогда не державшей скрипку; в глазах застекленевает пейзаж: навсегда зависшее над причалом солнце, циклопические обломки греческой крепости Диоскурии, что лежат здесь не первую тысячу лет, но всякий раз кажутся вынесенными на берег только вчера неким неслыханным штормом, ствол платана, большой псориазом, слепящая солнечная дорожка по штилевому в этот час, масляному, натянутому, как шелк, морю, чайка, навсегда зависшая над трубой теплохода «Тарас Шевченко», тоже причалившего навсегда, и ее острый крик никогда не рассеется над этим пейзажем, вдруг чернеющим и обугливающимся, сужающимся во взгляде от перенаселенности счастьем.

За что я *его* уважаю, это за то, что *он* никогда не пьет шампанского. «Главное — не пить пузырьковых», — завещал ему один старый алкоголик, имея в виду не только шампанское,

но и пиво, и нарзан. Ему *он* поверил, не мне. Шампанское — моя привилегия. Могу и я раз в год выпить за удачу, состоящую, между прочим, лишь в том, что вот и еще одно время миновало.

Вызвавший мое восхищение мафиози стал слишком много говорить о кино, обращаясь все больше к режиссеру (одна порода!) почему-то по имени Федерико. Слава наша бежала уже впереди нас, как большая собака, как гладкий вал ленивого прибоя и, наконец, как мы сами в собственных глазах. В каждой кофейне объявлялось шампанское, нас любили. Единение искусства и спорта — вот что такое кино, и лучше места, чем курорт вне сезона, не найти для такой встречи. Это именно для них пустуют пляжи, рестораны и отели, для киногрупп и сборных.

Нас сводит Марксэн, экс-рекордсмен мира по стрельбе из пистолета, так и не снявший с глаз своих оптических прицелов, а ныне врач-сердечник и холостяк, пользовавшийся по специальности всех не утративших привлекательности и приобретших даже некоторую таинственность местных вдов, наперсник осенних их тайн и наш общий друг, нас пока, к счастью, не лечивший, — у всех нас был пока один-единственный залетевший в нашу молодящуюся компанию, неожиданный и яркий, как птичка колибри, микроинфаркт Даура...

Обойдя все кофейни, придется зайти и к врачу-рекордсмену. Здесь покажет он нам свою библиотеку, этот все читавший человек. Камю и Борхес! Знали бы вы... кто первым прочтет вас в России! Он снимет свои очки и обнажит такие беспомощные глаза, что и руки, протирающие очки, покажутся вдруг дрожащими и белыми, как воск, как трепещущая свеча, — однако не дрогнула ни рука, ни глаз, когда он выбил 599 из шестисот. Режиссер, как всегда, «заказывал», то есть завел беседу о спорте, проникновенную в самую его суть. Сам он похвастаться в прошлом такими же достижениями не мог, поэтому пытался победить чемпиона в понимании феномена. Не тут-то было!

...Марксэн родился слепым и таким рос в абхазской деревне, родители же не догадывались надеть на него очки (минус 20, констатировал он скромно). Сверстников уже водили на охоту, слепого что водить? Вот он однажды, когда дома никого не было, нацепил очки своей столетней бабки, схватил мелкашку и выскочил во двор, ослепленный зрением, ища, в кого выстрелить. Не мог он, конечно, стрелять в домашних животных. И вдруг видит: метрах в пятидесяти по речке плывут дикие утки. Выстрелил раз — промахнулся, уточка продолжала плыть, он в другую — то же самое, он в третью... только на пятой он

заметил, что они после выстрела прятали голову. Он проверил свое наблюдение на шестой и седьмой — тот же эффект: они нежно и застенчиво склоняли головку, но продолжали плыть той же чередой, устойчивые, как кораблики. И тут с проклятиями прибежал сосед, у которого он, оказывается, перестрелял всех подсадных уток, попав каждой в глаз, а плыть они продолжали по течению.

«Была темная, темная ночь; дождь лил как из ведра...» Отец его был грузин, мать абхазка, но бабушка еврейка, дореволюционная революционерка, вот откуда у него имя Марксэн. Родителей посадили в 37-м, так он и попал в деревню к своему абхазскому дедушке. Уже тогда, в 37-м, он прозрел: он их ненавидел, он и Маркса и Энгельса маму... Сами понимаете, куда ему, маленькому слепому, с таким именем, сыну репрессированных родителей? Одна дорога — в спорт. Он сказал, что мозг, глаз, рука, ствол и мишень во время стрельбы являются не просто одной линией, но как бы перетянутой струной, которая поет на ветру, и тогда он учитывает и направление ветра, и дрожание нагретого воздуха, если солнце... Как раз в Италии была такая жара, когда он... Мозг и мишень становятся одной точкой, равной пуле, — он чувствует движение пули в стволе во время стрельбы...

Режиссер закусил губу: он думал о том, что какая, к черту, «Дама с собачкой», когда вот про кого надо немедленно снимать фильм — готовый сценарий! Актера, актера настоящего нет... Ах, был бы жив Цибульский... Задетый за живое тем, что режиссер так быстро натянул все одеяло (Марксэна) на себя, я попросил его показать нам оружие. Тут-то мы и услышали все об униженном положении спортсмена в советском спорте: у него ничего не было! У него не было своего пистолета — пистолет был государственный, незаконно причисленный к боевому оружию. Только рукоятка — вот что у него осталось на память о мировом рекорде и двадцати годах жизни. Смущенный ничтожеством результата всей жизни, он нежно развернул фланелевую тряпочку, будто в ней был трупик ребенка. Там лежала небывалая кость...

Она повторяла кисть рекорсмена изнутри; эти обратные вмятины были неузнаваемы, как не встречающаяся в природе форма; она была как смерть. Это и была посмертная маска, вернее, ее изначальная форма, в которой отливается потом утративший жизнь лик. Маска руки (снимается же и она с руки великого пианиста...). Эта смерть была тепла, потому что была дерево. Редкое дерево, редкой твердости породы, отполирован-

ное рукой умельца, изготовлявшего рукоять в единственном экземпляре под единственную руку, а потом отшлифованное этой единственной рукою, нажимавшей курок сотни тысяч раз. Не было курка, не было ствола. Она была пуста, как череп. Я погрел ее в своей — это было как рукопожатие. (Никак я не предполагал, что подобное чувство, испытанное впервые, доведется пережить еще раз в течение суток...)

Он никого никогда не убивал, кроме тех уточек, ненавидел охоту и рыбалку. Но вот кого бы он не задумываясь застрелил, хоть в упор, так этого кровососа... Как стрелок и философ, он знал, что такое убийство, и ненавидел убийц. В Берию с любого расстояния попал бы... В глаз даже легче — пенсне бы его посверкивало, в этот блик он бы и прицелился. Хоть два километра, хоть две мили...

— Майлз?... — очнулся англичанин. — Ю хэв рашн майлз?¹

— Доунт ворри², — успокоил его Марксэн. Он как раз начал заниматься английским. Смесь еврейской, грузинской и абхазской кровей делала его интернационалистом, а не только ненавистником палачей.

Продолжая выбор природы, на киношном автобусике и двух машинах (мафиози и сотрудника обезьянника) мы наконец повернули от моря и стали забираться вверх вдоль реки по имени Вода... Что-то мне что-то напоминало. Не здесь ли мы ловили с отцом форель и хариусов зимой 54-го, когда он строил в Сочи свой санаторий? Он ловил, а я бродил — это была его педагогическая мера, взять меня с собой на стройку, а моя первая ссылка. Меня разлучали с моей первой женщиной, которая была сочтена на тайном семейном совете «не парой». Я писал письма, секретно бегал на «до востребования» и не получал ответа. Плоть свою я усмирять непрерывным боди-билдингом, мои бицепсы выросли на два с половиной сантиметра. Бедный мой отец! И он, оказывается, усмирять свою плоть рыбалкой, кто бы мог подумать... Человек, которому за пятьдесят! (52). На «до востребовании» получил я наконец письмо, адресованное ему, и прочитал его... Я не мог отдать тебе его вскрытым! И когда ты, смущаясь, плутова по придаточным предложениям, все-таки спросил меня напрямую, не получил ли я не свое письмо по ошибке, я решительно отрицал. Через

¹ You have Russian miles? (англ.).

² Don't worry (англ.).

четверть века, когда я помогал тебе принять ванну и чуть не рыдал над твоим немощным отсутствием тела с разросшимися родинками, ты остался в трусах, пояснив (какие ты нашел слова!), что сын не должен видеть срама отца своего. Какую Библию ты читал? Ее отродясь дома не было. Разговоры о хамах, конечно, были.

— Не учи отца е....., — слышу я. — Это здесь.

Мы тормозим.

Значит, уже тогда видел я этот дом... С мезонином, между прочим. За кустами, за платанами, за лужайкой он пустует, но так, будто только что, будто как раз съехали дачники. Дом, в котором вырос мальчик Лаврентий. Может, именно в этих густых кустах умучил будущий Берия свою первую кошечку. Она ему не давала, царапалась. И он ее убил. Впрочем, это у попа была собака. Так он и его убил, попа. Убил за то, что у него съели кусок мяса. Хоть и собака. Но вряд ли он убил попа за то, что тот убил собаку. Скорее за то, что у него она была. Еще больше за то, что он любил...

— Он ее любил...

— Кого мог любить этот вурдалак!

— Я точно знаю эту историю, — настаивал режиссер. — Я с ней лично знаком. Он увидел ее в бинокль из своего особняка на Садово-Кудринской, она шла из школы, у нее уже тогда были полные ноги, и он ими залюбовался.

— «Худошавая, но с полными ногами...» — Кто это процитировал? Конечно, Даур. — Недавно стала жрицей... — Он шпарит «Письма к римскому другу» наизусть. — Жрицей стала и беседует с богами...

— Кто это написал? — всполошился режиссер.

— Саундс лайк Джозеф¹, — отметил англичанин.

— А что, может, он и слышал эту историю, — отвечал я на правах личного знакомства с поэтом. — Его всегда такие вещи занимали.

— Да понта тут не занимать...

— В смысле Евксинского?

Мы возлежали на лужайке возле дома Берии и любовались открывающимся видом: налево вверх убежали горы, направо вниз долина расширялась, подразумевая море...

Шампанское, однако, кончилось, и англичанина развезло.

— Если бы я был немцем, то издавал журнал «Алкоголь Шпигель».

¹ Sounds like Joseph (англ.).

— Завтра. Завтра будет туморроу. Завтра все будет, — пояснял ему сотрудник. — И обезьяны и туморроу...

Кто не рискует, тот не пьет шампанского...

Все таки он был прав насчет пузырьковых: шампанское утомляет. Англичанин крепко спал, но и остальные подремывали. Только за моей спиной мафиози с Дауром вели разговор по-абхазски. Я прислушался: о тех же абузинах. Я прислушался: абхазский есть самый непонятный язык! Это какой-то шорох дракона о скалу. Когда они еще были... «Я вижу мир, покрытым институтами абхазоведения», — сказал Мандельштам. Звук древнее речи. Звуки абхазской речи сливаются как бы не в слова, а только в одно слово, сколь угодно длинное, равное длине всей произнесенной фразы. Будто пейзаж, и действие, и действующее лицо, и время действия не разделены на подлежащее, сказуемое, определение и дополнение, а содержатся все в каждый раз заново зарожденном одном слове. То есть реальность не расслоена, а заключена в нем. Оттого никто и не знает абхазского языка, включая самих абхазов, что вдохнуть его надо вместе с реальностью с самого рождения. По тому, насколько естественно для них говорить по-абхазски, сегодня можно сразу заключить, что оба из деревни, родились и выросли. Трудно поверить, что язык умирает, когда на нем так говорят хотя бы двое, как Даур с мафиози. «Абузин» было не словом, а слогом того или иного длинного слова, которое бывало настолько длинным, насколько хватало дыхания. Этот отмечаемый мною слог перемещался по слову-фразе, становясь то в начало, то в конец, то в середину. Тон мафиози был решительным насчет «абузинов», а Даур умиротворял. Так я их понимал. Мне очень хотелось уже расспросить об этих головорезах-абузинах, чего они хотят и чего не поделили. Но это, казалось, настолько все, кроме меня, знали, что я по-детски боялся спросить, чтобы не утратить качества «своего», столь лестного и не каждому даруемого.

— Из ит олреди туморроу?¹ — проснулся англичанин.

— Пока еще вчера, — остроумно отвечали мы ему.

— Вчера у меня еще есть бутылка виски, — отвечал он.

Мы по достоинству оценили его чувство юмора, пройдя за ним в отель.

— Ноу айс², — извинялся англичанин, доставая трехгранную бутылку с индюком.

¹ Is it already tomorrow? (англ.).

² No ice (англ.).

— Он сказал, что нет стаканов, — перевел Даур.

— Нет проблем, — сказал мафиози, не подозревая, что переводит с английского.

Толиаслан уже вносил стаканы.

— Алкоголь шпигель?

— Освежим поверхность.

— Отлакируем...

— Отполируем!

Мы слегка обсудили тему национального юмора. Марксэн, по-видимому борясь в себе с тремя, объявил, что никакого национального чувства юмора быть не может.

— Какой такой абхазский, грузинский, русский юмор?

Смешно или не смешно — вот юмор.

— Одним смешно, а другим не смешно.

— То есть русскому, скажем, смешно, а немцу не очень?

— Или немцу смешно, а русскому совсем не смешно...

— Или грузину смешно, а абхазу нет...

— Тогда абхазу совсем не смешно, если грузину смешно...

— Еврейский юмор всем смешон...

— Если он еврейский на самом деле, — сказал Марксэн.

— Ты хочешь сказать, что их придумывают сами русские?

Тогда бы это не было так смешно.

— Что ты имеешь против русских?

— Я? Никогда. Серож, армянский юмор есть?

Серож надолго задумался, а затем обиделся:

— Ты что, опять армянское радио имеешь в виду? Это не армянский юмор.

— Хорошо, если армянский юмор придумали неармяне, а еврейский неевреи, а чукотский, уж точно не сами чукчи, то кто же?

— Английский юмор тоже не английский?

— Я согласен с такой точкой зрения, что это вопрос больше импорта, чем экспорта, — сказал англичанин.

Мы захохотали, и англичанин не понял, над чем.

— Мне другое смешно, — сказал он, обводя рукою свой роскошный, на наш взгляд, номер. — В России так много леса...

Мы проследили за его рукой, словно он показывал нам на рощу.

Номер и впрямь был весь обшит деревом, вернее, такой импортной, как раз скорее финской, чем русской, фанерой под дерево.

— И вот я не могу понять... Сколько леса — и ни одного шкафа. Некуда ту пут клос¹...

¹ To put cloth (англ.).

Наши куртки были свалены посреди его безбрежной кровати, на ней же мы и сидели.

— Это как раз понятно, — сказали мы.

— Уай??

— Сметы не хватило.

— Чего-чего? — сказал англичанин совершенно по-воронежски.

— Ну, средств, денег.

— На дерево хватило, а на шкаф не хватило?

Он закружил по комнате, стучаясь о стены. Они отзывались звуком пушечного выстрела...

— Зачем столько?!

— Фонды.

— Фонды? Вы имеете в виду ваш план? Что вам прислали больше фанеры, чем денег? Ведь лишняя фанера — это ваши деньги!

Мы опять смеялись, и англичанин не мог понять, над чем. Как мы могли объяснить, что не над его непониманием нашей экономики. А над тем, что «фанера» на жаргоне и означает деньги.

— Фанера — это капуста, — пробовал пояснить кто-то, но это был неудачный перевод.

— Фанера — это фанера...

Перевод был уточнен, и, словно в доказательство этой высшей точности, она вдруг гулко взорвалась, выстрелила и смолкла.

— Что это, что это? — англичанин вскочил в испуге, указывая на потолок. Кто-то снова пробежал по нему, издавая цепкий грохот. Мы не стали разяснять ему, что это была крыса, а может, и кошка. Мы сказали «мышка». Не стали позорить державу.

— Зачем тогда такие низкие потолки?

— Фанеры не хватило.

— В смысле денег?

— Нет, в смысле фанеры.

— Это русский юмор?

— Нет, экономика. Из фанеры сделали деньги.

— То есть из фанеры фанеру?

— Вы схватываете на лету. Вы же, в отличие от нас, знаете, что такое город третьей категории...

— О, Воронеж!.. — Англичанин мечтательно завел глаза.

Мы выпили за Воронеж. Согласитесь, это роднит наши просторы, когда англичанин пьет в Сухуме за Воронеж. Сплачивает империю.

— Летс кол ит экспириенс¹, — сказал англичанин.

Значит, так. Англичанин приехал в Советский Союз, чтобы собрать материал для диплома (тут мы так и не выяснили, что у них диплом, а что диссертация: то, что у нас диссертация, а у них диплом, или наоборот). Он приехал изучить наш опыт, потому что у них в Британии есть тоже некоторый такой опыт. Опыт содержания обезьян в неблизких им климатических зонах в близких к природным условиям. Иначе, на воле. Он много слышал об обезьяньем питомнике в Сухуме и считал, что именно там может быть накоплен этот некоторый опыт. Но ему сказали, что такой опыт широко распространен не только в Сухуме, но и по всему Союзу. Что разведение обезьян есть уже прэктис², а не опыт (по-видимому, это англичанин понял уже в Воронеже, они путали понятия «экспириенс» и «эксперимент»). По-видимому, и прэктис они перепутали с практикой (в смысле — студенческой) и так направили его на практику в Воронеж, где однажды, риалли, был поставлен эксперимент с обезьянами, живущими в близких к воронежским условиям, но обезьяны подошли через неделю, так что эксперимент, может быть, и был, но «экспириенса» практически не было, о чем он тут же и рапортовал в Москву с просьбой перевести его все-таки в Сухум. Он рапортовал и рапортовал, продолжая жить в студенческом общежитии (о, вы не знаете, что это в городе третьей категории!), пока не вышел срок его стажировки, и тогда он решил просто проверить, есть ли такое место, как на карте, Сухум, и, он хиз оун икпенсиз, то есть на свои собственные, добрался сюда, что было тоже не очень просто получить разрешение, поэтому ему удалось это только через «Интурист», как частному лицу, и вот теперь, когда он встретил мистера Драгамашенка (вот как, оказывается, звали сотрудника — еще и украинец в нашей компании...), и вот Сухум, правда, риалли, есть и мистер Драгамашенка обещал, что постарается сделать все возможное... но вот они встречаются уже третий день, а он не может так долго оплачивать за отель, будто это пять звездочек, а шкафа нет...

Антиаслан сказал, что пять звездочек будут сейчас, и, не успела по потолку пробежать новая крыса, тут же объявился

¹ Let's call it experience (англ.) — название книги Э. Колдуэлла о Советском Союзе (1939).

² practice (англ.).

с бутылкой коньяку. Англичанин пересчитывал звездочки на бутылке и не то смеялся, не то плакал.

— Сон, сон, сон! — провозгласил англичанин. — Вы меня заебучили. Сон есть кратчайшее расстояние между двумя пьянками.

Режиссера и мафиози уже не было.

Мистер Драгамашенка отвел меня под локоток:

— Вы не могли бы меня выручить? Сами видите, в каком он состоянии... («Ноу мор. Ту слип»¹, — бормотал англичанин.) У нас по пятницам встреча с интересными людьми. Ну, собирается узкий круг сотрудников, свободная беседа... Можете говорить, о чем хотите... Вас хорошо знают, — сказал он убежденно, из чего я вывел, что он-то обо мне впервые слышит. Это, впрочем, меня не задевало (или я обучил себя не задеваться?). — После встречи небольшой чай, там же, в лаборатории...

Чай, конечно, менял дело. Это неплохо, чай из колбочек и пробирок. *Он* меня толкал согласиться. Сами видите... Неудобно в таком виде... Иностранец все-таки... А соотечественника — удобно? Соотечественник — понятно, да и вы молодцом...

Молодцом... пятница... я думаю, четверг. Я мог гордиться собою. Чем я не «интересный человек»? По крайней мере, сегодня я очень интересный человек. Кто знает здесь, что *он* (я подумал о себе в третьем лице) только что закончил *вещь*! Для меня все еще оставалась среда, когда я наконец-то, после месячных усилий сел за машинку... Мне казалось, что прошла одна ночь, — оказалось, две. О, это признак! Это вселяет надежду. Я еще не читал, что там оказалось написано, но раз не помню, то, может быть, и текст. Помню, что последнее, что описывал, был двор — в него я и вышел.

Я вышел из *него*. Я мог и *им* сегодня гордиться. Шуточное ли дело, две бессонные ночи (может, я где-то и прикорнул часа на три, но в том же курятнике, не раздеваясь, как цыпленок на насесте), сорок страниц непрерывного текста, около двух поллитровок уже, не считая шампанского, которое я выпил сам... Это не всякому, это не всякий...

А была уже пятница. И всего лишь полдень. Вчерашний день просвистел как пуля у виска. Мы, то, что осталось от компании, Марксэн, Даур и я, ехали в «Запорожце» сотрудника Драгамашенки. От предстоящей мне ответственности я оконча-

¹ ...to sleep. No more. («Hamlet») (англ.).

тельно протрезвел, и кое-что прояснилось. Например, с абузинами... С англичанином возникли сложности. Отказать ему, сами понимаете, неловко, но дорога к месту расселения обезьян пролегла мимо «объекта». Что это был за объект, сотрудник и мне не сказал, но я так понял, что англичанину обезьян не видать. Тем более они-то и были абузины: общий корень персидского происхождения. «Вот как!» — восхитился я. А мне, сказал сотрудник, меня и имея в виду, если меня это интересует, можно это устроить. Они не могут заплатить мне за выступление, но вот это могут: хоть завтра возьмут институтский автобус и поедут, кстати и проверят, как идет подготовка к зиме, зима — главная для обезьян проблема, прошлая была тяжелая зима, много снега, трудно проехать, и морозы до двадцати пяти доходили там, в горах, где обезьяны, и у них слегка подмерзли хвосты, а в остальном они выдержали, и раз они выдержали эту зиму, то выдержат и следующие, только, конечно, их надо поддерживать, у них есть домики от непогоды, и подкармливать их надо, а так они на воле, можно считать... Да вы сами увидите. Лучше ли им на свободе? Об этом не может быть и речи, вы бы только поглядели на этих красавцев! Какие гривы! Это же львы, а не обезьяны... Наличие живого чувства в устах обезьяньего, оказывается, сотрудника порадовало меня. Что-то зашевелилось там, на дне моей было опустевшей писательской утробы, и стало стремительно разбухать и распирать наподобие замысла. Советские обезьяны... Освобождение обезьяны... Русская обезьяна... Обезьяна, живущая на воле в условиях социалистического общества... Без клетки... Обезьянья воля... Республика обезьян... Абузинская АССР... Обз. АССР... Абз. АССР... Так, нельзя — все обидятся. Обезьяны не обидятся. Главное — не обижать обезьянок. Их-то уж я не дам в обиду. Нет, это можно, нужно написать! «Дали свободу» ... разрослись гривы, зато подмерзли хвосты... нуждаются в подкормке... Что-то в этом есть! Всегда я залетаю с первого раза... А потом годами не могу разродиться. Плод давит на плод. Масса начинает бродить. Вина уже не получилось — приходится гнать самогон.

Его же и пить. Мы хлебнули по стаканчику чаи у Даура, куда заскочили сменить рубашку и принять душ. Получилось не за этим: воду опять в Сухуме отключили, и рубашка Даура на меня не налезла. Я завернул рукава повыше. Он не удержался и посмотрелся в зеркало; глядя в его алкоголь-шпигель, я и сам залюбовался полировкой отлакированной поверхности. Я, однако, усадил его за дело, и пока он тужился, я гнал за обезьянами. Говорят, очень красивое место и живописная до-

рога... Пусть туда едут со мной человек шесть специалистов по обезьянам, пусть я их расспрашиваю об обезьянах, как в свое время доктора Д. о птицах, пусть они будут разных национальностей: абхаз, грузин, армянин, грек, еврей, русский... можно и англичайнина захватить... украинца не надо... пусть они будут жители и патриоты именно этой земли... пусть они будут такие любители-историки, как все они тут, в провинции... пусть они мне ненароком расскажут историю края и ненароком же заспорят, кто из них коренной житель, кто кореннее... пусть из спора вырастет ссора между грузином и абхазом, между грузином и армянином, между... нет, с евреем я ни за что ссориться не буду... это наши дела... «то давний спор славян между собою...» а что, в такой компании еврей скорее уж славянин... не грузин же, не армянин и не грек точно... да и такой ли уж нееврей русский?.. еврей-то скорее русские, чем мы... они всякий раз жить здесь собираются, а мы каждый раз жить не хотим... опять за свое! ты же к обезьянам едешь... да, но не доехал же еще!.. о чем они ссорятся?.. ну, это понятное дело, надо только уточнить в деталях... абхаз, естественно, о грузинизации, о ликвидации абхазских школ, о записании абхазов в грузины... грузин, естественно, не выдерживает такой исторической несправедливости и говорит, что мы вам в 1978-м телевидение не дали, университет не дали?.. вот, сам говоришь, «дали», дали, потому что взяли, отняли, сначала отняли, а потом дали... что у вас отнимать? у вас и письменности не было... зато абхазы сколько веков были грузинскими царями!.. что! абхазы — царями?! у нас?! ха-ха-ха... грузины вообще не воевали, воевали горцы — черкесы, абхазы, осетины, а вы всегда под кем-нибудь были... под персами, монголами, русскими... а вы-то где были? вы же всегда под нами были, вы всегда были Грузией, да вы и есть грузины... Тут они вступают в рукопашную, между ними начинается национальная борьба, как она называется? Сталин еще первую большевистскую газету выпускал? «Борба»? «Дзорба»? «Кобра»?.. кстати, где газета?.. вот газета... газета есть... тут не совсем правда... они впрямую так никогда говорить не будут, а то зарежут друг друга... они так третьему лицу, то есть третьей национальности, порознь друг от друга скажут... а что им скажет лицо третьей национальности?.. оно им скажет, что они зря дерутся, потому что в любом случае до них обоих тут была греческая колония (если лицо — грек)... если же лицо — армянин, то оно скажет, что еще во времена ассирийские здесь была только армянская земля... тут все накинутся на армянина: ну да, Нефертити армянка, Наполеон армянин, Леонардо да Винчи армянин... а тут и спорить

нечего, скажет армянин, что спорить, если они армяне... один русский будет скромно молчать, да на ус мотать, потому что что спорить, что когда было, когда России еще не было? Когда России еще не было, то, пожалуйста, чья угодно могла быть эта земля, а только уж как появилась Россия, то чья же это еще земля могла бы быть? не турецкая же?... вам что туретчины захотелось?... вы же христиане, побойтесь Бога... вот что не скажет никогда русский, пока они спорят по дороге к обезьянам, начисто про них забыв... русский же и на пейзажи любит, отвоевывая их пядь за пядью у басурман для своей книжечки, которая, как же она будет называться? «Обезьяна сапиенс»... неплохо... «Хомо двуногус» — как «нога» по-латыни? ну, ну?! ну, которые инвалидные ботинки делают?... ортопеды, вот! так что же, «орто» или «педы»? орто-докс, педа-гог, педи-атр, педе-раст... «Хомо педис», смешно... нет, педы — это дети... что-то не то... Сейчас, сейчас! Уже готов, выхожу...

Вот что вышло. Пока я готовился к выступлению, Даур наширлся у своего соседа грека, замечательного тем, что как только получили они квартиры в этом новом доме, то Даур ничего делать не стал, потому что денег не было на ремонт и потому что творческий работник (сапиенс-сапиенс), а грек, потому что шофер на мебельном комбинате, рабочий человек, человек умелый (сапиенс-хабилис), тут же взялся все отделять своими руками дубом, все — и паркет, и стены, и потолок, и ванну, — и так четыре года, а когда все сделал, взял топор и изрубил все обратно в мелкие дребезги, после чего сделался задумчив и нелюдим (я его так ни разу и не видел) и мог общаться с одним Дауром. Я, конечно, не сразу догадался, зачем Даур удалялся к соседу-греку, может, потому, что я занял его место так надолго, но понял я это, когда мы стояли перед аудиторией, состоявшей в основном из сотрудниц до тридцати лет, причем некоторые были даже хорошенькие (три из семи), а нас (он тут же за меня подсчитал) как раз трое и было: Драгамашенка, Даур да я... Драгамашенка представил публике Даура, человека в городе всем известного, который должен был представить меня, человека всем известного, но неизвестного в городе, рассказать, так сказать, о моем творческом пути. Даур смело вышел вперед, сказал, что они видят перед собой человека, прежде всего интересного тем, что он... тут. Я замер в ожидании, в преддверии искреннего восхищения и наигранного смущения, ибо редко встречал я подобный дар красноречия, как у Даура. Как тамада, он забивает всех, затыкает за пояс, особенно в присутствии дам он особенно красноречив и остроумен,

так что я ему даже зачастую завидовал, настолько он меня в подобных случаях превосходил, что я, пользуясь преимуществом старшего по возрасту, лишь принимал позу учителя, любующегося своим учеником и одобряющего каждое его слово... Даур вздохнул всей грудью и больше не выдохнул. Так, по крайней мере, казалось. Он стоял, выкатив грудь, округлив глаза и рот, и мы благожелательно выжидали его точного слова. Девушка, в которую уперся его взгляд, начала неудержимо краснеть, по лицу Даура струился пот, но следующее слово так и не родилось. Драгамащенко заплотировал. Даур выдохнул наконец и сел, а я встал.

Человек есть человек, то есть очень слаб. Я не мог не расцвести подчеркнуто пышным цветом на фоне предыдущего оратора. Раз они были биологи, то, конечно же, что они в биологии понимали?.. И конечно, это должен был быть именно я, чтобы научить их понимать собственный предмет. Я говорил им о...

Ночное вдохновение еще кипело во мне. Там я так и не договорил, закончив. Как всегда, ради чего все и пишешь, те две-три мысли, что так беспокоили тебя до такой степени, что даже тебя усадили за стол выразить их, то именно эти две и оказались никак не высказанными: ни я, ни Павел Петрович их так и недодумали, сколько ни пили, так и вышел я, пройдя текст навывлет, с ними же двумя в руках, никуда по дороге не пристроив. Даже Павел Петрович не успел их мне растолковать.

— Свинья... — говорил девушкам уже не я, а Павел Петрович. — Можете ли вы мне объяснить, с чем связано такое традиционно пренебрежительное, неблагодарное и хамское (вот видите, и я чуть не сказал свинское) отношение к этому изумительному животному? — Павел Петрович, по-видимому, решил продолжить свою идею Творца как художника, изобличившего себя созданием воды. — Свинья не только чисто плотное, умное, но и наиболее совершенное существо в природоподобной системе крестьянского двора. Проблема безотходности производства, не разрешимая в условиях технического прогресса конца двадцатого века, была разрешена на заре развития человечества изобретением, подчеркиваю, изобретением Свины! Ничто в истории человеческой цивилизации не повторило так совершенно Творение, уподобившись ему, как крестьянский двор. Это картина Творения, в раме забора. Забор, ОГОРОД — вот изобретение, равное колесу. Изначально он и был круглым. Только раздел, наличие соседа придали ему прямоугольность...

Полная неожиданность слова «прямоугольность» потрясла оратора, и он окинул всех взором и выбрал себе блондиночку, которая мне лично не понравилась (я приглядывался к другой), зато нам обоим, в одном лице, делала знаки третья, машинисточка знакомого издательства, меня смутил ее застенчивый призыв: вот кого следовало избежать, да не обидеть... Сорвавшись с языка, «прямоугольность» вдохновила его, и далее он с легкостью обнаруживал связь между следующими словами: Россия, колхоз, номады, нейтронная бомба, «без единого гвоздя», пожар, «с навозом в руках», плот и церковь, «восемнадцать войн с Турцией и никаких Дарданелл», викинги, тевтоны, шведы, татары, литовцы, поляки, Ермак, «нах Остен», болото, прорубить окно, Сибирь, ареал, Европа, тундра, лошади, шкуры, бабы, вырезать скот, первобытные племена, самогон, ледостав, пельмени, пальмы, Калифорния... «Жаль Аляску!» Хрущев...

Господи! куда *его*... несло... Это он перед блондиночкой приблизительно излагал не свои сомнительные идеи, их у него отродясь не было, и даже не мои, а нашего давнего приятеля доктора Д., которые тот лишь однажды мне разболтал и на следующий день вернул обратно...

Но ничего, про Хрущева уже можно, это даже поощряется, про Хрущева... Пусть летет.

— Хрущев вообще был человек широкий. Даты при нем не были в таком почете, как сейчас. Ему что год, что «один день»... (Нет, про Солженицына лучше не надо.) Что 250-летие Петербурга, что 300-летие Петра, что 100-летие крепостного права... что Аляска, что Куба... кукуруза...

— Про Ермака Тимофеевича позвольте с вами не согласиться, — спасительно вклинился Драгамашенка. — Оригинальная, но несколько схематичная концепция. Из избы, положим, еще можно плот связать, но из плота — сани!.. — В аудитории раздался подобострастный смешок. — Не такие уж мы номады...

— Как не номады?! — вспылал уже я. — А что все эти массовые перемещения людей — целина, комсомольские стройки, БАМ — кто, кроме номадов, на такое согласится?..

— И вот еще недопонял... — Драгамашенка учел, что возражать и поправлять тут опасно. — Почему именно свинья — царь зверей?

— Потому, что она венчает пирамиду крестьянского двора. Она его замок. Что нам прежде всего свидетельствует о присутствии хозяина? Замок, на который он запирает ворота своего хозяйства. Это — его. Замок замыкает цепь. Свинья замыкает двор, придавая ему совершенство природы, выдает в хозяине —

творца. Потому что творца выдает замысел. Замысел невоплотим в принципе. Концы с концами никогда не сходятся и не сойдутся. Их можно только завязать узлом. Замысел всегда торчит. Его не скроешь. Его можно пытаться скрыть. Хорошо, тогда объясните мне, зачем нефть? Почему до человека по всей земле равномерно накопаны эти отхожие места живой природы? Будто они задуманы для будущего человека. Ни одна ведь из гипотез происхождения угля и нефти до сих пор никого не убедила. А разве Земля, допустив на себе развитие жизни и цепную реакцию эволюции, не была бы погребена под отходами жизни и продуктами распада и разложения, если бы не эти аккуратные мешочки с нефтью? Разве крестьянский двор не подобен равновесной экологической системе именно благодаря свинье? Не сыграла ли нефть роль такой же изобретенной свиньи для всей природы? Хорошо, тогда скажите, зачем человеческому виду девственность, у каких видов животных она еще встречается и есть ли она у вашей матушки обезьяны? Что это за мембрана такая, рассчитанная на один раз?

Тут он смутил девушек окончательно, безраздельно завладев ими всеми сразу. Та, которая мне нравилась, была, однако, напугана не на шутку и, кажется, собиралась, но все не решалась выйти. Зато интеллигентная машинистка смотрела с откровенным обожанием, чего мне как раз не хотелось.

— Боюсь, что никаких дельных объяснений, кроме тех, что вы считаете мифологическими, про Адама и Еву, про Древо познания, про грехопадение, диктующих вам до сих пор закономерности человеческого опыта и определяющих историю человечества через первородный грех и непорочное зачатие Нашей Девы, мы не найдем. И не надо. А надо вот что...

И я замолчал, как Даур, не в силах вспомнить, что только что сказал.

Даур был отомщен. Или я спас Даура? Если вещь не написана вовремя, она начинает сбываться. О, эти объятия жизни, однажды уже бывшей с тобою! Какие-то «Труженики моря», а не текст. Тебя обнимает спрут, и ты корчишься в бесполезных судорогах борьбы, захлебываясь в толщах бытия.

Ненаписанный роман «Азарт» происходил со мною. Мелькали пропущенные описания.

Где конь? Кто там забыт под забором в красной рубашонке, хорошенький такой... И что такое Миллион Помидоров?

Миллион Помидоров может поднять сто двадцать килограмм одной рукой. Он выучил наизусть Кортасара. У него борода... Боже ж ты мой! Какие корчи! Какую рожу может скривить слово на странице! Никуда оно не ложится и никуда не лезет, и нет ему места, и если только прислушаться, то и смысла в нем никакого нет. Повторите любое, для тренировки, десять раз: какой «стол», какой «стул», почему «дверь»?..

Миллион Помидоров имел свои отношения со славой. В том числе и великого картежника. Еще в детстве он проиграл враз миллион. И поскольку миллиона у него не было, а карточный долг несомненно долг чести, то и проиграть пришлось миллион не рублей, а помидоров. Выигравший милостиво разрешил отдать долг по частям. Лет десять носил Миллион Помидоров по пять — десять килограмм. Вырос и окреп, как Критон Милетский, приближаясь к Олимпийским играм 1976-го, 1980-го, а теперь в 1984-м — никакого Лос-Анджелеса. Опоздал со своими гирями, как я со своими словами...

Не прав я был со свиньей, вот в чем все было дело. Может быть, она и замók. Может, она и подбирает за нами, неблагодарными, наше дерьмо. Только вот само ее дерьмо, оказывается, деть некуда. Некуда деть это конечное ее дерьмо. Никуда оно не годится!

Бывает именно такое — замолчишь ни с того ни с сего и враз. Выпучишь глаза и молчишь, и не то что связи между словами, не то что слов нет, буква и та непреодолима. Нету самой речи. Молчишь и месяц и другой, начинаешь молчать и третий. Слушаешь аплодисменты, пожимаешь руки, пожинаешь призы. Тебя уже давно ждут выпить с ними благодарные слушатели. И еще двое-трое-четверо, Адгур-Рауль-Рауф в одном лице и Миллион Помидоров, оказывается, давно стоят за твоими плечами как два ангела-охранника, давно не терпят, когда ты кончишь выступать, везти тебя с Дауром в одно место, где только меня и ждут.

Мы получили с Дауром по черепу обезьянки в качестве гонорара. На лбу ее мягким карандашом была накарябана дата смерти. Можно было бы сейчас датировать это повествование с большей точностью. Дело было осенью, а умерла она летом, год шел 1983-й. Сейчас мне кажется, что там стояло 17 июля. «Июля» — было написано римской цифрой VII. Карандаш особенно хорошо писал по поверхности кости, как на самой дорогой и толстой, какой-нибудь китайской, бумаге, такой пористой и цвета слоновой кости. Но карандаш стерся. Почему-то дата убывала в обратной последовательности: сначала год

(но год я помню), потом месяц, потом долго оставалось повисшее в безвременье число. Я по-всякому заворачивал череп, чтобы не стереть до конца, тем и стирал. Дата рождения, однако, не была зафиксирована с той же точностью. Осмотрев зубки, Драгамашенка сказал, что не более двух лет. Один зубик в нижней челюсти слева шатался, наверное, клычок. Она была девочка. Звали ее Люся. Или Маргарита, не помню. Конечно, Люся. Не Маргарита, Маргаритой звали ту, другую. Не ту другую, которую подарили Дауру. Ту я даже не поинтересовался, как звали.

А ту, у которой *он* успел взять адресок в аудитории, пока я молчал, опозоренный собственным молчанием, умиленно глядя свою обезьянку по лысой головке. *Он*-то все успел, пока его влекли к выходу я и Миллион Помидоров: и хватануть пробирку со спиртом из девичьего аляфуршета, устроенного в мою честь, закусив печеньем «Привет», и взять телефончик той, которая понравилась ему, и той, что понравилась мне, и той, старой знакомой, которой не следовало ни при каких обстоятельствах отвечать на ее вечнопризывный взгляд, изнывающий от застенчивости до неприличия: она жила тут неподалеку в пансионате с сыном, учащимся приготовительного класса.

Итак, провожаемые неудовлетворенной аудиторией, которая нам продолжала махать с порога своей лаборатории, может, и синенькими платочками, ехали мы на двух машинах: «козлик» и «Волге-21», — все круче забирая в горы. И пока *он* праздновал свой триумф, рассказывая какую-то гнусную историю с вытрезвителем, имевшую место в мои студенческие годы, казавшуюся ему отчего-то увлекательной и веселой, а друзья ослепительно улыбались и понимающе кивали, я переживал свой позор, грустно поглаживая Люсю, уместившуюся на моих коленях, по ее покату лобик и поглядывая в окно. В сотрясающемся этом мутном окошечке, вделанном в бывалый брезент нашего «козла», видел я все больше обочину: согревающую свое вымя на разогретом асфальте корову, поросенка, безуспешно старавшегося проникнуть сквозь изгородь, протиснуть туда свою треугольную рамку на шею, вдруг... — человек лежал на обочине, все в той же красной рубашоночке, так безмятежно раскинув руки, как и не бывает... и где-то я его уже видел. Миллион Помидоров дал мне затянуться из косячка, я неохотно дернул, разглядев его непомерный кулачище, которым он при мне забивал гвоздь в дюймовку... но, распробовав, дернул и другой разок. «Хороша травка?» — гордясь, спросил Миллион Помидоров. И впрямь отлегло. «Хороша...» Мне даже показалось, что

он от меня пересел в идущую позади «Волгу», чтобы пересказать все ту же историю другому экипажу... «Мама», — наконец мог я произнести первое слово, хотя хотел сказать «папа».

Папа это и был. Он помещался в небольшом синем кубке у мамы на коленях, будто выигранный в небольших соревнованиях, и мать нежно гладила его, как живого. Сходство с призом усугублялось золотой вязью наискосок: за что кубок. За КО-НЕЧНУЮ дату ему присуждалась как дата рождения, так и имя собственное. Приз это и был: он был единственный такой, первый и неповторимый. Прости меня за то письмо!.. Мы помещались с мамой на заднем сиденье такой же «Волги-21». Мы везли его на наше кладбище в Шувалово. Вез нас муж моей двоюродной сестры, племянницы моего папы, иначе, наверно, шурин, то есть муж моей кузины, по фамилии Черешня, гордый своим автомобилем, происхождением и ученой степенью, славный и неглупый в принципе человек, игравший под хама, но хамом совершенно не бывший, — добрый, некрасивый человек. Был он удивлен силою маминых переживаний. «За что вы его так любите?» — спросил он ее со свойственной ему прямоот. И мама, посмотрев с силою прямо в глаза, тускневшие на его унылом, долгим, носом перечеркнутом лице, сказала со всею отчетливостью: «За красоту». Черешня, как я уже сказал, был не дурак, но тут и он понял.

Возвращение с кладбища...

До обещанных обезьян мы опять не доехали.

Зубик вытащился сам собой из Люсиной челюсти и легко вставился обратно. Обязательно надо было его не потерять, напоминал себе я. И тут мы приехали.

Нас ждали. Сквозь колья ограды наконец проникло освобожденное население. Нас целовали в плечо. Нам подносили. Хлеба-соли на расшитом рушничке тут не было, но сам рушничок был. Одна достойная женщина держала мыло и чайник, другая полотенце. Нам поливали, пока мы мыли руки, потом нам подавали полотенце. Обе женщины, как мне пояснили впоследствии, были депутатами Верховного Совета: одна — АССР, а другая — СССР. Это была деревня.

Деревня тут и была. Мое русское пьяное сердце восхищалось и рыдало. Вот что значит непрерывная жизнь трех поколений! Это значит — богатство. Невозможно даже сравнить — я не уставал сравнивать. На место каменного двухэтажного дома на столбах-сваях подставил я нашу покосившуюся избу-пятистенку; вместо традиционного агазона (газона) во дворе представил себе лужу, истоптанную коровой и сапогом глинонавоз-

ную жижу; вместо сада — инжирового, хурмового, яблоневого — наш небогатый огородик с не уродившимся в очередной раз луком; вместо водонапорной колонки — наш водонаборный прудик, кишевший жизнью, как капля под линзой Левенгука... Скорбь патриота вскипала во мне пропорционально умилению их заслуженному достатку. Конечно, климат. У нас такое не растет. Тут ткни палку в землю... Лимоны, мандарины... А у нас — ЗИМА. У нас попробуй вынести что-нибудь за пределы дома. Это здесь кухня отдельно, скотина отдельно — можно двор по газону перебежать. У нас надо прижаться одним боком к печке, другим к корове, чтобы не замерзнуть. Им — легко. Так рассуждал патриот во мне, горожанин, на пятом десятке разгадавший тайну пятистенка; что это вовсе не наша пятиконечная звезда...

Тут те же женщины обнесли нас стаканчиком чаи. Мы все еще, значит, стояли во дворе. И не только двор, и газон, и дом были свои, но и вычурные его железные ворота, это свое запиравшие, были свои, но и чача была — СВОЯ. И этот другой несколько оттенок слова: НЕ купленная. Свое и собственное — в смысле тобою произведенное, приготовленное, сделанное. Впрочем, таков был и двор, и газон, и сад — СВОЕ это было, как чача. Крепка была чача.

Конечно, климат! Виноград у нас ни при какой системе не вырастет. Что у них, советской власти не было? Не только была, но и стояла передо мною во плоти, в виде депутата Верховного Совета СССР (который, как я учил по Сталинской Конституции в школе, и есть сама Советская власть), да и звали-то ее, по какому-то небесному недоразумению, Софи. Сама Софи, смущаясь и розовея, подавала мне чачу, как перед тем рушничок. Что она мне плохого сделала?

Отдельно опишем ее румянец, ибо он так и есть — отдельно. Отдельно от щеки, от лица — сам по себе. Румянец как еще одна часть тела. Ага! Забытое слово: крепкий. Впрочем, только что сказанное по другому поводу. Впрочем, по тому же. Крепкий дом, крепкая чача, крепкий румянец. Еще его называли «деревенским». Давно не встречал я его на наших испитых лицах. Даже в деревне... Тут, значит, не только воздух — тут еще и работать надо. На том же воздухе. У нас, в России, такой румянец только у постового и встретишь. Потому что во всякую погоду на воздухе деревенский свой ген проветривает. Наша деревня все чаще в милицию подалась, там выживает. И названия наших опустевших придорожных деревень, пока едешь по шоссе, от постового до постового, напоминают все почему-то

фамилии милиционеров, а напоминают, выходит, они то, откуда милиционеры родом. Просто мы, горожане, раньше знакомимся с милицией, чем с деревней. Например, мелькнуло за окном на обочине название деревни АКШОНТОВО — так точно, в юности твоей случился с тобой такой сержант или даже, бери выше, лейтенант Акшонтов: он протокол составлял, а ты подписывал, вроде и не за то, что сделал, а за то чего НЕ сделал — сплошные НЕ: НЕцензурное (выражение), НЕтрезвое (состояние), НЕподчинение (представителю власти). А может, не Акшонтов это был, другая фамилия. А Акшонтов-то тебя как раз сейчас и поджидает на своем посту, на выезде из деревни АКШОНТОВО, и доброжелательно задерживает тебя за скорость, которую ты превысил в задумчивости о судьбе русской деревни. И такой у него цвет лица!..

Как у Софи. Цвет. Не румянец, а цвет. В смысле не цвета, а цветка. И надо же, чтобы эту темно-бордовую, почти черную розу сквозь естественный и благоприобретенный цвет лица пробивала еще и краска смущения! Как не украсить Верховный Совет такую зарю Востока... «Румяной зарею покрылся восток...»

Пушкин, конечно же, раньше всех. Вот еще одно устаревшее слово — РУМЯНЫЙ. При Пушкине еще румянец был. И слово, соответственно, было употребимо, ибо соответствовало. Да и самому Пушкину этот румянец был свойственен. В Лицее он самый румяный мальчик был. Румянец характеризует его не меньше, чем кудри и бакенбарды. Кто хоть раз видел его живым... Опять не мы.

На Пушкина тут один был похож. Румянцем и лицом. Головка Пушкина сидела на здоровенной, впрочем, шее молодого хозяина, чья была Софи. Старший хозяин, его отец, в крепости и румянце ему не уступавший, лицом поразительно походил на моего отца. Сходство это еще подчеркивалось тем, что я только что как раз о нем вспоминал, о своем отце... Только он был жив и здоров. Таким здоровым он никогда не бывал, когда был жив. ПЫШУЩИМ здоровьем... Если столько было в русском языке точных и разных слов для описания здоровья, может, и здоровье было?

Он сидит во главе стола, мой отец, — благословляет. Передает бразды правления своему сыну... Как описать теперь еще и мужской румянец? Лица их в трешинках, как кора, оттого будто они все подсмеиваются над тобой и подмигивают, что лучики эти разбегаются вокруг глаз и рта на поджаренной коже, а ты отламываешь в этот момент поджаристую корочку от поросенка, как Ворошилов у Искандера, и тост... за тебя,

оказывается, его и произносят. На лица их падает вечерний свет, как на стволы деревьев в лесу на закате, доказывая, что в коре не меньше жизни, чем в листочке и цветке, и глядя в их... хватит подбирать слова, как нищий! — глядя в их *честные* лица... не могу я осудить ни их ясную хитрость, ни их довольство собою.

Мы в верхней, парадной половине дома, в которой никогда никто не живет. Здесь паркет. Здесь ковры, и хрусталь, и полированная мебель. Здесь отделанные серебром рога и кинжалы. Здесь красивая картина на стене: тигр грызет девушку, и грудь ее обнажена под луной — она же смотрит на нас прощальным, фригидным взором. Но это не Руссо. Это подлинник.

Здесь как раз все — купленное. Самое дорогое. Чем не пользуются. Ради чего все. Не хуже, чем у людей. Как у людей. Лучше, чем у соседей. Жизнь и работа кипят на первом этаже, на уровне грешной земли ради построения этого домашнего рая на этаже втором, где при жизни никто не то что недостоин, но *не успевает* пожить. Много дела внизу — на второй этаж бегать. Хотя именно там, за залой, в которой мы сидим, просматривается и главная спальная комната, опять же гарнитурная, с арабским бельем и шелковыми одеялами: все самое лучшее и дорогое — «для простого человеческого счастья». В ней тоже не спят, спят тоже внизу, умаявшись за пахотный день, свалившись на продавленную койку. Что здесь не спят — в данном случае не образ и не домысел: пол устелен слоем орехов и хурмы — их достигает сейчас прощальное солнце, — и, обретя угол зрения в щель приотворенной в спальную двери, я люблюсь этой внезапной живописью до тех пор, пока... Пока Софи не заметит моего взгляда и не прикроет дверь. И вот в чем тогда вопрос: для того ли она прикрыла дверь, чтобы я не видел кровать, или для того, чтобы я не видел хурмы? Непорядок ее смутил или супружеское ложе?

Софи, и ее старшая невестка, что депутат АССР, и ее свекровь, и еще одна тетушка — все в косыночках — выстроились в дальнем краю стола и доброжелательно оглядывают наше мужское застолье. Старшинство у них по возрасту, а не по званию: свекровь, которая никакой не депутат, заметив, на ее взгляд, непорядок, шепчет депутату АССР, та депутату СССР, и расторопная Софи бежит то с сыром, то с курочкой.

Ну, как тут не полюбить Советскую власть! Когда, дотянувшись своей имперской рукою до самого захолустья, она ласкает своего опального поэта неожиданно материнской лаской, будто это не она же прогнала его сюда с глаз долой. Чем хороша машина — что у нее нет умысла.

Советская власть здесь не только была, но и *бывала!* Сам Никита Сергеевич сиживал запросто на соседнем со мною стуле, где сейчас отец. И вот почему все село так заросло колючками. Поколебавшись памятью, назовем их асапарелью. Раз в году, весной, еще нежные и зеленые, колючки эти становятся лакомством. В остальное время года они только колючки. Никита Сергеевич посетил их как раз в сезон асапарели. Он полюбил этот вкус, ни разу до того не отведавший. Поскольку кукурузу в Абхазии насаждать было нечего, ибо все там на мамалыге выросли, то и помечтал он вслух, что асапарель, обладая столь заграничным именем, может принести стране валюту, что и было взято на карандаш, а затем и учтено местным руководством, находившимся, естественно, неподалеку, то есть в той же комнате, где мы сейчас. И началась кампания по внедрению новой сельхозкультуры. Асапарель перестала быть съедобной на следующий же день, как он уехал, а Абхазия стала непроходимой из-за колючек. Хрущева сняли, и асапарель схлынула, застряв на границах участков как естественная изгородь. Таким образом, свирепость местных изгородей объясняется не только хозяйственной надобностью или кулацкой сущностью.

Так вот откуда богатство! Двор сей был благословлен тем визитом, и с тех пор тружеников не трогали. Они же воспользовались нишей, чтобы потрудиться. Без власти — никуда... Надо дружить с нею. Интересные памятники сохраняет за властителем время: украинский Крым, однако, и продвинувшуюся на двести километров к северу границу кукурузы, и заборы из асапарели!

Не знаю, записана ли эта история в энциклопедию абхазской жизни творцом «Козлотура», и здесь уже нет сил поймать себя на том, до чего же он мне мешает! А я и не намерен писать *лучше*.

Я — о другом: зубик Люсин чуть опять не потерял...

Следует последить за собою, а тем более за *ним*. Ведь что я *ему* велел! Я *ему* приказал ни в коем случае не пить вина, которое как раз все и пьют, проложив для начала лишь первый стаканчик чаи. «Вино тебя погубит!» — внушал я *ему*, разрешив лишь понемножку (в нарушение обычая, который мне в виде исключения разрешили нарушить как гостю) пригубливать из непрозрачного стаканчика ту же чачу. «По крайней мере, не мешай!» — брезгливо сказал я *ему*. «Закусывай», — советовал я *ему*, как мама. Нельзя было распастся в столь честной компании! Назовем это чувством собственного достоинства. Тем более хозяевам было с кем сравнивать. Тут до меня не только Никита

Сергеевич, но и президент США должен был приехать, но не приехал, Евтушенко — частый гость и другие писатели, иностранные — Грин? Белль? — да, кажется, они. Хемингуэй не приезжал. Этот англичанин неплохо пил, да. Но тоже — только чачу. Тогда это точно Грин.

Выпили за народы. Это особый, вроде бы только местный тост. Не в смысле интернационализма или дружбы народов. Досоветский, оказывается, еще тост, традиционный. Мол, Бог так создал, что есть народы — чеченский, эстонский, молдавский... и слава Богу! Это хорошо, что есть народы. Ну, как тут не пригубить единственному русскому, находящемуся в счастливом для себя меньшинстве!

Традиция тостов, чем она хороша: ее не перехитришь. Победить стол можно только в честном бою. Как не осушить стакан за народы, за землю, которая подарила этот стол, за родителей, которые нас за него усадили, за предков, которые единственным образом подобрали нам родителей, за живых (дай Бог им здоровья!) и за мертвых, что сейчас живы в этом твоём стакане; за тех, кого нет с нами сейчас, но они все равно с нами, а за тех, что есть... то это такой замечательный народ собрался, что за каждого по отдельности надо, и лишь за самого себя можно, скромно потупившись, взять и не выпить. А если учесть, что, пока вся череда тостов, без единого упущения, не будет исполнена, из-за стола никто не имеет права подняться (а тосты пьются стаканами), что встать по малой нужде позор для мужчины, то ничего удивительного, что в Абхазии достаточно распространены заболевания мочевого пузыря, что и позволяет мне намекнуть собранию об одном возможном великом родстве абхазов с астрономом Тихо Браге, который носил серебряный колпачок вместо отрубленного в юности на дуэли носа, а умер достаточно старым, но уже не от сабли или кинжала, а от разрыва мочевого пузыря, ибо, будучи призванным в придворные астрономы в незнакомую страну и не зная обычаев двора, не позволил себе на всякий случай встать из-за стола, не зная, что там принято, а что не принято, и такое неумолимое следование чисто абхазским традициям не может не означать, что мать его была абхазка или убыхка... и эта моя гипотеза выслушивается с неожиданным вниманием и принимается на веру, то есть как факт.

Как силен бывает человек, когда его мало! Когда ему надо доказывать миру, что он есть, и еще самому в этом не усомниться. Любое подтверждение со стороны покажется опорой. Еще недавно существование их для себя было настолько несомнен-

ным, что они воровали друг у друга коней и женщин и продавали их. Женщины славились и оказывались украшением гаремов в такой дали от родины, что теперь при желании по материнской линии можно начертать самое неожиданное родство. Прославленные янычары или сейфульмулюки вдруг окажутся из нашего села, а там и до Наполеона рукой подать. После мехаджирства, самоубийственного исхода абхазов в Турцию в начале нашего века, счет на абхазов и неабхазов пошел другой: родство приходится пересчитывать на пальцах. Так, из двоюродного абхазам племени убыхов не осталось вообще ни одного. Они ушли, растворились и исчезли вместе с конями и женщинами, оружием и кухонной утварью, песнями и танцами, обычаями и языком. И языка не стало. И если бы один немец, в смысле иностранец, слыхом не слыхивавший об абхазах и убыхах, собиравший фольклор в Центральной Африке, не наткнулся на одну древнюю негритянку, которая стала рассказывать ему сказки на неизвестном ему, то есть и несуществующем, наречии... Немцу не досталась слава ни Шлимана, ни Дала, но — «слава тевков безмерна» — я не вижу подвига выше, чем спасение чужой славы. Девочкой негритяночка была продана в Египет, прислуживала в некоем гареме, куда к тому времени поступила партия убыхок, в доказательство чего она раскуривала трубку. Немец записал на магнитофон ее непонятный старческий лепет, и, освободившись от неведомого ей самой долга, она тут же вверила свою легкую теперь душу жалевшему ее Богу...

— Так как, ты говоришь, этого Тихого звали?

Хорошо выпивать за народы!

— Он был дворянин, у него предки ходили в крестовый поход к Гробу Господню, и один из них привел за собою красавицу, якобы турчанку, спасенную им из рабства; про нее ничего не известно, кроме того, что она курила трубку и была его бабкой.

— Очень может быть, если трубку курила, — соглашаются со мной. — Ты думаешь, это она его приучила не вставать из-за стола?

— Очень может быть, — соглашаюсь и я. — Но, умирая, однако, завещал он начертать на могильном камне: «Жил как мудрец, помер как глупец».

И это оказалось правильно всеми понято — мы поднялись наконец из-за стола. И тут я мог быть доволен не только собой, но и *им*, настолько все, кроме хозяев, были пьяны, что можно было только восхититься, с какой легкостью и насколько не шатаясь спланировал *он* в моих особенно белевших в легких

сумерках джинсах на ставший из изумрудного темно-зеленым газон.

Но если бы это было все!

Здесь, на лужку, с уже скраденными сумерками очертаниями двора, когда все строения выглядели не такими прочными и новыми, патриотическая рефлексия по поводу чужого богатства не так сотрясала меня. Что сетовать об утраченных традициях, погружаясь безвольно в нищету... Вовсе не традиция — наше богатство, а богатство и есть традиция. Так заключал я, вычисляя ту глубину участка, куда скрывались по одному как бы не за тем, сохраняя мужское достоинство, гости. И, исчислив с точностью, оказавшись в дощатом, чисто русском домике, изгоняя образ бесславной смерти Тихо Браге, вспомнил я вдруг небесную северную деревеньку Турлыково, где все это когда-то было: и колодец, и колонка, и неистоптанный лужок, и резные крылечки, и наличники. Возвышалась деревенька как храм на пригорке, и когда ты взбирался туда, то и оказывался в храме, из которого можно было помолиться на весь Божий мир, который тут же к тебе подступал, тут же тебя окружал нетесным, но близким кольцом, тот мир, которого вполне тебе хватало, и лес, обнимавший поле, вставал монастырской стеною, и на одной возвышающейся над ним сосне можно было различить явственный крест. Жили же! И — было!.. Теперь там не жили, храм был покинут со странной, бросающейся в глаза внезапностью: ложки в буфетике и платице в шкафу на вешалке... Что за бомбежка такая! Выходите, вылезайте, все миновало!.. Так и казалось, что объявятся вдруг красивые жители, радостно галдя и ликуя, что ничего не порушено и все в целостности... Только... Не вернутся они! Вот что страшно. Не захотят, чтобы еще раз... Будто коллективизация и есть тот пресловутый русский приоритет в изобретении нейтронной бомбы: все целехонько, только человека нет. Мы еще вернемся в Турлыково! — с радостной дрожью в спине успел подумать я, и тут так же радостно, сильно и нежно задрожал подо мною газон, и откуда-то *оттуда*, из сумерек хозяйственных строений, с удивленным ржанием выбежал Конь. Лошадь вырывается вперед из повествования, с легкостью обойдя тигра, кота, дракона и змею... О, что это был за зверь! Птица! Существо! Существо-конь вылетело к нам, не веря ногам своим, прямо в сад. Оно еще не знало, куда мчаться, но уже мчалась его душа; казалось, что он был стреножен мощью собственного тела и должен был сначала выпутаться, вытоптаться из него, вырваться из себя самого, как из следующей, после только что покинутой, темницы. Масть его была уже неотчетлива, но качество ее светилось:

то крупом, то боком отражал он не взошедшую еще луну. Совсем было поверив в свободу, издав победное ржание, рванул он было, но тут же испуганно шарахнулся, приняв яблоневую ветвь не знаю уж и за что. Яблоко ударило его по морде, он схрупал его с детским восторгом. И будто сердце его не выдерживало уже одновременно три счастья: волю, движение и поднесенное прямо ко рту яблоко, — бок его судорожно вздымался, как от скачки. Он метался в этом лошадином раю, мелькая меж побеленных стволов, как зебра, и яблоко само бросалось ему в зубы; лунно-зеленый сок струился по его лицу, и над всем этим испуганно и бесстрашно торжествовал его косящий, ржущий глаз. Если есть яблоки, то есть и рай. Если рай для нас, то там будет конь. Иначе кому яблоки и зачем рай? А если конь в раю, то и мы в раю,

так стояли мы, окружив коня, и скромность так и перла из хозяина, и мои мысли о смысле богатства показались мне жалкими, ибо это был Конь. Все эти дефиниции своего и собственного, созданного и приобретенного оказались местечковыми марксистскими выкладками. Да, конечно, конь этот был куплен, но не как телевизор или ковер и даже не как автомобиль. Он был не для надобности. Он был для скачек. И в этом году он еще не выиграет, но в будущем выиграет безусловно, и

так не смотрят ни на любимую женщину, ни на твоего от нее ребенка, как смотрят на Коня;

есть зависть нормальная, бытовая, безопасная, которую приятно возбудить в соседе, урожаем, или женой, или подрастающим сыном, или новыми «Жигулями», но есть зависть огромная, как Конь, она гарцует в тебе и топчет душу, зависть с зеленой яблочной пеной на губах, и с нею надо поосторожней,

и это есть момент, когда подносит хозяин гостям прощальный рог. И рог этот был величиною со слоновий бивень.

И помещалось в него как раз две бутылки вина.

Я еще думал, что рог пойдет по кругу...

Но хозяин, младший, похожий, как черт, на Пушкина, показал, как это делается: *на одного*, — поглотив единым духом, не прерываясь, содержимое рога. И пока его наполняют снова, и я гадаю, кто следующий, а отец его, так редко, так по-братски похожий на моего отца, только прожившего другую, параллельную, секретную от меня жизнь, с ее воздухом, трудом и здоровьем, так по-отечески доброжелательно и поощрительно поглядывает на меня и посмеивается, будто втайне мною довольный,

то думаю я, наверно, о том, что, Господи, неисповедимы пути Твои и мог бы, мог бы я вполне быть его сыном; что протянулась с неба великая рука с моим зернышком на ладони, и был я зачат в Анапе («Анапа» по-абхазски «протянутая рука») — так это же факт. Японцы считают возраст человека с зачатия, так почему бы не Анапа — моя родина? Только случайность станет единственной, обрекая тебя на судьбу...

Рог был протянут мне, и, пока я отнекивался, *он* уже рвался к нему. Я умолял, я хватал *его* за руки, я обоснованно утверждал, что это *его* погубит, что *он* не осилит, что *он* опозорится, что *он* вырубится, — бесполезно! *Он* вывернулся из моих объятий и вцепился в рог. Ощущая себя конем, *он* чуть ли не ржал. *Он* скинул сандалии, по-видимому, для большего подобия, и, потоптав босыми пятками абхазский агазон, изрек: «Земля, помоги мне!» И так, решив, что *он* стал наконец на почву, *он* приник. Мне оставалось лишь с тревогой следить за *ним*. *Он* пил и пил, и рог его поднимался. Я и в трезвом-то виде не могу слишком задирать голову, опасаясь головокружения. Как *ему* хватало дыхания?.. Голова запрокидывалась, и рог поднимался все выше, и, стоя в прямом смысле на земле, увидел *он* взошедшую ни с того ни с сего, словно выпрыгнувшую из-за горизонта, луну. Было в ее изгибе что-то хищное, как у барса в прыжке, вцепившегося в жертву. И так, не столько удерживая, сколько держась за рог, повис *он* на нем между землею и луной, как пионер-горнист в парке, да так и застыл, протрубив последнюю, победную каплю. Под дружную одобрительную овацию *он* стоял. «Ну, ну, — подумал я, — посмотрим, как ты будешь дальше». Но и дальше *он* ни разу не упал, а еще сумел торжественным жестом вручить опустошенный рог следующему и не покачнувшись сойти с арены.

Посадить *его* в машину было уже труднее. *Он* ползал на четвереньках по газону и плакал. «Зубик! Зубик Люсин потерял...» — причитал *он*. Никто, кроме меня, *его* не понимал.

Он успокоился наконец у меня на груди, свесив голову, убаюканный автомобильной тряской, обнимая Люсин череп, как ребенок игрушку.

Не доезжая Сухума, *он* очнулся, неожиданно четкий и решительный, расслышав нежное ржание, и попросил остановиться. Все были рады слегка освободиться от абхазского пососка, но *его* занимало даже не это. *Он* спросил, не тот ли это пансионат светится за железной дорогой... и ему подтвердили, что тот, тот самый, как *он* угадал? Страшная догадка мелькнула во мне: этого нельзя было ни в коем случае допустить! — но *он*

тут же подтвердил мое опасение, заявив, что никуда дальше не поедет, что заночует в пансионате. Как я надеялся, что абхазские друзья этого не допустят! Но они, посоветовавшись, сочли его вполне вменяемым. Я удерживал *его* из последних сил, но *он* всегда был сильнее меня. «Да отъебись ты!» — зло выкрикнул *он* и вырвался из мои пьяных рук. И побежал.

Он бежал, как ему казалось, как конь. Напрямик, через железнодорожные пути и заросли асапарели; мало что оставалось от моих джинсов. И наконец, проломившись сквозь последние камыши и осоки, прогремев галькой по берегу, рухнул, не раздеваясь, в море и поплыл. «Да отъебись ты!» — приговаривал *он* в такт каждому своему гребку в ответ на мои захлебывающиеся призывы. У меня не хватило сил, я выдохся и отстал.

Он заплыл довольно далеко по лунной дорожке, эпически пофыркивая, как фольклорный конь, любуясь собою в фосфоресцирующих пузырьках, будто *он* был все это: и море, и конь, и лунная дорожка. *Он* чувствовал себя нарзаном, налитым в бокал, хотя более походил на таблетку алка-зельцера, в него брошенную. Растворившись в ночи, *он* выходит на берег с легким ржанием, как бы из морской пены рожденный, ровно напротив светящегося во все окна пансионата. *Он* целеустремлен. *Он* метит в яблочко.

Я умоляю *его*. Именно вот этого *он* себе не простит никогда. Этого нельзя делать ни в коем случае. Это падение. В самом его смысле. Остановись!

«... я тебя!»

И *он* был прав, потому что это *он* именно меня...

Это я был мокр, грязен и пьян, а *он*, ловкий, как Джеймс Бонд, крадучись, как барс, сразу в смокинге и с розой в петлице, и она увидела именно *его*, а не меня, судя по восторженному ее взгляду, принимая только что варварски сорванную на главной клумбе розу; это они вдвоем, даже не перемолвившись, тут же бегут, взявшись за руки, на пляж, в ночь, в темноту, в море, *он* с приличествующим ему ржанием, она со счастливым повизгиванием; это они раздеваются на бегу, роняя свои хитоны и туники, сбрасывая с себя *все*; это они плещутся и играют, как тритон и наяда, фосфоресцируя друг для друга белыми задницами, целуясь и обнимаясь в открытом море, прекрасно зная, что это только они видят светящийся во все окна пансионат, а тот, дурак, их не видит — щурится, всматривается, а не видит... и здесь, в прибое, у всех на виду, *он* наконец попадает в десятку.

Он опрокинул на себя ночь. он эту ночь!

.... и море, и пансионат, и его светящиеся окна, и всю прозу: и коня, и яблоки, и рог, и народы, и лунную дорожку, и небо, и звезды, и саму матушку-сыру землю, в данном случае состоявшую из остывающей уже гальки, и невидимые уже кусты, защитившие их от освещенной променадной дорожки, и эту променадную дорожку с доносившимися оттуда возбужденными голосами отдыхающих, и этих отдыхающих, и их голоса, и шары фонарей над этими голосами, мать их, эти шепчущиеся фонари, и пограничную вышку, мать ее, и гуляющий по прибрежной полосе луч прожектора, пока что заботливо их огибавший, мать его, и цикад, не умолкающих по той же причине, и ветерок повеявший, и волну набежавшую, и волну отбежавшую, то звезды, то гальку, то прибой, и — море, море, море! — в Грецию, в Медитеранию, в Рим!

Разговор по душам, тела с душою...

II. КОРОВА

25 августа 1983 года. Шесть утра. Медитеранский пейзаж. Чисто-чисто. Подметенные розовые тени. Утренний мусор на берегу моря. Тело. На нем что-то бывшее когда-то белыми джинсами. Он бос. Сандалии — одна в руке, другая так. Разговор души с телом.

Двое возникают над ним.

— Откинул сандалии...

— Вы хотите сказать, что он не жив??

— Я не хочу сказать, что он не мертв, доктор.

— Но за одну-то сандалию он держится...

— Тогда значит он полумертв.

— Но это же значит, что он полужив!

— Это значит всего лишь, доктор, что он мертвецки пьян.

— Очень-очень любопытное выражение, знаете ли... Значит ли оно...

— Вот-вот! Вы почти догадались. Вопрос в том, кто такой пьяный. Мертвый или спящий? Отрубился, отключился — это что?

— Не хотите ли вы сказать, многоуважаемый коллега, что есть жизнь, есть смерть, а есть и ПАУЗА?

— Очень близко, доктор. Считать ли его трупом или телом?

— Выходит, что пьяный — это не то и не другое?..

— Кто такой пьяный — это еще более сложный вопрос, доктор. Вопрос в том, в чем заключается смертный грех — в грехе или в смерти?

— Может быть, ответ в том, сколько он выпил?

— Ну да. Капля убивает лошадь, а литр — человека... Все-то вы не договариваете, доктор.

— Мне кажется, я выразился вполне ясно, многоуважаемый коллега. Все зависит от дозировки.

— Дозировки... Много — этого много, а мало — это мало. Это опыт, а не мысль. Главное условие — это ритм. Сначала задрожало время. Тикнуло и пошло.

— Время действия?.. Вы думаете: как часы?

— Так вот какой вы ученый! Еще коллегой обзывается... Вот и ОН думает, что он нас написал... Значит, вы полагаете себя умнее? Так-так... Тогда скажите, сколько сейчас будет блинов?

— Блинов?.. — Доктор Д машинально взглянул на часы. Павел Петрович рассмеялся, довольный. Подкинул плоский булжничек и поймал.

Бухта была круглая, как тарелка. Море за ночь совсем успокоилось и застыло. Сытое и гладкое, оно было в таком избытке, что даже загибалось по краям, как некая непомерная медуза.

— Давайте сыграем в такую игру, — сказал ПП, примериваясь. — Угадаете — бутылка с меня, не угадаете — бутылка с вас.

— Во-первых, как я могу угадать? А во-вторых, где я достану бутылку?

— Как говаривал Наполеон, достаточно во-вторых.

— При чем тут Наполеон? Вы имеете в виду коньяк?

— А у вас губа не дура, доктор, — рассмеялся ПП. — Давайте на «Наполеон».

— На «Наполеон» я не потяну... — сказал ДД, доставая то трешку, то пятерку, то рубль.

— Вот это мужской разговор. Значит, на бутылку?

ДД все еще не был уверен...

— Да это, знаете, как-то... последние... Я вчера, понимаете, тоже как-то... поиздержался... Коллеги, сами понимаете...

ПП вздохнул и в сердцах, не глядя, выкинул камень в море. Тот, однако, запрыгал по густой воде, как живой, как лягушка. И так и прыгал до самого горизонта.

— Вам это ничего не напоминает? — таинственно, шепотом спросил ПП, склонившись к докторову уху.

— Ну да, детство, конечно. У меня не получалось. Больше трех раз никогда не получалось. Я так завидовал таким, как вы!..

— Пустое, — небрежно буркнул ПП. — Вопрос тренировки. Точность жеста, и только. Я ведь, как-никак, скульптор.

— Надо же! Впервые вижу живого скульптора...

— А вы что, много мертвых видели? Не обижайтесь, шутка: ха-ха.

— Да нет, ничего. Не очень не смешно.

— Вы молодец, доктор. В любой профессии чувство юмора не повредит. Ведь вы, если не ошибаюсь, по птицам?

— По птицам... как вы догадались?

— Да я в кустах сидел, видел, как вы перышком любовались. С большим чувством юмора существа.

— Вот как! Вы тоже это отмечали? Это же надо хорошо их знать.

— Я их знаю неплохо. Да вы не удивляйтесь так уж, просто в детстве певчими птичками промышлял. Вот вы изволили, доктор, поиронизировать насчет часов... А ведь я не просто камень — я наглядное пособие в море выбросил...

ПП со вкусом выдержал паузу, но и ДД ее выдержал.

— Вы отметили, что первый блин длинный, второй покорооче, третий еще... ну и тэдэ. Что это означает?

— Ну, если вы хотите перейти на математический язык, то это линейный график отрицательного ускорения.

— Вот как... надо запомнить. Но это все равно внешнее описание. А маятник часовой это вам не напоминает?

— В общем-то нет. Ну, разве если подвесить этот камень на нитке...

— Ну, зачем же вешать, доктор? Это, вы знаете, как армянская загадка: висит, зеленая и пищит... Знаете загадку? Вот и хорошо. А я как раз математический ваш смысл имел в виду, насчет ускорения. Маятник, когда до конца доходит, что делает? О-ста-нав-ли-ва-ет-ся. А чтобы остановиться, он что делает? За-мед-ля-ет-ся. Улавливаете?

— Естественно. Затухание маятника.

— Затухание... Прекрасно! А что это значит?

И на этот раз оба выдержали паузу.

— А это значит, что даже часы, чтобы идти, должны останавливаться каждую секунду, не то что время! Часы — это только ритм, и не более, условно отбивающие нам такт суток. Время они не измеряют, это знает каждый мыслящий человек. Но часы и не так наивны, как про них считает тот же мыслящий человек. Как, например, вы... Вы думаете, я на вас обиделся? Я за часы обиделся. За мастеров.

— Ну, мастеров-то я никак не затронул... Часы и часы. Идут.

— Вот именно! Мастер — чем отличается от ученого? У него чу-у-увство есть! Часы-ы-ы... — ПП презрительно фыркнул. — А над каким еще изделием человек так мудрил, как над часами?.. Как только он их не украшал! Какой бой, какие репетиции! И из чего только он их не мастери! Хрустальные, фарфоровые, золотые, соломенные... Воляные! Он, человек, ну просто из всего делал часы... Кончал одни, начинал другие. Зачем? Даже за наш с вами век, когда и мастеров-то не осталось — одна промышленность, каких только не поведумывали часов! Уж те, что в молодости были, так и вспомнить трудно.

Помните, как когда-то гордились: антимагнитные, антиударные, непромокаемые... Где теперь эти ветряные мельницы? Теперь и электронные — вчерашний день... Теперь в них и радио, и компьютер, и телевизор вделан. Зачем столько?

ДД все еще не склевывал наживку. И ПП продолжил:

— Да потому, и только потому, что не время они часами измеряют! А свое отношение к нему! Часы — это вещь культовая, ритуальная, а не практическая. Вы и опаздываете и поспеваете вовремя не потому, что пользуетесь часами, а потому — надо вам что-либо или не надо.

— Bravo! — откликнулся ДД. — Это так. Насчет опозданий — это вы точно. Я, кстати, как раз заболтался с вами и уже опоздал. Кстати, куда мы идем?

И действительно, та круглая бухта, в которой они повстречались, уже была не видна. Берег вытянулся длинной скучной полосой, и солнце уже высунулось краем из-за гор.

— Опоздали? — обрадовался ПП как собственной победе над временем. — Вот и хорошо. Не очень-то вы и расстроены, как я погляжу. А вам куда надо-то было?

— Да коллеги хотели показать мне некую реликтовую рошу, а потом везти к обезьянам...

— Реликтовую... — возликовал ПП. — Так мы ровно туда и идем. Вы, может, еще и не опоздали. Мы их всех там и встретим.

— Все-таки забавно вышло... Заговорились о часах и забыли о времени...

— Зам-мечательно! Замечательно все вышло! О времени мы еще и не начали говорить. Теперь вам спешить некуда — можем и поговорить. Если это вас интересует, конечно...

— Откуда у вас такой интерес к часам? Это профессиональное? Вы интересуетесь ими как скульптор?

— Скульптор... Занятно. В вас виден ученый. Наблюдение ваше точно. Спасибо за идею. Конечно же часы — это прежде всего скульптура. Нормальная кинетическая скульптура, выражаясь языком авангарда. Так сказать, памятник времени. А чему еще человек возвел столько памятников? Ленину со Сталиным столько не снилось. Когда-то мне случилось ремонтировать часы с Лениным...

— Что, есть такой памятник Ленину с часами?

— Да нет, нормальные каминные часы, с боем «кремлевские куранты». Я тогда часовщиком работал...

ДД счастливо рассмеялся.

— Кажется, вы меня выкупили, Павел Петрович...

— Да нет же, голубчик. Вот не верите, а часовщиком я правда работал. Так что я вас еще не выкупил... Хотите, выкуплю? Давайте сыграем в такую игру... Если угадаете, сколько блинов, то вы мне бутылку, а если не угадаете, то я — вам...

— То есть как, позвольте? Я не понял... Если я угадаю, то я и проигрываю?

— Какой вы недоверчивый, право. Право, ученый. Душит вас логика. Сами же говорили, что угадать вы не можете. Я вам предлагаю более выгодные условия. Можно сказать, с вашей точки зрения, беспроигрышные. Ну?

ПП уже держал в руке подходящий камень.

— Ну, ладно, — посмеивался ДД. — Разве вам хочется проиграть, а не выиграть?

ПП сделался печален.

— Да, я страстно хочу проиграть. Но я никогда не проигрываю. И это, поверьте, даже скучно.

— Но я же сейчас скажу наобум — и вы проиграли...

— О, как бы я хотел надеяться!

— Ну, как хотите...

— Ну, — ПП застыл в позе «юноши, играющего в свайку». — Помните, у Пушкина? «Юноша бодро шагнул, наклонился рукой о колено...»

— Ну, восемь.

ПП тут же метнул.

— Раз, два, три... — отсчитывал ДД. — Шесть, семь...

Камень вдруг остановился и камнем же пошел на дно. Как нырнул. Как живой.

— Восемь... — как-то по-детски жалобно сказал ДД.

— Трудно даже скрыть, как я огорчен, — сказал ПП, принимая от ДД деньги. И скрылся в кустах.

И ДД в задумчивости почесал себе нос.

Нам трудно сообщить в точности, что он думал. Мы подслушиваем и подсматриваем, не более. Однако его вид красноречив. С одной стороны, нос чешется обычно к выпивке. С другой — не такой он дурак, чтобы надеяться на возвращение ПП. С третьей, раз так — с утра он не собирался. Даже вот пробежался до моря с намерением искупаться на рассвете. Вид у него вполне пляжный, хотя в принципе ни купаться, ни загорать он не любит, поскольку по роду своей деятельности всю жизнь проводит на пляже. Поэтому либо-либо. Чтобы сотрудники не разленились, он должен подавать пример: у себя он не купается и не загорает. Но здесь — другое дело. Здесь он может себе это позволить. Он в шортах, кедах, в дурацкой

кепочке с долгим козырьком, с полотенцем на шее. И вот, так и не искупался. Этот тип... С одной стороны, он впервые встречает такого. С другой — он подозрительно что-то далекое, но с ним самим бывшее напоминает... И вот ДД силится и никак не может вспомнить. Он прохаживается, внезапно брошенный ПП, по кромке воды, по бережку — все в профиль и в профиль, поклевывая головой и высоко поднимая свои тонкие, долгие ноги, и его длинный козырек еще более подчеркивает его сходство с предметом его занятий — с птицей. Так он прохаживается и размышляет, и то, что размышляет он о ПП, на этот раз можно утверждать точно, потому что он выискивает из всей гальки камни поплотнее и пробует их забросить, но они у него никак не прыгают, а тонут опять же как камни: идут на дно.

И тут он смеется, удовлетворенный своей потерей.

И он решительно раздевается до трусов, чтобы тут же наконец искупаться. Но, раздевшись, он в воду не идет, а садится и смотрит на море, каким-то образом снова умудрившись оказаться к нам боком.

Так он голо сидит, как большая общипанная птица, и теперь, наверное, сравнивает моря: свое, северное, Балтийское, с этим, южным, Черным. Никакого сравнения! Бесптичье. Песка нет. Этот серый цвет гальки на прибрежной полосе все губит. Не только с фауной, но и с флорой тут как-то хуже. Надо все-таки дойти до так называемой реликтовой рощи. Пока солнце...

Пока солнце не добралось до пляжа. Оно уже совсем вышло из-за гор и зависло над ними как луна. Оно осветило все море, и море стало действительно *черным*. Как нефть, как ртуть, как амальгама, как зеркало... как вакса, как начищенный ботинок. Что-то такое. ДД передумал купаться.

Он еще потоптался: возвращаться или идти вперед? Туда, где реликтовая роща. Если этот тип не соврал... Но если и соврал, то как далеко?..

Он видит наконец птицу. Это всего лишь чайка. Но все-таки.

И он идет туда, где чайка. Вперед-таки, а не назад. Как журавль вышагивает он, поклевывая своим козырьком на север.

Зачем он сюда приехал? Строго говоря, сачкануть. Искупаться. Купаться не хочется. Реликтовая роща и предстоящая экскурсия к обезьянам его не так уж интересуют. Обезьяны его не интересуют, потому что он про них ничего не знает как специалист. В какой-то мере они интересуют его только в связи с человеческой популяцией. По этому поводу у него с какого-то

момента, опять как-то таинственно связанного с ПП (он-то тут при чем?..), все чаще появляются запретные, непрофессиональные, но такие заманчивые соображения... Он вдруг обнаружил, что, если честно, про птиц ему уже давно неинтересно, что только об одном животном ему интересно — о человеке. И чем интереснее, там страшнее. Вернее, чем страшнее, тем интереснее. Это научный адюльтер.

И Черное море его не интересует. Интересует его в нем только сера. Да, тот самый донный серный слой, который продолжает расти, оставив лишь несколько десятков метров для поверхностной жизни. Этот слой его интересует тоже с точки зрения жизнедеятельности человеческого вида. Но то ли тут, на юге, все бездельники и неквалифицированные люди, то ли тут секретность какая... но никаких более точных данных о динамике серного слоя, чем те, которыми он сам располагал, он пока не получил. И никто не подсказывает, где их получить. Скорее, сами не знают...

Сам обезьянник его не интересует. Тем более их опыты. Все это, прежде всего, не на уровне Драгамашенка этот... Говорят, у него есть закрытая лаборатория, как-то связанная с человеком. Но он никак не колется. Не колется, потому что нету ничего или потому что и нечего? Секретность или вид секретности? Никакой Драгамашенка не биолог... Зато не колется он как профессионал. А вот сам ДД вчера раскололся. Раскрылся, разрылся. Не надо было ему вчера о человеке рассуждать. Хватанул у них спиртика лишнего. Еще бы, эта беленькая, Регина, что ли?.. Так в рот и смотрела. Спирт у них, кстати, куда лучше, чем у него на станции. Казалось бы, одна и та же Академия наук, а спирт разный. Что, обезьянам, как начальству над птицами, лучше спирт положен?

Эта мысль должна была повеселить ДД, ибо она опять не о птице и обезьяне, а о человеке. И потому в экскурсию к месту естественного расселения обезьян он, конечно, поедет. Во-первых, он никогда вблизи не видел приматов в стаде: очень манит присмотреться к социальной структуре их сообщества... Обезьяна на воле, в России, при социализме!.. Мы не на воле, а она на воле! Рассказывают, что свобода сразу привела к расцвету вторичных половых признаков: гривы их разрослись, как у львов, и ягодичные мозоли расцвели как розы. Зато хвосты подмерзли: все-таки Россия, хоть и без клетки. Опять же сами пропитаться не могут, требуют подкормки — это уже пережитки социализма... Хм. Надо поехать.

Но тут мы уже нарушаем собственные установки — начинаем думать за ДД.

С уверенностью можно утверждать лишь то, что он вдруг выходит из задумчивости и начинает поспешать. Потому что что-то там впереди... Много чаек, гвалт. Вроде даже человек...

Про ПП нам как-то проще подумать, что он подумал. Куда труднее предвидеть, что он скажет.

Во-первых, не как ДД, мы видим ПП все более анфас. Может быть, потому, что он все время говорит, а мы слушаем. Анфас — он еще короче и шире доктора, чем на самом деле. Так вроде они почти одинаковые и по росту, и по весу, а впечатление совершенно разное. Кстати, очень забавно было их наблюдать вдвоем: один все время в профиль, а другой анфас, один высокий, другой короткий, один тощий, другой не то чтобы толстый, но как бы толстячок и почему-то кажется с лысинкой в отличие от ДД, хотя это не правда: ПП совершенно не лыс... Забавно их было наблюдать вместе, и жаль, что они так быстро расстались.

Получив деньги, ПП так и ринулся, анфас, как кабанчик какой, в кусты. Приземистый и крепенький, он быстро даже не прошел, а прокатился по прямой, словно и преград ему не было, словно он не только кусты раздвигал, но и дома, и заборы. И так он прямехонько выскочил на шоссе, к самой автобусной станции. А около нее раскинулся и скромный, пыльный базарчик с двумя курами с перевязанными сапожным шнурком лапками и закатившимися от полного ужаса жизни глазками, с тремя арбузами и связкою чурчхел, но он на все это смотреть не стал, а прямо подошел к одному сморщенному, поросшему непомерной седой щетиной старичку, дремавшему под своей непомерной кепкой (которую когда-то прозвали «аэродром»), так что личика его никак было не разобрать за щетиной и кепкой, но ПП все это разгреб и достиг быстрого взаимопонимания, довольно даже по-божески... И вот он уже с темной бутылкой, заткнутой газетной пробкой, похож на партизана, готового броситься под вражеский танк... точно так нырнул он в забор, как в кусты, и тут же оказался на берегу, но совершенно в другом месте — как раз в том, куда подходил к этому времени настоянный гвалтом чаек ДД.

Это был дельфин на берегу.

Он был достаточно давно мертвый. Над ним уже вовсю трудились мухи; похоже, даже чайки его уже не хотели есть, а только лишь кружили и галдели, впечатленные самим событием.

Событие это и было.

ДД безмысленно смотрел на дельфиний бок, отливавший бельмом и перламутром... «отливавший» — неверно, и «отблескивающий» — неверно, «отражающий» — неверно, и «отсвечивающий» — неверно... никак — неверно. ДД, профессионально наблюдавшему смерть особи, вчуже были мысли о ней — и о смерти, и об особи. А тут вдруг он впервые задумался без всякой мысли. Был ли дельфин окончательно мертв? С одной стороны, он, естественно, не был жив. Но так ли уж он был мертв?..

Утренний свет свободно лежал на его коже и сползал, как взгляд. Бок его просох и, теряя собственное тепло, принимал температуру окружающей среды. Словно солнце сливало его тепло, а не наоборот. Дельфин уже не отражал, но еще и не поглощал: бок его просох от воды, но не просох от света. Неоспоримый факт смерти вызывал недоумение как раз с научной точки зрения. Освобождение от биологической программы, предыдущей каторги пропитания и размножения. Отрешение. Спи. Отдохни. И хотелось спросить: «Что с тобой?»

Дельфин молчал. Не в том, наконец, смысле, что как рыба (ДД, как вы понимаете, знал, что дельфин — не рыба): сказать было нечего. Причем именно тебе, ему, ДД...

Дельфин безмолвствовал. Будто чего-то ждал еще, а оно не наступало.

— Этот уже не оживет... — сказал ПП.

ДД так погрузился, что испугался не на шутку. Тишина лопнула — раскаркались чайки.

— Но воскреснуть он может...

— Дурак ты, боцман! — ДД от испуга почему-то прикрыл срам и смутился уже этого.

— Понимаю, — с подобающим выражением молвил ПП. — Бяда-а... Однако я вас давно жду. Не откупориваю. — И он показал бутылку.

— Могли бы и без меня, — достаточно невежливо буркнул ДД.

Впрочем, не меньше зрелища чужой смерти потрясло его и возвращение ПП.

— Не мог, — отвечал ПП. — Деньги все-таки ваши. — И он засунул сдачу доктору в кармашек.

— Так вы же выиграли!

— Я играл на бутылку, а не на деньги, — с достоинством парировал ПП. — Отойдете за угол, помянем раба Божия Дельфинария...

— Дельфинарий — это не имя собственное, а...

— Знаю, знаю... Давайте все-таки выйдем отсюда, — ПП подталкивал ДД как бы к выходу. — Я наметил местечко...

— За углом? — еще язвил, еще сопротивлялся ДД.

— Ага, — рассмеялся ПП. — Во-он за тем!.. — Он указал на близкий мысок.

— И он не раб Божий никак, — продолжал ДД, уже покорно следуя. — Это мы с вами рабы Божьи... А он...

— Мы-то как раз не Божьи! Мы — восставшие рабы, худшая из категорий: и раб, и не Божий, а он... Да, вы правы: он не раб, но он — Божий. Тварь Божья. Человек, подонок, почему такое слово ругательством сделал? Тварь — значит сотворенная Богом! Это все безбожие наше глаголет! Из уст гады прыгают!

— Но гады — ведь тоже Творения Божьи!.. — ловко возразил ДД.

— Ах, черт! Господи, прости! Вот попутал... Как я легко покушал, старый дурак! — Он был искренне огорчен. — А ведь правда, еще одно доказательство нашего непочтения к Творению. И я опять же прав! Но это, я вам скажу, тема... Это не так просто, с гадами... Вот позвольте... Сюда пройдемте... Славное местечко.

Они расположились.

ПП был как скатерть-самобранка. Это было такое местечко, даже с песочком, меж корнями большой сосны, все присыпанное иголочками, шишечками и прочей милой трухой жизни. Так вот, ПП уселся так, будто сам все это вокруг приготовил, достал прихваченный где-то по дороге стакан, звучно вытащил зубами пробку и набуровил в стакан, повыше половины.

— Вот, — протянул он ДД.

— Без закуски?..

— Мне и прессы хватит, — ПП выразительно понюхал пробку. — А вам... — Он бросил быстрый взгляд окрест и дотянулся до какой-то травки. Сорвал и протянул доктору: — Понюхайте, потом выпейте, а потом понюхайте. Очень помогает. Можете и пожевать, вреда не будет, но это, строго говоря, необязательно. Кто как любит, смотря по вкусу.

ДД и понюхал и пожевал. И понюхал.

— Что за чудо такое?

— Не знаю, как по-латыни. А по-нашему, тускложил называется.

ДД развеселился, так жадно ПП успел его догнать.

— Так ведь она не закупорена даже была, а лишь заткнута... Неужто вы не могли отхлебнуть по дороге?

— Как же я мог!.. — ПП был искренне задет подобным предположением. — Вот вы говорите: гады... Гады у нас уже давно милиционеры, а не благородные змеи. И то и другое несправедливо. И по отношению к ментам, и по отношению к гадам. Оскорбление, как вы справедливо изволили заметить, всегда обоюдно. Неудача в сравнении — оскорбительна! Как видите, стиль — вещь настоящая. Когда я был...

— Вы что, и милиционером успели побывать?

— Ну да, — ПП насупился. — Следователем. По особо важным. Исполнителем. Расстреливал несчастных по темницам. Выберу понесчастнее и пристрелю. — ПП заиграл желваками. — За кого же вы меня принимаете?..

— Но не за га... извините, не змею же вы были?

— Вот чудак! Зме-е-словом. Змееловом я был, понимаете? Так вот, благороднейшие, скажу вам, звери. Ни за что ни про что не укусят. Это я про вас...

— Да что вы, Павел Петрович... У нас, зоологов, слово «гады» вообще неоскорбительно. Законное название отряда животных, не более. Правда, они никак не звери, как вы изволили выразиться: звери — это синоним млекопитающих.

— Я и то даже знаю, доктор, — говорил ПП, с обидой наливая по новой, — что — пресмыкающиеся, а млекопитающие — без «ся», и видами животных вы меня не запутаете. Лучше сами мне скажите, к какому, например, виду принадлежит ланцетник?

— Вы и это знаете?! — восхитился ДД, занюхивая тускло-жилом.

— Вот вы говорите, смерть... — сказал ПП, занюхивая пробкой. — Вы ведь бывали в пустыне? Какая там благородная, сухая смерть!.. Ветер сдувает все эти шкурки, веточки, скелетики — один шорох и остается, как вздох. Растения — те даже гниют красиво. А мы? Из ума не идет этот дельфин... Как вы думаете, отчего он умер?

— Не знаю. Возможно, от естественных причин. От глупости, от случайной раны. Он был еще очень молод.

— Откуда вы решили? Он был вполне взрослого размера.

— Я понятия не имею о дельфинах, но есть ряд общих признаков. У львенка и слоненка, так сказать, у мышонка и лягушонка, у детеныша человека и неведомой зверушки. Ну, там, крутой лобик, короткий носик, круглые глазки — все это запрограммировано в нашем умилении, чтобы надрываться их кормить, защищать, не обижать...

— Обувать, обшивать... Ну, вы — крутой, доктор! Ни слова о любви. Однако вот откуда все игрушки. Не ДЛЯ детей, а ИЗ детей. Принимаю! Значит, СВОИ его не могли обидеть?

— Не только не могли, но и странно, что упустили. Дельфины, насколько я помню, живут нуклеарными семьями, как люди. Причем в четырех поколениях.

— Что значит нуклеарная?..

— Муж, жена, дети. Но и бабушка с дедушкой. А у них еще прабабушка с прадедушкой.

— Гениально. Вы не выдумываете? Как же они его упустили?

— Как я могу знать — я же ученый. Мне надо знать УЖЕ, чтобы предположить ЕЩЕ. Ну, заигрался. Попал под винт. Нырнул слишком глубоко, нахлебался сероводорода, задохнулся... Но скорее всего — общая картина окружающей среды: он уже жить не хотел.

— Покончил с собой? Как может зверь, тварь Божия, не хотеть жить? Это ненаучно, доктор. Как вы говорите: это в него заложено — неоспоримое желание жить. Это только человек может не захотеть жить. Сами же ругаете антропоморфизм и сами же в него впадаете.

— Нет, это не я, а вы впадаете в антропоморфизм, Павел Петрович. Вы так ярко выражаете недовольство человеческим видом (я имею в виду биологический, а не социальный смысл, как вы понимаете), и я скрепя сердце во многом с вами не могу не согласиться, а сами только и делаете, что преувеличиваете человека. Самоубийство в животном мире очень даже распространено. Причем массовое. Это мы, в смысле Хомо Сапиенса, рассматриваем самоубийство как индивидуальный акт. А для самовоспроизводящихся систем, которые и зовутся живыми организмами, конечность жизни отдельной особи, то есть смерть, является всего лишь характерным признаком: они лишь звенья непрерывной цепи... Продолжение рода и вида и есть их назначение, а не собственная жизнь. По исполнении назначения делать в этой жизни нечего. Не только благороднейшие скорпионы, дорогой Павел Петрович, которых вы повидали в пустыне, и не только самцы, назначение которых, как вы сами говорите, короче, и не только горбуша, которую вы ловили на Камчатке. Механизмы регуляции численности вида весьма разнообразны и совершенно не познаны. К сожалению, мы вносим в них свою чудовищную коррективу.

ПП нехотя поинтересовался.

— Допустим, процветание. Была хорошая погода, много пищи, мало хищника. Все потомство выжило, стая разрослась. На обратном пути, во время осеннего перелета, молодежь становится как бы безрассудна. Она гибнет по всякому поводу, натывается на лету на линии высоковольтных передач, дает себя съесть кому не лень. Прилетит столько же, сколько в прошлый раз, сколько можно и сколько надо, потому что там их совсем необязательно ждет такое же случайное благоприятствование, и лишний рот может оказаться по-прежнему ни к чему. Теперь, допустим, бедствие, а стая размножилась по нормальным своим установкам, но — плохая погода, мало корма, много хищника. Потеря каждой особи становится сверхценной для существования всей стаи. Происходят замечательные вещи: особь становится сильной, осмотрительной, смелой и готовой к самопожертвованию ради ближнего своего. Да, именно самопожертвование есть признак желания жить. Деятельность человека разрушает эти механизмы регуляции — тогда животные просто жить не могут, у них развивается депрессия, и они, пожалуйста, кончают с собой. Выкидываются на берег, как киты.

— Вы думаете, он покончил с собой?

— Не исключено.

— Исключено! Сами говорите, он был слишком юн.

— А разве не юноши кончают с собой?

— Библиотеки ему не хватило, вот что! — решительно заявил ПП. — Прадедушки то есть. Ведь что замечательно в дельфиньей семье? — почему они как близкое нам сообщество, обладая куда более чем обезьяньими возможностями, не пошли по нашему пути? Это не семья, а плавучая библиотека с опытом четырех поколений на одной полке! Прадеда, прадеда всегда не хватало человеку! Вы замечали, что человеческий век, даже полный, не равен веку как столетию ровно на одно поколение? От этого вся наша беда, от этого заводится неуправляемая человеческая история, как ржа. Век — естественная мера истории, а мы ему никогда не равны, не успеваем побывать и правнуком, и прадедом, оттого не видим, ни как дело началось, ни чем оно закончилось. Мы участники лишь процесса или результата, мы свидетельствуем либо рождение без смерти, либо смерть без рождения, мы, выходит, те самые ваши особи, смерть которых безразлична для жизни... Мы не знаем единственной меры времени — *справедливости!* А дельфины — знают.

— Прадедушка рассказал?..

— Да! Именно! Неуместна ваша человеческая ирония. У них столетие одной семьей плавают! И все друг другу свидетели. У них история рода не расходится с историей вида, как у человека. Это и есть ОДНА справедливость — единственная мера времени. У человека же постоянная аритмия рода и вида, история человечества отдельна и враждебна человеку, оттого и *история*, будь она проклята!

Очень много яду вложил ПП в произнесение слова «история».

— Справедливость слишком субъективное понятие. (Слова ДД.)

— Объективное! И вовсе не безразлична гибель отдельной особи! Нет, не могу... — ПП всхлипнул. — Неужели вы не понимаете, что у мамы больше нету сына, а у бабушки внучка? Что его дельфинья смерть как раз и порвала вашу пресловутую цепь! И его одна смерть может означать, что мы всех дельфинов уже сгубили! Мы отравили море, а первым погиб самый слабый — прадедушка. Он не выжил. Мы укоротили им семью на прадедушку. В трех поколениях, как мы, они уже жить не смогут. Вот мы с вами и видели, как погибает правнук. Может, он от безграмотности собрался выйти на сушу, как мы? Правнук без прадеда не только погиб, но и отцом не станет. Го-о-оспо-о-о-ди! какая но-о-о-чь! — воскликнул ПП, раскачиваясь как от зубной боли. — Что он видел, когда мы смотрели на него?

— Ничего не видел.

— Понимаю, мертвый. Вы и в душу не верите, как все люди: что она еще недалеко и сверху на себя глядит... А на меня и мертвые смотрят. Они как бы сами не хотят ни смотреть, ни меня видеть, а я себя чувствую у них за закрытыми веками... и такая тьма наваливается и окружает меня! Ведь мы же во тьме живем! Нас просто осветили. Снаружи. Солнцем. Источником света. Фонариком... Представьте, как темно у нас внутри: в желудке, в мозгах, в печенках... в сердце! Как в дереве, как в камне. Что они видят? Они — в первозданной ночи...

— Ну, деревья-то по-своему видят... они не только чувствуют тепло, но и питаются светом.

— Ну, это ясно. Слепой тоже видит, в таком-то смысле. Другими органами чувств хотя бы. Я о другом... Я и себе-то не могу объяснить, не то что вам. Я о том, что мы во тьме, как в смерти, и в смерти — как во тьме. Мы не видим предметов — мы видим освещение их. А сами мы, на земле, где мы есть, среди

себя, живем во тьме. И мертвый есть более реальное состояние, чем живой. Потому что он не видит предметов, окруживших его: он сам — предмет, лишь освещенный снаружи. Он не видит освещения, ему включили источник. Видит ли сам свет? Не абсолютной ли он черноты для самого себя? Не является ли именно мертвый частицей света, а мы лишь сгустком тьмы? В смерти мы становимся средой, однородной, как вода или воздух, только еще более однородной — светом; в жизни мы отделены друг от друга непрозрачностью, жизнь неоднородна, она рассыпана как горох. О, если бы жизнь была средой! То и смерти бы не было. Так что смерть — это наша среда, а не жизнь. Небытие однородно. И не жизнь заканчивается смертью, а мы в ней живем, в смерти. Смерть не отдельна, она — среда жизни. Как вода для рыбы, как воздух для ваших птиц.

— Господи, Павел Петрович! — воскрился ДД. — Это вы мне говорите или я подумал? Гениально!

— Ах, как вы точно схватили мысль! Bravo, доктор! Именно птица более мертва. Она мертва в полете. Недаром же у всех народов она вестница смерти. Недаром мы говорим: сердце обмирает в полете. Что мы знаем о ее чувствах, когда она летит? Вот вы, доктор, вы все про птиц знаете. Что она чувствует, когда летает? Не купается ли она в смерти? А потом присядет — пожить с нами заодно, отдышаться. Кстати, Феникс — человек или птица?

ДД надолго задумался.

— Скорее птица...

— Как, с точки зрения орнитолога, Феникс — может быть, вид, пользуюсь вашей терминологией, имеющий биологическую нишу на границе двух сред, смерти и жизни? То есть не «НА», а «В» границе.

— Граница — это линия, — возразил ДД. — Линия, в математическом смысле, имеет одно измерение, то есть нишей никак быть не может.

— Вы меня не запутаете, доктор! Феникс — это человек в виде птицы.

— Нет, это птица в виде человека!..

— Ни то, ни другое. Наш Феникс — лишь изображение Феникса, это Феникс в виде человека.

— Это уже точнее. Но тогда это Феникс в виде птицы...

— Что-то вы запутались, доктор.

— Это вы меня пытаетесь запутать! Давайте разберем, кто кому что сказал...

— Уже не разберете... — ПП был чем-то удовлетворен.

— Это всего лишь метафора — ненаучные дела, — сердился ДД. — Главное, что Феникс сгорает и возрождается в огне. В физико-химическом смысле, жизнь и есть горение.

— Ну да, гниение... Я тоже ходил в шестой класс, доктор! В шестой класс я еще ходил, это в седьмой я не пошел. Это для человека сначала — жизнь, а потом — смерть. А для Феникса — наоборот: сначала — смерть, а потом жизнь. Феникс — это просто-напросто человек наоборот.

— Просто-напросто?.. Тогда он в виде птицы...

— Это уже все равно. Скажите мне, что важнее: голова или крылья?

— Важнее?.. Главный признак.

— То есть?

— У человека — голова, у птицы — крылья.

— Всего лишь?

— Достаточно. По этому признаку все ясно. Никакого ИЛИ. Феникс — и человек и птица.

— Не то и не другое. Он был баба.

— Ну да, титьки, — смеялся ДД. — По-вашему, сфинкс — тоже баба?

— Это ваш тезис, о главном признаке, доктор. А главный признак женщины отнюдь не титьки.

— Опять вы меня словили, Павел Петрович... Я тоже с детства пытался догадаться, как русалка в хвост переходит? На всех картинках художники ловко уходят от ответа...

— Bravo, доктор! Я прямо в восторге, какой вы на самом деле неиспорченный человек, хоть и ученый. Ищите-таки ответа в искусстве? Так вот, вы-то этого не знаете, а мы не оттого, что не знаем, а оттого, что избегаем показывать.

— Что ж это *вы* так уж избегаете? — иронизировал ДД.

— А по эстетическим соображениям.

— А-а...

— Ай-я-яй, доктор! Опять вы только об одном думаете... Я имел в виду более этическую сторону эстетического.

— Павел Петрович! смилуйтесь над дураком... Этика-то тут при чем?

— И очень даже при чем, молодой человек! Почему бы, вы думаете, и у Феникса, и у сфинкса, и у кентавра, и у русалки человеческие именно голова и грудь, а конец, извините, нечеловеческий?

— Ах, вот какая ваша этика! Опять антропоморфизм... опять апартеид животного мира! А если наоборот? тело челове-чье, а голова как раз животного?

— Так не бывает.

— Бывает, бывает! — ликовал ДД. — Вспомните хотя бы тот же Древний Египет... Не помните, как его зовут, с птичьей головой?

ПП сделался скорбен и очень замолчал. Иронический ДД с удовлетворением развивал тему — все, что только мог вспомнить... Мол, все-таки сфинкс — мужик, и русалка — не рыба, а кентавр, точно, мужик, потому что у него борода, хотя бывают и женщины с бородою, но стоит только заглянуть кентавру под хвост, то он так и так мужик и как человек, и как конь... интересно в таком случае было бы знать, кого он предпочитал, кобылиц или...

Нет, не стоило ДД так гулять!

— Предпочитал-то он, конечно, женщин, — со знанием вопроса констатировал ПП и тут же взвился, свечой, как ласточка, осененный идеей... — Сме-е-е... сме-е-е... сме-е... — проблеял он. — Да был такой бог смерти и звали его Пта. И он был *оттуда*, а те, которым вы все под хвост заглядываете, те — *отсюда*, от нас с вами. Вот тут-то и этика! Есть граница, а никакого такого главного признака нету! Нету вашего *главного* признака — вот что! Так и у смерти — его нет.

— О чем, позвольте, мы спорим? — вклинился ДД.

И лучше ему было не вклиниваться. Не ласточкой — коршуном, ястребом пал ПП в одно лице...

— А мы и не спорим — мы воспитываем. Спорить одному еще вреднее, чем пить одному. На букву А — а-лкоголизм, а на букву О — ...

ДД надулся.

— Вы все поэтизируете, Павел Петрович... Вы себе внушили, что поэзия точна. А поэзия как раз и есть самая неточность. Это такой набор неточностей, поэзия. Она, если хотите, виртуозно неточна. И птица опирается не о стихию, а о предмет, о воздух, который она сжимает махом крыла, опираясь воздушным столбом о землю, о *землю*, как мы с вами. Не в стихии, не в смерти она витает, а жить, то есть жрать, хочет, вот и летает. А то, как вы изволили выразиться, что они садятся *пожить* вне смерти воздушной своей, — совсем чепуха, поскольку многие из них даже трахаются прямо в воздухе, то есть *живут*, как принято это вежливо выражать.

— А что, трахаться, как вы изволили выразиться, — трахаться, по-вашему, разве не умирать? Что еще более подобно смерти, чем этот окончательный восторг? Разве в том же похаб-

ном, вежливом просторечии не словом «кончатъ» это называют? «Жить» и «кончатъ» — разве вы не слышите?

— Вы рассуждаете как самец, Павел Петрович.

— А кто я такой, чтобы рассуждать иначе?

— У самки может быть другое мнение.

— Что ж, самка, может быть, и есть сама смерть. По крайней мере, мы в ней умираем каждый раз. Не вы ли только что говорили о конечности жизни отдельной особи, о несчастных рыбах и пауках, умирающих в момент исполнения назначения? А это, заметьте, все чаще самцы. И самка — сплошь и рядом исполнительница приговора. Мы, самцы, все-таки имеем отдаленную догадку о смерти на опыте нашей любви, они — не-е-ет! Нет, им неведомо это. Это мы смертны, а они бессмертны. Бессмертны, потому что именно они смерть и есть. Они однородны и вечны. Они древнее нас. Они дремали, *были* в той вечной и абсолютной ночи, ДО света. Это нас не было. И не будет. И не надо!

— Мефистофель вы мой! — рассмеялся ДД. — Неужто и вам они так досадили? Они же, как-никак, именно ваше орудие...

— Фауст вы мой... Они достанут и Царя Тьмы... Вот опять, видите, как я прав: он ведь царь чего? Тьмы-ы-ы! Не забыли ли мы, дорогой доктор, о нашем единственном утешении? — и ПП посмотрел на свет темную бутылку, чтобы определить, насколько он не забыл.

— Не забыли ли мы о море?

— Почему забыли... вот оно, — ПП указал на гладь столь щедрым и небрежным жестом, будто по этому мановению оно и возникло. — Море — это всегда пожалуйста.

Мы опустим их долгое препирательство на тему, что лучше: сначала выпить, а потом искупаться (ПП), или сначала искупаться, а потом выпить (ДД) — поскольку изначально ПП был только за то, чтобы выпить, полагая, что чача выравнивает температуру тела и окружающей среды и быстрее, и точнее, чем иные водные процедуры, а ДД полагал совсем чудовищную вещь, что лучше искупаться и вообще больше не пить, за что и поплатился тем, что выпил и до и после купания, а ПП поплатился одним лишь купанием. При чем ДД плавал долго и брассом, а ПП — мало и саженками.

— Вот вы говорите о природе брезгливости, — говорил ПП, блаженно обсыхая, — что это некая генная память об источнике болезни, природный страх, по изначальному незнанию преувеличенный. И я с вами согласен, что преувеличенный. Так же

как и согласен с вашим научным заключением, что несъедобного мяса, тем более ядовитого, в природе нет: белок и есть белок. Я бы даже открыл курсы по небрезгливости для кажущихся себе просвещенными людей, пусть поползают по ним безобидные ужи и тарантулы... — По-видимому, в доказательство и того и другого он тут же поймал комара и на глазах у ДД съел его. — Пусть лучше почаще моются и носки стирают. И все-таки у этой брезгливости перед мышами и пауками другая, чем вы говорите, природа. Это не врожденный страх особи, а подсознательная неприязнь всего вида: ОНИ — крысы, тараканы, пауки и прочие — НАС переживут. То есть когда мы себя изживем, сами же, ОНИ останутся населять нашу землю без нас. А кто сказал, что земля наша, а не их? Они — древнее нас, они все и всех до нас пережили, это и есть ИХ земля, а не наша. Дельфины, те нас не переживут... Их-то МЫ переживем, без них — еще хуже станем. Не с тем же ли ужасом звери смотрят на нас, как мы на насекомых? Один лишь дельфин находит в себе силы еще доверять нам. Потому он и умнее человека, что — добрее...

ПП вздохнул. И тогда встрял ДД:

— Если вы постоянно прибегаете в своих построениях к понятию Творца, то возникает распространенный вопрос о несовершенствах Творения, о наличествующей в нем системе зла. И предвидя уже некоторые из ваших доводов и исходя из вашей системы координат, вношу поправку в ваши рассуждения о брезгливости, с которыми в принципе не могу не согласиться, а именно: что «брезгливость» есть более частное понятие, чем «гадливость». А «гадливость», как вы бы тут же сами рассудили, происходит от слова «гад», слова, достаточно исконного в русском языке и выжившего в точности лишь в зоологической науке. Так вот, не помню, как там точно в Ветхом Завете, вы меня поправьте, пожалуйста, но было там нечто о «семи казнях египетских», куда и змеи и насекомые входили. То есть если они и творения Божии, то несколько двусмысленные, для кары. А потому понятие «гадливость» получит менее поверхностный, чем «брезгливость», и более фундаментальный вид.

ПП сильно помрачнел в связи с этим очевидным упущением. Он мог бы, конечно, в связи с этим с блеском рассказать ДД свою индейскую легенду о Никибуматве и Эсчегуки о сотворении мира, поскольку ДД еще не имел возможности ее слышать, но не таков ПП, чтобы повторяться в принципе. И вот как он повернул:

— Что касается несовершенств Творения, то мы еще не достигли той точки сюжета, когда я буду способен вам это изложить и когда вы будете способны воспринять. Многое станет понятно тогда, когда все наконец поймут, что вовсе не человек от обезьяны, а обезьяна от человека произошла.

— Как так? Уж не имеете ли вы в виду?..

— Нет, не имею, — ПП встряхнул бутылку и сделался суров. — Это наша с вами вина, доктор. И гадливость с брезгливостью на нашей с вами совести. Нас прельщает то, что освещено, и страшит то, что в темноте... — Сказав так, ПП развернул перед взором ДД широкоплывным движением вид на посиневшее слегка море и угрожающим пальцем указал вниз, не то под землю, не то на дно морское. — Как видите, мы продолжаем тему, обнажая взаимосвязь всего. Конечно, Творец не сотворил буквально все на земле, кое над чем поработала и эволюция. Возможно, иногда он и отвлекался от земных дел, на часок, но кто скажет, чему равен Час Бога? И когда работала только эволюция, она не улучшала Творение, а лишь обнажала и преувеличивала всякую ошибку в нем. Творец поработал на зависть. А после него Зависть работала на него. Зависть с заглавной буквы, и вы знаете, чье это имя... Эволюция насыщена завистью, как плод соком. Возьмите всех этих динозавров и бронтозавров, растоптавших Землю не хуже человека... Эволюция способна накопить только катастрофу, когда в Свой Час Творец обратит внимание на Свое Творение. Господи! кака-ая нас ждет ка-атастро-о-офа...

И поскольку ДД уже подготовил квалифицированную речь об эволюции, от которой и сам, впрочем, не был в восторге, ПП был вынужден сократить если не размеры предстоящей катастрофы, то паузу, этим масштабам соответствующую...

— ...то Красоту в мире создал именно Он. Прекрасно то, что открыто взгляду и любованию, безобразно то, что прячется во тьму, как бы даже стыдясь своего уродства. Эволюция, а правильное бы сказать — мутация, безнаказанно работает в темноте и в подполье, родя чудищ и гадищ, до того безобразных, что они даже гибнут от одного нашего взгляда, если случай выкинет их на освещенную поверхность. У смерти есть такой свой маленький зоопарк. И она без жизни не обходится.

На этот раз ДД успел возмутиться:

— Это уже даже и не антропоморфизм, а нарциссизм какой-то! Прекрасно, видите ли, только то, что мы признаем прекрасным. А что мы сравниваем и откуда черпаем критерии? Если хотите, все живое прячется и без особой нужды наружу не

высовывается. Есть гипотеза о происхождении, очень бездоказательная, но мне нравится. Что сон вовсе не для отдыха, а для выживания. Если уж сумел нажраться, то спрячься, чтобы тебя не пожрали. То есть замри, умри, погрузись во тьму, с которой вы так воюете. Что такое сон как не маленькая смерть? И сон мы практикуем куда чаще, чем coitus, хотя после него и клонит в сон...

— Что сон без снов! Как сны вы объясните? Как света не борьбу и тьмы! Быть может, наяву вы сами снитесь — кому-нибудь... И от сумы да и тюрьмы зарекшись, крадете сон и прячете в кандей. Но шконку завернут. Вам все равно придется увидеть на свету почти и не людей — из ночи сотканых. И как остаток воли, за пазухой тепло и сна последний бред, что будто бы игра и вы кладете на кон...

— Так, так, — удовлетворенно сказал ДД. — Я говорил, что вы поэт, а вы еще и в тюрьме сидели?.. А не пойти ли нам далее, не достигнуть ли, наконец, реликтовой роши?

— Сидел ли я?.. — ПП встрепенулся и тут же освоился. — Так мы же в ней и сидим, в реликтовой вашей роше! — он махнул рукой направо с таким видом, будто сотворить ее ему ничего не стоило.

ДД был поражен: сосна, под которой они сидели, была крайней в роше. ПП первым расположился к ней лицом и давно любовался ею, предоставив ДД лишь взгляд назад, на бесприютный берег.

— Ну и ну! Заговорили вы меня... Что ж, в путь!

— Давайте лучше пересядем. У нас еще есть. Вы будете смотреть на рошу, а я буду смотреть на вас.

Пересаживаясь, он еще раз пристально оценил содержимое бутылки, и лицо его выразило неудовлетворение; он стал рыться по карманам, будто у него могли завестись деньги от долгого сидения. ДД не принимал намека и не доставал сдачу, столь благородно ему возвращенную, — дал ПП выгрести из карманов все крошки...

— Вы ведь не курите? Я тоже. Но очень вдруг захотелось...

И он сосредоточенно занялся обогащением смеси, выщипывая и выдувая ненужные крошки.

— Газетки у вас тоже нет? Ну, что ж, почитаем местную прессу.

И он стал разворачивать пробку — вышел неожиданно изрядный клочок газеты, который он внимательно пробежал глазами.

— На сгибах стерлась... — посетовал он. — Утрачена нить повествования... «Апраснуа Апсны Зантариа Академия Анаук Ачырба»... Дальше стерлось... Русскими буквами, а не по-нашему написано.

— А я уж было подумал, что вы и абхазский знаете...

— Абхазский язык невозможно знать. Его одни абхазы знают.

— Такой трудный?

— Такой древний.

ПП выкроил подходящий кусочек и ловко, двумя пальцами свернул самокрутку.

— Ну, огонь я, пожалуй, трением добывать не буду. Придется идти купаться. На две дозы нам не хватит. Уж лучше тогда после.

Они поплавали.

— Между прочим, что я подумал, пока вы плавали... Что доработка пейзажа по линии красоты, возможно, происходила с участием человека...

— Не понял. (Слова доктора.)

— А что такое Рай, по-вашему? И для кого он был создан? Для Адама, прадеда нашего.

— Вы что, и в эти сказки верите?

— А во что мне еще верить? Что же вы не смотрите на рощу, в которую так стремились! Разве это не рай?

Посмотрим и мы. И не найдем слов. Шишкин, этот немец, спутал нам все сосны. Лежала тень. Стояла сосна. Меж корней последних береговых сосен тоненькой струйкой просыпался песок. В вершинах сосен застряло облачко. Северные, родные чувства переполнили душу ДД. Он ощутил себя чистым и молодым. Полным здоровья и сил, готовым к научному подвигу, да и вообще к будущему, которое почему-то именно эти древние реликты подтверждали. Не было в этих соснах никакой старости — одно лишь торжество трезвости. «Мама! — воскликнул про себя ДД. — Живу!»

— Так было до человека, — торжественно провозгласил ПП. — От сотворения мира, каких-нибудь семь тысяч лет назад; конечно, не эти деревья, но такие же. А эти — вполне могли видеть первых христиан.

ДД посмотрел на ПП сбоку, как очень большая курица. Такое же большое удивление выражал его профиль. Это как когда облако набегаёт, но еще не набежало на солнце, или наоборот: свет иронии, всегда оттенявший профиль ДД, затуманился облачком недоуменной веры: неужто... а может быть... а вдруг мы еще ранние христиане?.. а почему бы и нет?..

безумствуем, как оглашенные... Повергли идолов — идолизировали Христа... повергли Христа — идолизировали человека... Пришла пора и себя повергнуть...

ПП бережно нес подобранную на берегу одну спичку.

Он отметил ногтем уже достаточно близко к доньшку невидимую линию и строго глянул на ДД. ДД скромно отхлебнул. К последнему своему глотку ПП приготовился, как самурай к хакари. Он ловко чиркнул о кору сосны, затянулся, блаженно закатив глаза и подставив лицо солнцу. Затем сел по-турецки, установив бутылку промеж ног и нежно поглаживая ее, и стал потихоньку покачиваться, попивать микроскопическими глотками и затягиваться такими краткими затяжками, так же прикрыв глаза и тихонько, с удовольствием мурлыкая:

Айне кляйне папирossen
Нихт шпацирен нах цурюк!

— Вы что, и в оккупации были? — насторожился ДД.

— В оккупации нет, а в плену был, — беспечно молвил

ПП. — Да вы можете мне не верить, доктор...

И так же не открывая глаз, он протянул ему самокрутку.

— Что это??

— Кайф, доктор. Нихт шпацирен... Скажите, доктор, какие механизмы регуляции численности популяции (хорошо я усваиваю, а?), кроме Гандона и Мальтуса, существуют у Хомо Сапиенса? Гомосексуализм?

— Хм. Любопытное соображение. В науке это рассматривается как атавизм программ сексуального обучения.

— Война?..

— И война. Все то, что и у других, плюс... Человеческий вид, можно сказать, только над одним и работает — над развитием этих механизмов. И у него и это не получается. Потому что он, видите ли, ПОКОРИЛ природу. Как ее можно покорить? Когда ты ее часть? Вот форма самоубийства. Рубить сук, на котором сидишь. Покоренная природа ответила ему тем, что отняла у него прежде всего естественные механизмы регуляции. Они, конечно, продолжают работать, но слабо. Без неумолимости закона. Перешли в состояние факторов. Очень помогли эпидемии, всяческий мор: чума, холера... Косили враз по пол-Европы. Тут наша доблестная медицина вмешалась. И, конечно, война. Но и она уже не справлялась, как ни развивай средства уничтожения. Тем временем срабатывали и другие факторы. Знаете ли, что автомобиль потихоньку-полегоньку, зато без передышки, передавил людей столько же, сколько обе миро-

вые войны? А удобрения, а лекарства... Все наше «созидание» (ДД произнес это слово в очень толстых кавычках) стало куда более эффективной войною, чем война. Война как способ стала устаревать, что и выразилось в изобретении атомной бомбы. То есть неприменимого оружия. Оно похоронило войну. Война стала бессмысленной — в ней нельзя победить, ее нельзя закончить. Пока что по-настоящему работает только рост мегаполисов.

— А вы гуманист, доктор... — бросил на него удовлетворенный взгляд ПП.

— И... и... — ДД прямо задохся от смеха. — И... пацифист!

— Завидую вам, — сказал ПП, глядя на катающегося от приступа смеха ДД. — Какой вы словили кайф!

ДД замер наклонясь и не падая.

— Слышите?

— Нет, к сожалению.

ДД припал ухом к траве возле пустой бутылки.

— Наполеон чегой-то опять проигрывает, — сообщил он.

— Это травка говорит...

— Нет, бутылка! А травка: шу-шу-шу да шу-шу-шу.

— Травка всегда тихо говорит.

— Ш-ш-ш! Слышу... Нежно так: ты? я? здесь? да?..

— Стоп! — скомандовал ПП. — Смотри, не вывалишься в мантру!

— Зачем вы перебиваете! — обиделся ДД.

— Просто хватит, — молвил ПП с великой печалью. — Я кайф не словил.

Как странно они поменялись ролями! ПП вдруг стал белым клоуном, а именно ДД — рыжим. Море было — ковер и арена.

ДД прыгал по коврику, как обезьяна, ловко ловя руками что-то для нас невидимое, то ли бабочку, то ли муху, то ли свою птичку... ПП смотрел на него с ласковой печалью.

— Ловить... — ДД продолжал ловить воздух руками, давясь от смеха. — Кайф... Поймал! — И доктор медленно, по пальчику, разгибал кулачок. — Улетел, улетел! — радовался ДД.

И ловил снова.

— Сме... сме... — с великой скорбью, прикрыв глаза, стонал ПП. — Сме...

— Смех? — вдруг очнулся ДД. — Почему я так смеюсь? — Он все еще продолжал прыскать, как кипящий чайник, который только что выключили.

— Сме... сме...

— Смерть? — догадался ДД и перестал булькать. Но пар еще валил из его носика. — Что с вами, Павел Петрович?

— Сме... сме...

ДД тряс ПП, пытаясь привести в чувство.

— Сметана! — наконец ясно выговорил ПП, пристально взглядывая на ДД. — Доктор, вы чайник.

Наконец и ему удалось рассмеяться: ДД растерянно озирался по сторонам, словно ища чайник, не понимая, как он сюда попал.

— Что вы мне подсунули?!

— Травку, доктор, травку...

— Почему вы меня не предупредили? Это действительно нехорошо, не по-товарищески...

— Иначе бы вы его не словили. Это-то как раз по-товарищески было.

— Почему чайник? — ДД обиделся, как дитя.

— Простите, доктор. Я не в том смысле. Простите. Что я вам кайф поломал. Завидно стало. — ПП поднялся: — Пойдемте, доктор. Пиво — тоже человек!

— Никуда я не пойду.

— Народ, лишенный пива... — мрачно изрек ПП.

— Перестаньте пудрить мне мозги!

— Народ, лишенный пива, недостоин звания народа! — закончил мысль ПП.

И они пошли. Дальше на север. Мимо реликтовой рощи. Не глядя на море. Лишенные пива.

Причем ДД каким-то образом по-прежнему сохранял свой профиль, ступая по кромке воды как бы по песочку, а ПП — анфас — грубо хрупал по крупной, раскаленной уже гальке.

Солнце вовсю. У ДД, в профиль, козырек. У ПП — анфас, листик на вздорном его носу.

Практически они молчали. Насколько они вообще способны не раскрывать рта.

— Боюсь, что мы их уже не догоним...

— Ваших коллег? Вам не кажется, что вы их уже перегнали?

— Вы дьявол, Павел Петрович...

— Мне кажется, мы ведь распределили роли. Все идет пока по сценарию: вы — Фауст, я — Мефистофель. Я, между прочим, тоже рабочий день потерял. Вышел порисовать и этюдник забыл.

— Вы же скульптор.

— Скульпторы тоже рисуют. Эскизы.

— Вы собираетесь изваять море?

— Вы очень догадливы, доктор. Именно *море* я собираюсь. Это моя сокровенная мечта — воздвигнуть памятник морю.

— В каком, интересно, виде?

— В виде коровы.

— ?!

— Вы ведь видели дельфина... Он меня совсем было сбил с толку. Его морской коровой зовут.

— Морская корова — совсем другое существо.

— Это я знаю. Неужели вы могли подумать, что я стану ваять корову, то есть море... то есть корову... сим-во-ли-чес-ки? Я — реалист! Море... в виде дельфина!.. тьфу!!! Так любая бездарь сможет.

— Не понял.

— Еще поймете, — заявил ПП. — Увидите. Лучше бы вам этого не видеть.

— Не понял.

— Это не всякий выдержит.

— Я плохо разбираюсь в искусстве. Я рядовой ученый. Я допускаю, что быть скульптором — это призвание. Но как вы его обнаружили? Как это можно родиться поэтом, живописцем, скрипачом?..

— Люди, лишенные детства... — мрачно сказал ПП.

— Кто?

— Скрипачи, говорю.

— Я про вас говорю. Как вы догадались, что вы именно скульптор?

— А как вы догадались ловить птиц?

— Это не одно и то же. Но я, как ни странно, помню, как все это началось. То есть я не помню даже, мне мама рассказала...

— Родились и поймали птичку?

— Именно! Я еще еле ходил, все играли в песочек, а я все вокруг бочки с водой, к которой время от времени прилетали и пили птички. И догадался так наконец крышку на бочке установить, чтобы крышка захлопнулась, когда птичка на ее край садилась, чтобы попить. И я ее поймал!

— Ну вот. А спрашиваете, как стать скульптором... По средству души! Это не мое определение, а моего учителя.

— Вы были учеником скульптора? Как в средние века?

— Браво, доктор! Именно, как в средние, лучшие, доложу вам, наши века... Я ученик Григория Сковороды. Утверждал он, в частности, что человеки несчастны оттого, что не находят себе занятия по средству души. Поделил он все человечество на три и получил духовенство, воинство и крестьянство. Советовал он присматриваться к младенцу: если тот в хоре подтягивает —

в семинарию, если к сабельке тянется — в солдаты, если с червячком забавляется — тогда паши. Найдут все себе занятие по сродству — вот тебе и счастье.

— А мы с вами кто тогда такие?

— Мы-то? Мы — незаконнорожденные.

— Петр Первый издал такой указ: незаконнорожденных записывать в художники. Вы — тоже художник, — милостиво издал свой указ ПП. Это не прозвучало у него убедительно, и он добавил: — В своем роде... Вас жажда еще не замучила? Может, еще сыграем?

ДД ухмыльнулся, более не раздумывая, протянул ему сдачу:

— Да, мы с вами, кажется, нашли занятие по сродству...

— Это не шутки, — ПП, так же не раздумывая, принял деньги. — Если бы каждый был занят своим делом, откуда взяться агрессии и депрессии, что, по сути, одно и то же? Вместо бессмысленной борьбы с инакомыслием и алкоголизмом я бы этим занял психиатров: диагностикой призвания. Психиатр выписывал бы рецепт: министру иностранных дел — выстригать ножницами из бумаги драконов или розы, военному министру — выпрямлять старые гвозди и т. д. С сохранением оклада и привилегий. Представляете, как бы они были счастливы? И мы заодно. «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил» была бы вовсе и не сказка. Прокормил бы! Хотя бы потому, что они бы ему больше не мешали. И, главное, мужик этот наладил бы производство пива. И народ бы стал народом.

— Только давайте не будем говорить о России... — поморщился ДД.

— О чем же еще говорить? Мы только о ней и говорим. Доктор, а вы случайно не еврей?

— Я? Кажется, нет. Какое это имеет значение?

— А вы, батенька, интеллигент... Имеет, имеет. Я бы на вашем месте так легко от этого не отказывался.

— А вы-то сами, Павел Петрович?

— Я-то?... Кто из нас не был евреем... Тут без поллитры не разберешься.

— Куда вы? — только и успел сказать ДД.

И забрался в тени. И думал он о том, что сегодня до странности никого на пляже. И тогда почему же он опять думает о Мальтусе? Да потому, что смешно делиться на евреев и русских, когда нас вместе на Земле — национальное меньшин-

ство... Смешно делиться на... когда к 2000-му всех белых будет... а черных — и того меньше. Конечно же желтая раса!.. Грузины с абхазами — *что* не поделили? Смешно. Делиться на — когда перед человечеством давно уже только одно общее дело. Это как в очереди к врачу хвастаться болезнями: чья больнее. Но остановить человека невозможно, хоть он и все поймет. Во второе пришествие, что ли, ему верить? Уже давно проведены опыты на бактериях по изучению интоксикации в перенаселенной среде, построены математические кривые, и они, математически же, совпали с гонкой вооружений после второй мировой... Асимптотически приближаясь к общей гибели. Сравнение человека разумного с бактерией не может оскорбить биолога. Разумом еще надо было воспользоваться с разумом... А тут закавыка: фактор времени — опоздал или успел? Если опоздал, то уже опоздал, а если успел все-таки, то только-только, и надо еще поднажать, чтобы вспрыгнуть на последнюю подножку... Может, и надо было так хищнически торопиться со всем этим вооружением, ибо именно оно тащило за собой весь этот технический прогресс, а без него не решить человеку стоящих перед ним задач выживания... Прав ПП: вот теперь пора переключить агрессию на... Только вот как ее переключишь?.. В это ДД не верит, что человек одумается.

И ДД смотрит на единственного на пляже отрока. Тот решительно ныряет в море и плещется в нем, как счастливый дельфиненок.

ПП вроде как и не отсутствовал. Будто у него где-то рядом закопано было...

— Информирую, — сообщил он, отпыхиваясь, — народу нет, потому что палочка.

— Вас ис дас?

— Море заражено. Гигантский выброс говна.

— Надо мальчику сказать, — заволновался ДД.

— Вы что, думаете, он не знает?

— А мы?

— У нас есть свой антисептик, — и ПП потряс бутылкой. — Петарда поменьше, конечно... — констатировал он разочарованно.

Он мрачно выпил сам и подал ДД. Было в его жестах уже что-то семейное. Будто они на кухне сидели.

— Какая же нас ждет катастрофа! (Ка-ата-астро-ò-офа, — продекламировал он.) Снизу бздо, сверху говно. Представляете, как все это рванет однажды!

ДД смутно смотрел в даль морскую.

— Поясняю. Вы сами меня пугали, что сероводород подступил вплотную. А сероводород — это то же бздо. А бздо горит. Вы разве не поджигали?

— Неужто все поджигали?.. — удивился ДД.

— Разом вспыхнет все море, представляете? Ка-ако-ой же будет факел! Огненный сто-олп — вот что это будет.

— Море синее горит — выбежал из моря кит, — захихикал ДД.

— Чье это? — взревновал ПП. — Ваше?

— Дедушки Корнея.

— Мудро. Глубоко. Значит, и он предвидел.

— Это для детей.

— А кому это еще объяснять? Не взрослым же! Те уже не поняли. Знаете, от чего мы все погибнем?..

Это было сказано столь многозначительно, что ДД решил не отвечать, выждать.

— Мы утонем в собственном дерьме! — ПП вытерпел паузу. — И знаете, почему мы утонем?

— Потому, что мы и есть дерьмо? — обрадовался доктор.

— Не угадали! А вы человеконенавистник, Доктор Докторович! Вы там у себя в Германии совсем одичали. Люди, возможно, совсем не такое дерьмо, как вы думаете.

— Что, еще большее?

— Да нет, батенька, опять не угадали. Пока меньшее. Мы даже не успеем до такой степени развиться. Мы утонем в нем потому, что не умеем им пользоваться.

— С метафорой вашей в принципе трудно не согласиться.

— Это не метафора. Поясняю. Что такое почва?

— Так вы об удобрениях... — разочаровался ДД.

— Уточняю. Что такое уголь? Молчите. Тогда что такое нефть?

— Это правильный ряд. Я вас понял. Но только дерьмо-то у нас теперь другое. Дерьмо-то у нас теперь не говенное, химическое, нетленное. Береговая полоса — это жабры моря. Оно уже не дышит — такое количество пластика заматано прибором в эту полосу.

— Еще и это, — сказал ПП. — Надо создавать свинью. Пока не поздно.

Они выпили еще по чуть-чуть, и ПП посвятил ДД в некоторые детали своего плана преобразования мира.

— Как вы понимаете, свинья тут имеется в виду не в буквальном — хотя отчего же? — и в буквальном смысле слова.

Она — образец и символ. Девиз, так сказать, проекта. Проект обустройства мира «Свинья». Звучит?

— Звучит! — подхватил ДД с энтузиазмом.

— Во-первых... Не знаю, что и во-первых, потому что все — во-первых. Может быть, самое трудное и есть — выбрать, что во-первых. Это будет первейшая наша с вами задача, доктор: с чего начать. Но это потом... Тут не просто без поллитры — тут без Бога не разберешься. Труднее доказать, что Его нет, чем что Он есть. Акт Творения доказуем, как преступление. Творец попадаетея с поличным, ловится на каждом шагу. Иначе чем вы объясните постоянные разрывы в цепи эволюции, исчезновение необходимых для вас, научных, звеньев? Ведь вам всякий раз как раз главного не хватает: именно тут, по логике, должно быть, а куда-то делось. Катастрофы, говорите вы? А откуда они берутся именно в самой намеченной вами точке? Да, именно: все сшито на живую нитку — еле держится. И вот: и нитка — живая, и кто-то — шил! Не кристаллическую решетку надо создать, а атом, не жизнь, а воду, не слона, а живую клетку, и тогда эволюции хватит хоть до человека. Можно произвести человека и от обезьяны, но трудно при этом наградить его, единственного, девственностью — ради самой идеи первородного греха и непорочного зачатия. Немец хитер: обезьяну выдумал. А тут не человека надо было выдумать, а целомудрие! Вы вот про целку сейчас думаете, а я про мудрость. Господь навесил замков как раз там, где одно с другим не сходилось. Значит, он ПРИСУТСТВОВАЛ, он ВМЕШИВАЛСЯ в собственные законы. Там он всегда есть как НАРУШИТЕЛЬ. А вы себе мозг ломаете над тайнами мироздания. Где тайна — там и замок. Божественная тайна! В замке мы и ковыряемся. Познание наше стало отмычкой, и мы взламываем именно замки, на которое Творение от нас же и было заперто, для вашего же блага. Все мы империалисты, колонизаторы. Не Америка и не Россия — сам вид человеческий есть колонизатор Творения. Между тем призвание человека было быть Свиньей Его. Подбирать, подчищать, подъедать...

— Bravo! — расцвел ДД, потирая руки.

— И любоваться! Любоваться делом рук Его!

— Любоваться... может быть, — согласился было ДД, и тут его осенило: — А вы знаете, какая самая древняя из оставшихся на земле профессий? Если о человеческих призваниях — по Сковороде?

— Охотник, наверно... Рыбак?

— Нет, музейный работник! — и ДД взглянул на ПП победно.

— Ну да, он имеет дело с древностями... — ПП оказался несколько сбит с толку, к чему не привык.

— Хорошо, я подсказу. Какое самое древнее орудие человека?

— Палка. Воин! Воин — самая древняя профессия.

— Дерутся все. Палку Энгельсу отдайте. Палкой и обезьяна умеет пользоваться. Самое первое орудие человека...

— Ну!

— Хорошо, еще подсказу. Какая первая одежда?

— Шкура.

— Шкура... — ДД в растерянности почесал себе нос. — Правильно, пожалуй. Я не так поставил вопрос. Какая первая одежда уже в более современном смысле, до сего дня?.. Не так... Какая деталь одежды?.. Какой фасон, модель, выкройка?.. Тьфу! дайте хлебнуть...

— Да вы не мучайтесь, Доктор Докторович. Скажите — и все.

— Скажите... — по-детски обиделся ДД. — Так неинтересно. Вот! Какую первую одежду надел человек не от дождя, не от холода, не от... для чего вообще ее надевают, будь она проклята?!

— Набедренная повязка!

— Так. А для чего?

— Вот здорово! — обрадовался ПП. — От стыда. Не от холода, а от стыда! Чтобы срам прикрыть. А я что говорю...

— А вот и не для этого! Про целомудрие вы интересно загнули, но это я еще проверю. Может, еще у кого найдется... Но набедренная повязка возникла вовсе не по этой причине.

— Ну, ладно. А музей-то ваш тут при чем?

— Правильно. Соедините музей и набедренную повязку — видите связь? Нет? Теперь с вас бутылка.

— А мы не закладывались. — ПП, кажется, начинал злиться.

— Ладно. Первое призвание человека — собиратель. Кошечки, орешки... А первое орудие, им самим изобретенное, — оно же стало набедренной повязкой — карман! В страсти к коллекционированию — древнейший инстинкт человека.

— Ох! Дурак я, дурак!

— Ну что, выкупил я вас?

— Карман, согласен. Я это вам припомню. Это дело нехитрое: вычитать что-нибудь по профессии, а потом человека мучить.

— Я не вычитал!

— Что ж, сами додумались?

— Сам. Янтарь на берегу у себя собирал и додумался. Когда в плавки запикивал.

— Хвалю. Тогда бутылка с меня. Хотя пойдем дальше: если первая одежда — карман, то что еще раньше кармана?

— Вот теперь — палка.

ПП не мог скрыть своей радости.

— Не отнимайте ее у Энгельса, я ее вернул ему навсегда. Ну? Ваша же мысль!.. Как он карман привязывал?.. Узел! Вот когда обезьяна догадалась узлы вязать — тогда и стала человеком. Только вы мне тогда тоже ответьте. И тоже на бутылку. Вопрос не сложнее вашего. И тоже мое собственное открытие. Я когда в мебельном магазине подрабатывал, мебель таскал, все думал, как человек такие неудобные штуки повыдумывал? И вот: скажите, какая была первая мебель, из которой все произошло?

— Стул? Вернее, табуретка?

— Не-а.

— Кровать? Вернее, гамак?

— Не-а.

— Ну как же! — распалился ДД. — Ведь человек как на две ноги встал, у него позвоночник уставал. Остеохондроз, кстати, атавистическая болезнь, знаете? Вот он и сел на камень.

— Камень, — сказал ПП, — не табурет. И ветка дерева — еще не гамак. Так я вам и ваш карман спишу за счет защечных мешочков. Нет, вы мне скажите, какую он первую мебель *создал*?

— Стол?

— Не-а.

— Но не шкаф же?

— Хорошо, подсказываю. Шкаф — уже теплее.

ДД впал в глубокую задумчивость: стол? стул? кровать?

— Больше и мебели-то нету...

— Сдается?

— Ну.

— Сундук! — торжественно открыл тайну ПП.

— Почему сундук?

— Чтобы ваши корешки и орешки прятать! Сундук есть первомебель. Из него все. Сядь — лавка. Ляг — кровать. Накрой скатертью — стол. Поставь на попу — шкаф.

— Навесь замок — бог... — съязвил ДД.

— Да вы не расстраивайтесь так уж. Разошлись, и все: ни я вам, ни вы мне.

— Вы о чем?

— Бутылку, говорю, отыграл. А над замком вы зря иронизируете. Наше дело теперь их чинить.

— Кто же их будет чинить?

— А военно-промышленный комплекс! Сами! говорите, атомная бомба. Что им уже теперь остается делать? Все эти ракеты и самолеты превратятся в металлолом, в понапрасну израсходованную материю. Они уже превратились, только военные и люди об этом еще не знают. Что тащило всегда за собой технический прогресс? Война. Больше она его за собой не потащит. Куда деть тогда агрессивный человеческий гений, где найти занятие по сродству? Не заставишь же рыцаря перековывать мечи на орала, делать из лат кухонную утварь? Человечество и не собирается стать лучше — ему скоро деться некуда будет: такой начнется мировой сифон сквозь все эти небесные дыры... И из наступления наше воинство перейдет в оборону. Займется изобретением Свины. Идея безотходных производств столь же заманчива в своей недостижимости, как и полет на Марс. Если что-то невозможно — чего еще надо гению? Безотходное производство — такая же черная дыра, как и война: вот куда можно ухлопать все деньги, и всю энергию, и весь талант!

— Не ожидал от такого умного человека такого оптимизма... — сказал ДД. Лицо его между тем имело самое счастливое выражение.

— Мир настолько опошлится, что теперь пессимист — всегда умный, а оптимист — либо корыстен, либо дурак. Нет людей — одни критики, мать их...

— Дорогой Павел Петрович! — прослезился ДД. — Поверьте, я несказанно рад! Я впервые в жизни, можно сказать, встретил поддержку всему тому невысказанному... Павел Петрович! Позвольте я вас поцелую! — Он попытался приложиться щекою к губам ПП, но как-то ничего не вышло: он еле-еле устоял на ногах в новом, сложном для него, пространстве, и совместить обе проекции ему не удалось. — Позвольте выпить за вас!

— Па-а-а-зволю! — сказал ПП, наливая ДД.

Они чокнулись.

И они пошли дальше по берегу обнявшись, почти как один человек.

— ... и будет обязательная воинская повинность! — говорил ДД. — Солдаты будут нести альтернативную службу. Сажать и охранять леса, разводить зверей, рыб и птиц!

— Ленина похороним за церковной оградой как самоубийцу, — говорил ПП. — А мавзолей, нет, не разрушим, а сохраним! Пройдем в нем глубокую шахту и оградим ее бархатным барьером, как в театре. Люди будут подходить, заглядывать в этот зев, вдыхать замогильный холод и вспоминать миллионы убиенных. Вообще никакие памятники уничтожать не будем, даже Калинин. Дзержинского тоже зароем. Опять же пройдем под ним шахточку и, вертикально же, его туда опустим. А сверху асфальтом закатаем. Клумбу разобьем. Будет у нас первый в мире подземный памятник. Это я вам утверждаю как скульптор.

— А все остальные памятники, — подхватывал ДД, — всех горнистов и физкультурниц, свердловых и марксов, лениных, лениных, лениных... и всех сталиных по дворам и подвалам соберем... и в Горках... и свезем их всех куда-нибудь в одно место... и сделаем такой свой Диснейленд, куда за валюту... и будут они стоять как китайские солдаты... недавно целую армию где-то в Гоби отрыли... свезем их в Каракум с Кызылкумом...

— Не надо пустыню обижать! Я получше местечко знаю. Там уже ничего никогда не вырастет. Есть такое местечко, где когда-то добывали нефть... Вот туда их всех сошлем...

— Ветряные мельницы... солнечные батареи... — лепетал ДД.

— И главное — мой план ГОАЛПРО! Алкоголизации России. Государственный, общий! Нельзя восстановить государство без возрождения народа. Народа без пива быть не может, он вырождается. Без пива народ окончательно сопьется. Что толку бороться с алкоголизмом, тем более большевистскими методами... Против природы не попрешь. Мы — пьющий народ, мы все равно пьем. Но, Господи, ЧТО мы пьем! Итак, категорический запрет на всю нашу бормотуху. Водка тоже только высшей очистки. Виноградные добрые вина, конечно. Коньяки, это кто любит. И — возрождение и повсеместное развитие пивоварения! Это главное! Возрожденные пивные и трактиры — это будут ступени на лестнице цивилизации. Пьяный мужик будет бабу бить не за то, что жизнь свою ненавидит, а за то, что на кухне не прибрано. Пивные должны стать такими, чтобы быт подтянулся к ним, чтобы был образец чистоты и качества, чтобы стыдно перед собой было за свой быт и вид! Представляете, в Кремле, у генсека, у нашего Андропова, — дай Бог ему здоро-

вья! — на стене сталинского кабинета карта одной шестой, инкрустированная полудрагоценными (не будем разоряться...) камнями, а под камнями лампочки... Андропов нажимает на кнопку пульта, загорается звездочка где-нибудь на Камчатке... «Поздравляю, товарищи, — говорит, — еще один первоклассный Дворец пивной культуры открыт в поселке Ключи! (Это неподалеку от Авачинской сопки, вы не бывали?...) Но не надо успокаиваться, товарищи, — говорит. — Медленными, медленными темпами идет план ГОАЛРО! Реакционные силы тайно и явно сопротивляются его развитию. Разбавляют еще кое-где пиво, товарищи! Не дают отстояться пене!»

— Вам нравится Андропов? — ДД презрительно надул губки.

— А что, государственно мыслит человек! Водку обратно меньше пятерки сделал... «Коленвал», пробовали? Водочка, конечно, не самая важная, зато четыре семьдесят. И на сырок остается, и на метро. Печки разрешил на приусадебных участках — это же большое дело! Торговлю у поездов обратно разрешил: картошечка, укропчик!.. А главное, монастырь мужской в Москве разрешил! Дворцы пива и монастыри — вот что возродит сельское хозяйство. Экологически чистые фермы. Мелкие хозяйства, производящие экологически чистые продукты, — вот наша перспектива! Растет экспорт — течет золото. Мы у них, в ответ, дешевые продукты покупаем в обмен на наши драгоценные — и копим, копим!

— Значит, сами не едим?

— По мне, так этой жратвы хоть бы и совсем не было.

— Совсем-совсем ничего не едите?

— Можно и так сказать. Разве что за компанию...

— Интереснейший случай! Мне недавно один коллега рассказывал... Талантливейший, между прочим, врач и биолог. Он — где-то в секретнейшем месте, чуть ли не в Лаборатории сохранения Ильича, там отличное оборудование... Короче, занимается разработкой таблеток от похмелья, для наших шпионов, наверно. Так он говорит, что из ста процентов хронических алкоголиков четыре процента живут до старости, не попадают под транспорт, не суют руки в шкивы и шестерни и даже выполняют, а то и перевыполняют план и норму, не совершают нарушений общественного порядка, кроме разве того, что совершенно не закусывают да и вообще ничего не едят, умудряясь из чистого алкоголя получать все необходимое для жизнедеятельности организма... но, что еще более удивительно, рожают нормальных детей, на которых ни в чем не сказывается алко-

лизм родителя; правда, пока еще наука не установила, передаются ли по наследству эти удивительные свойства.

— Передаются, — уверенно подтвердил ПП. — У меня еще дед был такой. Про прадеда не ручаюсь... Так вы что, — вдруг надулся он, — считаете, что я алкоголик?

— Помилуй Бог! Какой вы алкоголик!

— Это я-то не алкоголик? — возмутился ПП.

— Вы всегда возвращаетесь, — констатировал ДД. — Возвращаетесь к мысли, к теме, возвращаетесь с бутылкой. Вы не алкоголик — вы человек будущего! Четыре процента есть в биологическом смысле цифра гигантская! Куда более важная, чем остальные девяносто шесть оставшихся процентов. Потому что тогда это уже мутация! А в наш век полуголодающего человечества, нехватки природных и пищевых ресурсов на такую мутацию можно делать ставку. Ибо человек, который заправляется, как автомобиль, топливом (кстати, куда более дешевым и неограниченным, чем бензин), исключительно перспективен в эколого-экономическом смысле. За этими четырьмя из ста может оказаться великое будущее.

— Будущее... — мрачно изрек ПП.

И они заговорили об Орвелле. О незабываемом «1984-м». Мол, доживет ли Россия до будущего года?.. Из уважения к цензуре я опускаю здесь их заключения. Хотя не могу, для будущего, не отметить, что один из собеседников очень сильно Орвелла не любит, а другой — находит в нем... Не называю имен.

— Ваш Лоренц убедительнее, — заключил ПП, еще по-мрачнев. — Сейчас, сейчас! Сами увидите.

— Я не хотел вас никак задеть... — оправдывался ДД.

— Это я не хотел вас огорчить. Я хотел было обойти... Но, к сожалению, мы уже пришли. Здесь, за этим волнорезом...

— Что это? — шепотом спросил ДД так, что из губ его вышли одни «о». — ...о-о-о-о?..

— Как вам такой памятник морю?

«Это» — огромное, белое, бесформенное — покорно лежало на берегу, прибитое приливом к столбу волнореза.

— Уже третий день здесь лежит...

Ее было много. Корова не бывает такой большой. Она была как кит. Она не отливала ни перламутром, ни даже бельмом. Свет обтекал ее, образуя лужи. Небо, море — освещение коровы было вокруг. Никто не заметил, как изменилось ВРЕМЯ — как погода. Белое, серое, без солнца... Она уже давно ни о чем не думала, корова.

— Это как раз на границе двух сред, между двумя санаториями, — пояснил ПП. — МПС и ВЦСПС. Или наоборот. Так что они не могут определить, чья это юрисдикция... Ежу понятно, ЧЬЯ это юрисдикция! Теперь ясно, зачем я вам про маятник, зачем я вам про НО-О-О-ОЧЬ!.. Что мертво, что мертвее?.. время ли, не останавливающееся? жизнь ли в нем, с рождения убывающая?! Нет, это ВРЕМЯ — труп! это время — мертво! Как корова. И маятник — это не шаг времени: куда ему идти? — а граница вечной жизни и вечной смерти. Нас заносит маятником из той жизни в эту смерть как личинку, и мы претерпеваем метаморфозы, измеряя ими смерть как время... Взрыв и хаос — вот исходная модель, вот основа — вот что я силюсь вам втолковать...

Но ДД наверно не слышал его. Он обвел каким-то белым, оглохшим взглядом вокруг. Взгляд его был коровой. Увидел тот и другой санаторий. Увидел рыбака, закинувшего свою леску по другую сторону волнореза: разве что спиной повернулся... а так до коровы рыбаку было рукой подать. Увидел стайку смелых пляжниц, нехотя игравших в кружок в волейбол. К ним приближалось существо на двух ногах и без груди, с усами, и они заиграли веселей.

— Господи! — простонал ДД. — На чем ОНИ ходят!!

И, как спринтер, рванул в прибрежные осоки.

Вернулся высоким, бледным и решительным:

— Я знаю, где.

— Тогда пойдём, — не стал спорить ПП.

И они покидают море. Они идут. Им уже недолго осталось.

Но ДД исключительно плох.

— Капитан, капитан, оттянитесь... — напевает ему заботливо ПП, поддерживая его словом и под локоток. — Ну, корова... Ну, как вас утешить?.. Хотите, я вам государственную тайну выдам? Подлинную версию «Витязя в тигровой шкуре»?.. В 1978-м, как раз в самый разгар абхазских событий, тоже, между прочим, засекреченных, туристы нашли эту шкуру, причем вместе с витязем. Тоже на границе двух сред: ледника и морены. А на черепе свежая рана. Инструктор попался опытный: ледорубом дальше действовать запретил, поспешил вниз, заявлять. Только ледник этот, в свою очередь, был естественной границей двух районов: одного мингрельского, а другого абхазского. Кому охота брать на себя убийство русского туриста? Мингрелы утврждают, что тело найдено на абхазской стороне, абхазы, соответственно, что на мингрельской. Турбаза заверяет, что у них ни одного русского туриста не пропадало. Тогда сам собой возникает вопрос: мингрел он или абхаз? Если мингрел

убил абхаза, то тело хочет абхазская сторона. И либо отомстить, либо возбудить дело. Мингрельская же сторона не уверена, что это не абхаз мингрела убил, и тогда пусть они сами отдают и тело и дело. Запутавшись, кто из них кто, созвали экспертизу из местных краеведов, в смысле — мингрел или абхаз?.. Но витязь оказался более древним, чем существующее административно-территориальное деление. Туристы успели поработать ледорубом, но все равно, он очень хорошо сохранился в своей тигровой шкуре, ибо тогда тигры еще водились в этой местности. И тигровая шкура хорошо сохранилась, и высокая козья шапка а-ля Робинзон Крузо, и, главное, оружие: и нож, и дротик, и стрелы, что характерно, с костяными наконечниками. И никто никого не убивал! Сам, дурак, попал в лавину. Однако, когда прямой уголовной ответственности сторон не оказалось, спор разгорелся еще принципиальней, ибо установить его этническую принадлежность означало бы разрешить «давний спор славян между собою»: кто коренным образом, а кто нет. Пока летели к ним из Тбилиси, уже пропал нож и нательный амулет — была выставлена круглосуточная охрана из представителей обеих сторон. Прибывший поэт выдвинул, на основании высокой шапки, гениальную идею, сообщил ее секретно на ухо главе комиссии. Гипотеза не прошла — но впереди был юбилей бессмертной поэмы, ЮНЕСКО и Колонный зал, и пренебречь таким тезисом председатель не рискнул. К тому же тело, спокойно пролежавшее свои шесть — восемь тысяч лет, уже третий день было подвержено современным влияниям. Так же сохранность тигровой шкуры от краеведов. Военный вертолет объявилась незамедлительно, и с участников была взята подписка об ответственности за разглашение. В Тбилиси было произведено дознание. Он бы сознался и что он Шота, и что он Автандил, куда бы он... делся. Что он не абхаз, он бы сознался точно. Но дело в том, что это был первый человек, дошедший до нас в подобной сохранности, то есть событие куда более мировое, чем любой литературный юбилей. Пока летела московская комиссия из Лаборатории сохранения при Мавзолее, у витязя, содержащегося опечатанным в центральном морге, исчезла не только тигровая шкура, но и, уму непостижимо, все его мужское хозяйство. Скандал становился действительно международным, поскольку за сокрытие находки подобного масштаба от мировой обществуности нас могли чохом вычистить из всех международных ассоциаций, включая то же ЮНЕСКО, не только из какого-нибудь антропологического, не говоря о правах человека!.. Выяснилось, что сохранение его, тем более секретное, в его уже несколько подпорченном состоянии обходилось бы нашей

родине в тысячи долларов ежедневно, даже если срочно эвакуировать его в Москву, но — не рядом же его класть... Дешевле было бы отправить специальную экспедицию в какую-нибудь Швейцарию, где и подбросить его под местный ледничок, а там бы его наши же альпинисты и обнаружили бы, сохранив честь открытия за отечеством... Но и этот проект наталкивался на целый ряд технических трудностей, включая таможенный и паспортный контроль. И витязь был засекречен окончательно, то есть исчез, хотя розыск тигровой шкуры еще продолжался, и в этом направлении наблюдались сдвиги: был реквизован нашейный амулет в виде камня с дыркой каменного века, который я, по случаю, получил в подарок.

С этими словами ПП рванул рубаху на груди, обнажая куриного бога.

— Веребочку, конечно, пришлось заменить. Хотите, подарю?

— Господи! — стонет усталый ДД. — До чего же все *тупо, тупо, тупо!*

— Не верите? Берите, берите!.. — настаивает добрейший ПП.

— Вы ручаетесь за подлинность дырки?

— Почти. Она может оказаться и древнее...

— Дырка — древнее каменного века?..

— Кстати, доктор... Лось — это конь или корова?

— Конечно, корова! — злится ДД.

ДД не верит ни одному слову — и как раз в этом случае зря. ПП намекает, что, возможно, интересные органы были похищены самими органами для другой лаборатории сохранения, тоже секретной, заботящейся о сексуальном здоровье руководящего аппарата. По этому поводу он начинает рассказывать новую достоверную историю, как он сам однажды попал в палату высокопоставленной клиники, именно в подобного рода отделение, потому что однажды ему прищемило...

Но эту историю он уже не успевае рассказать, потому что они достигают города, а именно столицы солнечной и гостеприимной Абхазии, города Сухум. Их победу над пространством приветствует городской духовой оркестр, исполняя «Амурские волны».

— Вот что значит «медные трубы»! — восхищается ДД. — Всегда гадал, что бы это значило? Огонь, вода — понятно, но что за медные трубы такие? А это, оказывается, слава! В смысле фанфары. В смысле триумф...

— Крайне сомнительное толкование! — мрачнеет ПП.

— Как я раньше-то не догадался! — ликует ДД. — Другого и быть не может.

— Почему же не может?.. — оживляется ПП. — Очень даже может. В выражении «пройти огонь, воду и медные трубы» нет никакой метафоры, это техническое описание самогонного аппарата.

ДД радостно приемлет новую этимологию. Потому что они совсем уж к «Абхазии» приближаются. К белоснежной красавице «Абхазии», так удачно построенной самим академиком Щусевым именно в этом, а не в другом месте. А там, в «Абхазии», уверяет ДД, его друг, коллега, англичайнин, специалист по западному расселению обезьян в неподходящих климатических условиях... и у него полным-полно всего: всяких виски-шмиски, джин-тоник-шмоник, а чачи — нет.

Но его ждет разочарование: в гостиницу их не пускают. Возможно, за внешний вид. Правда, их пока никто не обижает, милицию не зовут — их не пускают просто как посторонних лиц, указывая пальцем на соответствующий транспарант, на котором красным по белому написано, что ПОСТОРОННИМ В... Тут, на счастье, помрачневший Драгамашенка и превосходно себя чувствующий режиссер Серсов...

И беспрепятственно всех в гостиницу пускают.

Драгамашенка объясняется с ДД, режиссер — с ПП. С англичанином, за которого Драгамашенка несет, как оказывается, прямую ответственность, случилось ЧП; режиссер приглашает ПП на роль в его будущем фильме. На англичанина ночью во сне, но и наяву обвалилась с потолка фанера; нет, сам он не пострадал, он так и не понял, во сне это было или наяву. Потому что фанера эта упала на него вместе с крысой и с кошкой, которая бежала за крысой. Он решил, что у него началась белая горячка. Требовал немедленной депортации. Они такие принципиальные, эти англичане, что он на этом настоял и был срочно эвакуирован с уже неоспоримыми признаками белой горячки. А Драгамашенке, как назло, как раз удалось наконец устроить его поездку к местам расселения обезьян...

Режиссер как раз сейчас переселяется в освободившийся номер.

И никаких виски-миски... ПП быстро соглашается сняться в новой роли у режиссера Серсова.

— Я знаю, куда мы пойдем, — утешает он ДД. — К моему другу Семену. (Он как-то странно, с протяжкой и важностью, произносит это имя: не то Симеон, не то Семион.) Не ожидал я его здесь встретить... Вдруг гляжу — он!

Но это не так, оказывается, близко. Это достаточно далеко от Сухума, в большом, растянувшемся селе Тамыш. Они проклинаят город, рассуждая о прелестях сельской жизни. В городах растет преступность, и нечего с ней бороться, потому что это биологический фактор. Карательные меры неизбежны, поэтому трибунал еще будет некоторое время существовать в преобразенном ими человечестве, но постепенно казнь будет заменена всего лишь ссылкой в города, которые и будут выполнять свою полезную функцию помоек. В них будет производиться фильтрация и очистка всего, и город наконец обретет свое естественное назначение. Город как раз и станет той Великой Свиной Будущего!..

Но это еще не скоро... И Тамыш оказывается далеко.

— Кто-то верит, а кто-то не верит... — ПП покрылся пылью, будто шерстью: и бровки, и щетина, даже руки. — Кто-то ниспровергает, а кто-то творит себе кумира... А я... Я восхищаюсь Господом! Я *Им Самим* восхищен! И не только как Творцом. Это само собой — уму непостижимо, как Он прекрасно все *это* произвел. *Другое* восхищает меня в Нем...

Усталые, брели они вдоль бесконечного шоссе. ДД безропотно плелся чуть сзади, как в поводу. Выглядывал из-за его плеча. Удивленно разглядывал пыль на руке...

— Человечность! — вот что изумительно... Он несет ответственность за каждую свою ошибку. Он *присутствует*. Это такая ошибка человека — забросить Его подальше, на некие небеса! Он — здесь! Мы никак этого не поймем. Он послал нам Сына Своего в доказательство — мы и этого не поняли. И если мы ошибка, то Он усыновил эту ошибку. Он поставил нас этим выше всего в этом мире! Выше ангелов и архангелов! Потому что они всего лишь существа, пусть и высшего порядка, а мы — дети Его. Вы говорите, что Адам праотец наш... Нет! Он тоже всего лишь тварь Божья, потому что он не был Сыном Его. Мы — внуки Адама, но дети — Господа. И Он давно ждет. Он нуждается в нас. Он все еще надеется. Он верит в нас. Можете себе представить, как же Он *верует!* Мы же отчаялись и веруем во все, что угодно, кроме Него. Мы провозглашаем Его заветы, заповеди и законы и сами себе ими угрожаем. Мы запугали себя Господом как начальником, который нас осудит и накажет. А Ему не этого от нас надо. Ему бы немножко нашей веры и любви. Немножко ответной ласки отцу... Вы не замечали, что отец — всегда самый необласканный в семье человек? Он работает, и работает, и работает. Или пьет, и пьет, и пьет. И так и сходит на нет, не разогнувшись... Папа! — ПП всхлипнул. —

Прости меня! Ну вот мы и у цели, — спокойно тут же сказал он, бросив взгляд окрест. — Уже скоро. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем наша общая ошибка. Веруете вы или нет, совсем неважно. Вы — человек. А Он... Он — не над нами, Он — в нас. Мы с Ним — одно. И не преклоняться перед Ним, не извиваться, самоуничижаясь, и не строить из себя богочеловека, а надо Им самим стать. — И он опять взглянул окрест. — Вот и кладбище показалось... Тут уж рукой подать.

С кладбища доносился негромкий, ненадрывный, умеренный плач.

Хоронили Сенька, Семена, Семиона или Симеона. Он пропал, и его хватились лишь на третий день. Нашли его в разрушенной церкви, той самой, VII века, уже застывшего. Неутешная крыша металась по храму. В красной рубашке, он обнимал большую ведерную бутылку чаи, которую украл у мамы Нателлы. Это она плакала так ненарочно, так честно и ровно: «Разве я ему не наливала?.. разве бы я ему и так не дала?..» Он так и не прикончил всю — достиг половины. Но он и не расстался с ней. Кто-то даже высказался похоронить их вместе. Потом решили этими же остатками его помянуть.

— Запомните, доктор, — сурово изрек ПП. — Похмелка — это все то, что ты выпил вчера.

ДД было отказывался — все порывался в соседний санаторий. Там одна сотрудница... видел бы, какими глазами посмотрел на меня утром ее сын...

— Что вы топчетесь, как Наполенон?

И воля доктора была уже сломлена.

ПП мерно стучал лбом о крышку простого гроба.

— Что же вы так плачете, доктор??

— Я представил себе биомассу червей...

Так умер русский бич, Божий человек Сенек-Семион.

И здесь, на скромных поминках, над свежей могилой, ПП потерял ДД и отключился сам.

Тело на газоне, покой. Разговор души с телом, тела — с Богом.

Разговор пустой бутылки с травкой:

— Дай!

— На.

III. ОГОНЬ

I. КОТ

Вопрос о том, кто я такой, встал необыкновенно остро. Он опускался — меня опускали.

Встречи хватило дня на три. Объятия распались. По телефону его заверили, чего он стоит, и я согласился. Я растянул осень, и тем более состоялась зима. Из окон дуло очередной ноябрьской годовщиной — шестьдесят пятой? шестьдесят шестой? шестьдесят седьмой. Три дня превращались в три года, и три года пролетали как три дня. Шуба на мне развалилась. Вот уж не знал, что стоит достаток! И очки могут стоптаться на носу, как подметки, — что уж сетовать об обуви. В квартиру набежали тараканы. Сопли охватили меня пожаром, платки сохли по батареям. Я просыпался от нестрашных, занудных кошмаров, все менее отличавшихся от жизни.

Сначала будто бы ничего, сплю. Звонок — иду открывать. Извиняются, не туда попали. Ничего, ничего. Иду досыпать, лег — проклятье! — забыл свет в квартире погасить: из-под двери бьется. Иду гасить, а они уже на кухне, с тортиком, чай пьют. Очень миролюбивы, объясняют, что раз уж у них так и так адрес неправильный, а они специально на новоселье на поезде приехали, то они уж у меня и чтоб я присаживался. Я им что-то насчет того, что как-то так... а они: ничего, ничего, не стоит, мол, мне беспокоиться. И все такие круглые, провинциальные, ненервные, как бы даже застенчивые, но наглые. На звонок уже сами пошли открывать, а там еще такие же, и опять с тортиками. Я их выталкиваю, а они становятся как бы вялые, бессловесные, валяются, я в них путаюсь, вязну, все более зверея. Накидал полную лестничную площадку каких-то ватников, валенок, ушанок — последние так вообще превратились в половую тряпку. Только снова лег — шкаф стал потрескивать, форточка распахнулась, искры из всех щелей, и дымком повеяло. Надо форточку бы затворить — сил встать больше нет. А в форточку уже какой-то ватник лезет, ушанку обронил, ворчит. Шкафчик мой в углу задел, со шкафчика бюстик Наполеона

начал валиться. Я еле его поймал, чтобы не разбился. Выпикиваю ватного обратно в форточку; он раздался, как пролез, и обратно не пропихивается. Искры сыплются, как от сварки, Наполеон посверкивает бронзой в их свете, а глазницы у него пустые, как у античных статуй. Наполеон-то у меня откуда? Не было у меня отродясь Наполеона! Не стоял он у меня никогда на шкафу... Выбрасываю и кумира, вслед за ватным, тщательно закрываю форточку, а там, за дверью, уже дым коромыслом, гвалт, кутерьма — электричество жгут и веселятся.

Сопли душили меня. Пробуждаясь, в ужасе зажигал я настоящий свет; в той же, однако, комнате, тянулся за корявым комком носового платка. Из платка порскали тараканы.

Вот что такое быть диссидентом! — усмехался я. — Жрать нечего, и — никакого приема у Рейгана... Главное — не перепутать начальные стадии с окончательными. В моду входил СПИД. Соппротивляемости никакой. Сопли переходили в кашель, а кашель — в понос. Методы слезки и синдром мании преследования совпадали. Начальные симптомы приводили к случайным связям, а случайные связи к алкоголизму. Не опохмелившись, душа жаждала расколоться. Колоться было перед кем, но не в чем. В одном случае ты становился сумасшедшим, в другом — эмигрантом. Не хотелось ни того, ни другого. Но КГБ все-таки лучше эйдса, и не надо их путать. Слава моя росла.

Его навещали. То девицы, то проходимцы. Проходимцы были в буквальном смысле — прямо с вокзала. Живу я там как в анекдоте, живу!.. Меня будили спозаранку: прямо с поезда. Встреча наша напоминала встречу двух котов в подъезде. Не без достоинства. Один с трудом отражается в зеркале, у другого глаз на щеке. Не без правил. Например, снять в прихожей обувь и последовать по моему замызганному полу прямо на кухню. Пока я делаю вид, что моюсь, — на самом деле обдумываю, как тут быть, с неудовольствием проводя невымытой рукой по заиндевевшей щетине. Портфель, который он внес, был больше его самого. Не иначе как все имущество. Можно точно датировать его появление. Как раз был сбит корейский лайнер, а за день до того открылась Международная книжная ярмарка и я встретился со шведским издателем. Швед был из Amnesty, и взгляд его выражал недоумение, будто я как-то не так себя вел. Мол, все еще не сижу. Он и в прошлый раз настаивал, как бы так мне помочь. Я разочаровал его тем, что мне нужны только очки «как у битлов». Вот и сижу напротив незваного гостя в шведских своих очках...

— Половина миллиона ваши, — говорит он, раскрывая портфель.

«Как просто!» — восхищаюсь я.

Наконец-то меня покупали. Гордыня моя была поставлена на место: не могли прислать кого-нибудь поубедительней?

Он вынул из портфеля зубную щетку, а затем и всю рукопись. Она помещалась в четырех папках, каждая из которых была в отдельном целлофановом пакете плюс завернута в некий пергамент.

— Так, — сказал я, овладевая ситуацией. — Сколько вы отсидели?

— Восемь лет. Почти восемь...

— А сколько вы это писали?

— Год. Почти год...

— А сколько здесь страниц?

— Восемьсот. Почти. Немножко не хватило.

— И вы хотите, чтобы я это прочитал за день?

— Так вы же не оторветесь!

Выходит, ситуацией и владеть не надо, если она исходно твоя.

«А кто читал-то?» — «Так вы первый и будете». — «А откуда вы меня надывали?» — «А в адресном бюро». — «Вы что же, меня читали?» — «Не-а, я по «голосам» про вас слышал». — «А с чего вы взяли, что вам миллион отвалит?» — «Так не меньше же миллиона...»

Его наивность была равна лишь его же опыту. Он сел, когда ему не было и четырнадцати. Ума мне стоило понять, что он ТАКОЙ. Что никем, кроме себя, не подослан.

— А зачем пергамент?

— А если в воду бросать! Я все продумал. Я еще и рекорд Гиннеса поставить могу. Могу присесть пять тысяч раз. Сейчас, без тренировки, не могу. Но две тыщи точно смогу, прямо при вас. — И он тут же присел, в носочках...

— Увольте, — я сдался.

И я не оторвался...

Глаз ему отстрелили еще в деревенском детстве за то, что отказался поцеловать котенка под хвост. Приседать он научился в штрафном изоляторе, чтобы не замерзнуть. Был он пожизненно влюблен в одноклассницу Веру, но осмелился признаться лишь из тюрьмы, выкупив фотографию у сокамерника-красюка. И получил он на свое признание положительный ответ — из Верочкиного письма выпала фотокарточка ее старшей полногрудой сестры. Решил он устроить побег, чтобы жениться,

и, познав кодекс, крикнул конвойным: «В малолетку не стрелять!» — и получил пулю в плечо. Он бежал и чувствовал, что ему вообще оторвало руку. Раненая рука была со стороны без глаза, и он не мог ее видеть. Тогда он взял ее другой рукою и поднес к другому глазу на бегу, чтобы убедиться...

Я погибал — его спасали. Дарили ему котенка Тишку. Варежки и шапка больше ее самой. А Тишка еще меньше варежек. Я целовал ее в холодную шапку, в варежку, в Тишку. Скорей!

Нам мешали. Кто бы это мог быть? Его я никак не ожидал. Единственный в своем роде на земле человек. Такой же, как я. Родители — те лишь наполовину такие же, каждый на свою. А этот — такой же, на обе половины. Получается, брат. Хотя грузин. На год он бежал впереди меня.

Он не должен был ее видеть, она его — слышать. Квартира однокомнатная, я прятал ее в шкаф, в чем была: в рубашке и в шапке. Он продолжал перерождаться в женщину. В доказательство чего отпустил бороду. Женщины его больше не интересовали как мужчину. Уже год он поднимал всю медицинскую литературу. Это была редчайшая генетическая болезнь, почему он и обязан был меня предупредить. Чтобы я впредь правильно выбирал родителей.

Это сама по себе долгая история. Потом он пропал.

Она выходила из шкафа в одних варежках. Соски ее пахли нафталином.

Лучше всех было Тишке. Он спал на моих свалявшихся рукописях.

Она уходила. *Он* успел, негодяй, поцеловать ее в руку. А то она опять засунула бы ее в варежку.

Она, или брат, забыла книжку? «Жестяное руно победы».

Перевод с грузинского.

Пишут же люди!

Покатыми нобелевскими волнами катилось повествование. Лизало берег Колхиды. Маленький усталый отряд, последний остаток могучего войска. Впереди Язон, не иначе как в «плаще с малиново-красным подбоем». За ним тот, который все исполняет молча, вроде в плену ему отхватали язык. А за тем уже тот, который только почесывается, — его донимают «москиты». Всех по очереди трясет малярия. Лишь один Язон гладко выбрит, отражаясь в собственном щите. Иной хромает в конце — короткий обоюдоострый меч натер ему шею, и у него «гноится набедренная повязка». И тут немой произносит первое слово. «Понт», — сказал он. Короткий и обоюдоострый промыл

свою рану морской водою. Развели костерок. Отблески играли в их запавших глазницах. Жертва москитов почесывал свою широкую грудь осетина. Сыпались искры, не достигая звезд, под которыми мирно спала непостижимая Эллада, забыв своих героев. Со страницы повеяло костерком, и ноздри мои раздувались от бессильной зависти к этому дневногрузинскому греку.

Поторопился я спастись до срока... поторопился я креститься — вот что! Сорок лет прождал, как великий князь, а — поторопился. Не умер я тут же! А как там было умереть?... Глаз, тот не умер, когда ему, ребенку, шконкой (прут из спинки железной кровати) фанеру (грудь) отбивали, — а как тут умрешь, дотянув с грехом до сорока, в самом красивом месте на земле... от счастья разве. Монастырь Моцамета, что, как выяснилось, и значит «верующие», стоял на километровом обрыве над Курой, и с обрыва там праздновался такой мир и пейзаж, еще и принаряженный осенью, — воздух был чем дальше, тем прозрачнее: на дне его, на пойменном берегу, как раз собрались отпраздновать воскресенье, разводили шашлык, выкладывали лаваш и зелень, и счастливая корова, подкравшись, украла лаваш и бегала кругами по лугу от преследователей, как собака, и обворованные были еще счастливее вора...

«Знаю грехи твои... — сказал отец Торнике на первой в моей жизни исповеди, не дав мне рта раскрыть, — могу себе представить... И отпускаю тебе... Только запомни, грешить тебе с этого дня станет тяжелее». И вздохнул со знанием. Зря я ему не поверил! С весельем плевал я на сатану, в виде скребка и метлы притуленных в углу храма; «Тьфу на сатану!» — провозглашал отец Торнике, и все мы, шествовавшие гуськом, со свечками в руках, с радостью выполняли. Легко мне тогда было плевать на него! Дорогой Гаги, драгоценный отец Торнике... легко тебе было получать свой первый срок, крестив пионерский лагерь во время купания! Вылезали тогда дети на бережок уже без красных галстуков... «Да мне, — говорил Гаги, — стакана на роту хватит». Надо было на меня потратить побольше, за счет пионерлагеря и потенциальной роты. Дорогой Гаги! Помяни меня в своих молитвах...

Меня спасала, в частности, одна редакторша. Пробовала оформить мне командировку в Тбилиси для участия в «круглом столе» на тему «Феномен грузинского романа». Для начала мне дали редакционное задание. Разоблачить лжегероя. Героем он стал за Афганистан — так ему мало: теперь он спас утопающего. Как психолог, я должен был доказать, что никого-то он не спасал, а просто по инерции искал того самого подвига, кото-

рому всегда есть место в нашей жизни. Для либеральной редакторши это была бы доступная форма осуждения войны в Афганистане.

Мне не понравился ее пафос. И я пошел.

Передо мной сидел очень спокойный мужик. Как опытный следователь, я занял место против света, чтобы видеть все оттенки выражения его лица и чтобы он, стало быть, не видел моих оттенков. По тому, как он усмехнулся, мне показалось, что он просек. Ему хватило взгляда, чтобы провести рекогносцировку и сосредоточиться на выбранном объекте. Это был почему-то громкоговоритель. На него-то он и сориентировался. Я, значит, был психиатр, а у него мания. Я был убежден, что кабинет не оснащен. Проследил за его взглядом. Почему-то пациента волновал шнур. Шнур был выдернут из розетки и болтался, несколько не достигая пола. К тому же он завязался узлом. Узел был не затянут. Ну уж никак нельзя было через него прослушивать! Одно то, что майора вызвали для беседы со мной и я принимал его в кабинете, хоть и не в своем (но откуда ему знать, что не моем?), делало меня, рядового, необученного, негодного к строевой службе — как это у них? — «младше по званию, но старше по должности». «Это веселило изгой во мне. Младший по положению соответственно стоял и молчал. Я пригласил его сесть и рассказать все, как было». Да не собирался я его спасать! — не то чтобы с раздражением, но с добродушной досадой начал майор. — Просто я, как назло, накануне книжку читал, не помню, простите за извинение, автора. Там про нашего брата. Там герой помроты, а девушка у него медсестра. Так вот она там как раз утопленника спасала. Рот в рот. Я запомнил. Я и рассказывать никому не хотел. Только в понедельник в академии разговор, как кто выходные провел, а они знали, что я на рыбалку собирался. Я и говорю, какая, извините, на три буквы, рыбалка, когда мне сегодня всю ночь его лошадиные зубы снились. Ну, того, значит, кого рот в рот. А там один со мной учится, в стенгазету пишет. Он, значит, и написал, а гарнизонная газета перепечатала. А я бы, если б перед тем в книжке не прочел про медсестру, рот в рот, то и не снились бы мне лошадиные его зубы. Я и не собирался стать военным, мечтал, конечно. Я на заводе работал, у меня уже пятый разряд был. А тут повестка, поступай, зовут, в училище. Ну, я пошел. Недавно в цех свой зашел — ну, все помнят, не забыли, выпили, конечно, я специально с собой взял. Даже заскучал по цеху. Ну, куда уж теперь, и квалификация не та, и вообще, теперь уж до запаса. Только училище кончил, а тут вызывают срочно —

и в самолет, куда чего, никто не знает. Потом на вертолет, и десант. Я, значит, с первого самого дня, с первой ночи. У нас писали, что 21-го, а на самом деле 20-го. Но это я так уж, по секрету, вам говорю. Вы этого не печатайте. Мы первыми во дворец и ворвались. Как сейчас перед глазами. Такая голубая комната, вся шелком обитая. Но пустая уже. Только один альбом на полу и валялся. Я его еще посмотрел. Там всякие семейные его фотографии. Красивая женщина! Знаете, я честно скажу, сначала совсем не страшно было, даже интересно. А потом, как меня зацепило в первый раз, я в броню залез и не вылажу. Мне наш замполит, ничего не скажу, отличный парень, так говорит: ты вылезай из брони-то, из танка то есть, а то так и просидишь. Ну, пересилил себя, потом ничего. В разведку идешь — стрелять нельзя, тесак один на все отделение, верите ли, старшина под расписку выдавал, а на спине рация сорок килограмм. Спина вся черная, боль адская. А надо, чтобы не заметили. Там какого афганца встретишь, тут же кончатъ приходить, чтобы своим не сообщил. Ну а как стрелять нельзя, приставишь тесак к уху и стукнешь по нему, так он от и до уха. Главное — тишина. Так вот, одного не убивали, а, значит, на него, как на ишака, рацию. Он и нес до самого конца. Потом, конечно, ликвидировали, что делать? Большого удовольствия в этом нет. Того-то помполита, на повышение пошел, а нового прислали — дурак дураком, неопытный еще. Мы к их посту подползли, копыта обвязали, тихо. Я высовываюсь — двое, с винтовками, у костра. Я выбрал, на кого броситься первого, и машу, чтобы с другой стороны зашел, чтобы другого на себя взял, а он: «Чего?» Но я-то уже бросился на своего, а другой услышал — и на меня прикладом. Пол-уха мне оторвал, но я его все-таки прикончил, а помполит — того, все-таки молодец, сзади кокнул. Жрать хочется! А они как раз лепешку ели. Я лепешку разламываю, а она в мозгу перепачкалась, темно, так я пачканую помполиту, а сухую — себе. Ничего, не заметил. Потом еще до утра оба ползали: я затвор потерял, когда прикладом-то махал. Так и не нашел. Потом на китайский заменил, он подходит, номер мне ребятам перебил. — «Так вам за это Героя дали?» — спрашиваю. «Не, не за это, да и не дали, а только представили. Там сто шестьдесят убитых надо было, а у меня только сто двадцать девять. Помполит, тот, про которого я раньше рассказывал, представление на Героя заполнял, округлил. Ничего, посмеялся, Родина простит. Но нас двое было, а Звезда одна. Мне Красного Знамени дали. Вот она, редакторша ваша, не поверила, что я утопленника откачал, я это отметил,

между прочим, он уже совсем был; я, главное, удочку закинул, смотрю, какой-то розовый пузырь на воде, а это его спина оказалась, он горбом, как поплавок, всплыл. Ну, я вытащил — спина сухая, теплая от солнца, а сам холодный. Я зову, кто откачивать умеет, а они сначала все столпились, а как позвал, и все разошлись, «скорую» вызывать. Какая «скорая»! Я пробую искусственное дыхание, толком не знаю как. Куда там! Тут я и вспомнил про медсестру, в книжке. А он, наверное, выпил перед тем как следует. Так это все рот в рот, с блевотиной. Часа два над ним бился. Сам не поверил, когда он очухался. Тут и «скорая» подкатила. Стали выяснять кто да что, а я нахлебался, я задами, огородами, как Котовский, удочки-то смотал, какая рыбалка! Вот я ему, корреспонденту нашему, только и проговорился про то, что мне всю ночь его лошадиные зубы мерещились. Что тут? А он расписал. Вы бы лучше про наши детдома написали. Ведь какая нищета, ужас! Я с шефским у них был, так, поверите ли, они потом, после выступления, в очередь выстроились, потрогать чтобы только... к руке прикоснутся — и отойдут, а там следующий...» — майор отвернулся.

Я думал, слезу смахнуть, а он привстал. «Извините», — говорит и прямо к громкоговорителю. Развязал узел на шнуре и обратно сел, успокоенный: мол, теперь порядок. «Ну, вот и все, — говорит. — Ничего я вам такого не сказал. Ничего секретного. Только про дату, что на день все раньше началось, чем сообщали... но это и не такой уж секрет».

Вышли мы вместе, я посмотрел с презрением на поджидавшую нас редакторшу, и молча мы так мимо нее прошли. Прошли, прошли на улицу, там меня все это время ждал, и все еще ждал — Дрюня-Дрюнечка, дружок-мой-ситничек, святой человек: имел принцип похмеляться с тем, с кем выпил вчера, тем же, что пил вчера, и столько же... втроем повернули за угол на бульвары, к «Наденьке», там еще тогда разливали. Выпили по стакану, Дрюня еще поспорил, кто за кого платить будет. Майор и заплатил, и телефончиками обменялись.

Сама жизнь подавала мне пример: Глаз, Язон, Афган... Надо было побороться с собой, чтобы убедиться, что перед тобой именно то, что кажется, а не то, что есть. Бороться! Совершить положительные усилия независимо от возможности реализации. Я откликнулся. Я поднимался в шоферы везти одного монаха по владимирским проселкам. Сдал кота соседке-певице. Мы осматривали мерзость запустения разрушенных храмов и сокрушались сами. Монах был старец лет тридцати. Его мудрость и зрелость равнялись разве что его неопытности. Он

годился мне в отцы и сыновья. Как теленок, бегал он по линзам владимирских лугов, собирая на рясу всю пыльцу, а цветов было видимо-невидимо!.. Я сопровождал молча. Ему хотелось меня спросить, но он не мог. Он хотел, чтобы я его спросил — я не знаю что. «Вот, — наконец собрался я с духом, — в Творца верую, в Христа верую, в Деву Марию — верую, а вот в дьявола не могу поверить, что он на самом деле...» — «Во что же вы тогда веруете! — возмущился монах. — Ведь воздух кишит ими!» Он выразительно широко взмахнул, описав круг, и зашагал широкими шагами прочь от меня по лугу. Он удалялся быстро, и вдруг я впервые отметил, что он никак не исказил нетраченную красоту владимирского луга! Монах — вот человек пейзажа! С умилением провожал я взглядом его легко вписывающуюся в пейзаж пирамидку. Под рясой не было видно двуногости... Неужели в этом и было все дело? «Освящается сия колесница!» — рек он, когда мы благополучно прибыли. Автомобиль был освящен, и я почувствовал, как повеяло дымком и гарью уж не иначе как от меня, когда усаживался ехать домой...

Меня у дома уже новый гость поджидал. На своем «Запорожце». Прямо из Мурманска.

«Мало у нас горя, чтобы ты еще не пил», — говорит мурманчанину Дрюня. Но тот не пьет и не курит. И еще, как постепенно мы догадались. Не то, что можно в таких случаях подумать, а как раз наоборот. Белоснежный воротничок, на брюках бритвенная складочка, вольный пуловер так и спадает с плеч, аккуратнейший в искорках седины бобрлик, худощав, складен, пластичен, а уж выбрит! Кожа... какая-то особенная кожа, на поколение самого моложе, шпарит наизусть Кузмина. Как он такой из своего «Запорожца» вылез?.. Не пьет, так пусть хоть за бутылкой сгоняет. Так он города не знает. Дрюня вызвался показать с готовностью, так у него места в машине нет: все скарбом забито, и даже переднее сиденье снято. Мы не поверили, вышли посмотреть: и действительно, вся машина забита книгами и вытуженными рубашками. «Все мое вожу с собой?» — спрашиваю. Он снисходит к моей шутке. Оказывается — бич, оказывается — бомж. Машина, выходит, есть, а прописки нет. Отбичевал лето, к зиме на юга подался естественно, через Москву, естественно, через меня. Подвалила Дрюнечкина семья: гости Великого Гэтсби, друзья и знакомые Кролика... УБ, полковник ГБ в отставке, Устин Беньяминович, дедушка и внучек одновременно, бабушка у него все еще была жива тем, что души в нем не чаяла; Эйнштейн, армянин, сыроед и дворник, с ним всегда хорошо поспорить на тему, является ли

водка сырым продуктом; и сам Салтыков с песней, из тех самых Салтыковых, из которых Салтычиха, а не из тех, что сатирики и Шедрины. Он так и входит, громко распевая:

Так по камешку, по кирпичику
Расташили мы этот завод!..

Затем дева юная явилась спасти меня от другой, которая явилась как раз за минуту до нее. Не разделявший наше общество мурманчанин отвел меня для разговора один на один из кухни в комнату и — не сразу то, что все сразу подумали, а чтобы я тут же, при нем же, читал его рукопись, правда небольшую. В оценке Набокова мы сошлись. Тут я отдал ему должное. В оценке же его текста я не оправдал, не прошел, так сказать, его экзаменацию. Тет-а-тета не получилось. И он не мог скрыть легкой гримасы отвращения, когда снова вдохнул весь наш смрад. Девушки плакали на плече Салтыкова.

Не говори с водою о любви!
Ей не до нас, она бежит по трубам...

Вода — это были конечно же они; о трубах ни слова.

Появился и Зябликов, Павел Петрович в своем роде, *редкий гость*, и всех тут же споил. Он выкурил всю траву у буддистов, выпил все церковное вино у православных и теперь превзошел себя как экстрасенс. И правда, сила убеждения у него была колоссальная. «У тебя обязательно где-то есть клоп, я чую...» Тараканы — да, но я гордился, что клопов у меня не было. «Ты что, не знаешь, что такое клоп?» Клопом оказалось прослушивающее устройство. Зябликов прикрыл глаза и стал пассировать руками. «Здесь», — определил он, ткнув в решетку вентиляции. «А ты знаешь как сделай?» Я еще не знал. «Ты решетку отдери... У тебя какая-нибудь пика есть? («Только бубна». Шутка не прошла.) Ну, кочерга... Ты... — наставлял он, — решетку сдерни, возьми пику, туда ка-ак... — он сделал зверское выражение лица. — Хрясь! Проколи его!» — И он вонзил незримую пику и стал похож на Георгия Победоносца, даже что-то грузинское проступило в его курносом незамысловатом лице. Дрюня все и проделал, один к одному. Пики не нашлось — из изуродованной отдушины торчал обломок единственной моей швабры.

Девочки, так и не поделив, ушли с Салтыковым и Зябликовым, в полном согласии. И остались мы, как всегда, один на один с Дрюнечкой. Он как раз взялся тосты произносить, а это

надолго. Я это терпел, потому что он утверждал, что я гений, а его трудно было переспорить. «Вся беда наша, — вдохновлялся он, — что совершенно нету Сальери!» — «Ну да, — сказала та, что все-таки вернулась, — а Моцартов у нас хоть жопой ешь». Мы очень смеялись.

Он обижал — я обижался. В глазах двоилось. Девочка оказалась дамой, бывшей женой. Дрюня был рыцарь. Он не мог потерпеть с ней такого обращения. «А что в портфеле? В портфеле-то что? А ничего. Пуст портфельчик-то!» Гнев ошпарил меня. И был это уже не Дрюня, а Сергуня, друг наш общий и ситный, кто посмел мне сказать такое.

Рубашку он порвал на Сергуне, а сахарницу с рафинадом надел на голову Дрюнечке. Оба прыгали вокруг в стойке Кассиуса Клея, но так и не ударили, щадя национальное достояние. Рафинад оказался острым. Исцарапанный и не стоящий на ногах Дрюня был сопровожден запрезиравшей меня дамой.

И я остался наконец один. Один, один! Один во всей вселенной! Брошенный и никому не нужный... Добился-таки, чего добивался. За что боролся, на то и напоролся! Как все провоняло!..

Я двинул в ванную комнату смывать позор... Так вот откуда воняло! В раковине лежало большое Дрюнечкино говно — это он удалялся замывать нанесенные мною рафинадные раны. «Так ведь неудобно же! — восхитился я. — Высоко! на одной ноге! И унитаз рядом!»

Это и был катарсис, в смысле — очищение. Пока я все это замывал, меня вывернуло. О, Боже!

И кто-то терся о мою ногу.

Тишка! Тиша-Тишенька!.. Дорогой ты мой! Один ты у меня... Что же я забыл о тебе, гондон я этакий! Ты же голодный у меня! Сейчас, сейчас, родной...

Вот что надо. Вот что надо-то! Надо кормить. Как просто! Надо просто кого-то кормить. И никаких вам.

Простые, тихие, осмысленные, одинокие движения старого человека. Достать из морозилки рыбу. Пустить горячую воду. Положить рыбу под воду. Сейчас, сейчас, потерпи... Нельзя тебе сырую, надо хоть чуть-чуть отварить... Вот.

Жена ушла — семья вернулась.

Вот и хорошо, вот и славно. Хорошо одному в кровати! Книжка, кошка. Без б... Мур-мур. Где это в тебе, Тишка, помещается, что это у тебя за моторчик такой?..

«Люди еще спали в позах вчерашней устали. Мертвецкий сон... Будто и их настиг меч и копье врага. Будто и они не ушли

со вчерашнего поля боя. Язон замычал и замотал головой, как бык, пытаясь вытряхнуть из глазниц видение проигранной брани. Красное. Все красное. Красные волны под веками. Язон пошел к морю. Утренняя роса смыла вчерашнюю пыль с его сандалий. И море было кровью. Эксинский Понт катил свои рассветные розовые волны. Кровавый Понт!»

Понтяра!

Я решительно погасил свет. Тишка урчал на измученной груди. По потолку бродили отсветы Казанской железной дороги, перемыкивались тепловозы, и вольно парил над уснувшей столицей незлобивый диспетчерский, усиленный мегафоном мат: «Куда прешь, падла?»

Я был счастлив. Я спал.

Проснулся я от петушиного крика. Испугался. Петух откуда? А где я?

Когда раздался колокольный звон, я успокоился. Может, уже?

Но раздавался на груди богатырский храп Тишки. И он-то уж был явно жив. А если он жив, то уж и я не мертв. Наверное, какое-нибудь постановление вышло, а я и не заметил, что можно в одной церкви, по большим праздникам, разок позвонить... Андроповские, поди, еще дела. Говорят, он и мужской монастырь разрешил. Много он, однако, разрешил. Вон и картошку с укропчиком можно теперь снова у поезда продавать, как после войны. И печечку разрешил поставить в садовом домике. И водочку в пятерку обратно вместил... Может, и добрый в душе человек... Что же это он со мной-то так? Может, он и петухов заодно разрешил на балконах разводить?

А может, кончилось наконец все? Ни тебе корейского лайнера, ни афганского... Церкви звонят, петухи поют.

Только не так все это. Кто-то давно в дверь ломится.

Тишка обиженно мявкнул, так я вскочил. Сердце мое заколотилось от неоправданной надежды, что на этот раз это она. Та, единственная, шестая, что ушла навсегда. «Ну, Тишка, — даже сказал я, — пошли хозяйку встречать».

Сначала я увидел одни розы. Все как бы в капельках утренней росы. Опаловые, нераскрывшиеся — давно не встречал такого роскошного букета. Букет вошел стремительно, будто за ним гнались. «Вы меня не помните, но мы уже однажды виделись...» Я был польщен: все-таки розы автору — не шутка. Они не просто дорогого, а просто дорого стоят. Кому из секретарей или главных редакторов принесет незнакомая девушка розы?! Вот награда опалы. Опаловая награда... Тут же

попросила поставить их в воду. «Конечно, конечно! такие... розы!» — я засуетился, сдирая целлофан. Она отняла букет, почти вырвала — я уступил с некоторым недоумением. Ну да, женщины всегда лучше знают, как обращаться с розами... Сейчас начнет обдирать стебли, попросит сахар, молоток, аспирин, вазу, кофе, водку, вату, халат, уйдет в ванную... В ванную она ушла, тщательно поправляя целлофан на букете, пустила в раковину воду. Вид раковины, наполненной розами, поразил меня.

Терпеть не могу людей, слишком близко подносящих свое лицо к моему. Будто они бокал. То ли они близоруки, то ли уверены в своей неотразимости, то ли у них изо рта пахнет. Почитательница оказалась писательницей, занесла свою рукопись, как раз ей было по дороге на вокзал, едет встречать (кого, не сказала), а еще час времени, решила занести. Она и Тишку подносила слишком близко к лицу. Я отобрал у нее и Тишку и рукопись, намекнул ей, что она опаздывает. Это ее не смутило — смутил мой достаточно безумный взгляд, которым мы встретились в зеркале над раковиной. Знала бы она, что это был хохот! Я смотрел, как с черенков струйкой сбегает вода в *чистую* раковину... Два объекта — вечер и утро — были зарифмованы в ней. Рифма была парной. Хорошо, что между строчками оказался пробел! Что было бы, если бы я бухнулся в койку как был, не умываясь, что, как правило...

Говно и розы! «Говно и розы»... Чем не роман! И все это под музыку Вивальди. Как раз моя соседка, меццо-сопрано, дивно ее исполняла. Это была моя единственная запись, и я без конца ее прослушивал. Как раз накануне с ней была вот такая история...

Позвонил американский профессор Маффи (что, как всегда, оказалось его именем, а не фамилией), что у него есть для меня разговор и пакет. Слово «пакет» он произнес по телефону шепотом. Пакет оказался стереосистемой, посланной моим лучшим другом Ю., недавно туда эмигрировавшим. Маффи был очень красив. Он не мог скрыть удивления перед тем, как я живу, хотя я прибирался перед его приходом часа три. Он двигался осторожно, пытаясь не прикоснуться ни к чему, будто и стены были заразные. Даже стул он поставил посреди комнаты, чтобы ни к чему не прикоснуться. Я небрежно взглянул на систему и поблагодарил, но он настаивал продемонстрировать ее действие, будто не столько передавал, сколько продавал товар. Его как бы даже обижало, что я недооценивал материальную значимость дара. Я же был, по-видимому, задет, что

профессор был занят не своим прямым делом, то есть изучением моего творчества. Как профессиональный коммивояжер, он извлек из кармана кассету. Это была хорошая исполнительница, не Джоан Баэз, а другая, и машина звучала отлично. Американец говорил ровным, вставным русским голосом, как немец. Он как-то хотел убедиться, что передал именно этот аппарат мне. Он хотел убедиться в том, что я понял назначение клавиш. Он делал достаточные усилия, чтобы не посмотреть то на валяющуюся рукопись, то на загулявший ботинок. Человек, как ему говорили, русский писатель, продолживший традицию, у которого вещи валяются на полу, у которого нет под рукой штопора и он выбивает пробку ударом руки, мог, конечно, пустить технику не по назначению. Нет, он вообще не пьет и не курит, профессор Маффи, у него еще один эпойнтмент... Но я его все-таки задержал. Что-то в том, как он прямо сидел посреди комнаты, поставив ноги как в таз и не касаясь широкими плечами моего воздуха, подвигнуло меня... Я еще раз, более развернуто, поблагодарил и похвалил звучание. Но, сказал я, мне не с чем сравнить, у меня только одна кассета, которая я знаю, как звучит. «Одна кассета?..» — некоторое недоумение в его голосе удовлетворило меня. Я знал, что делаю. «Да у меня тут, — небрежно сказал я, — соседка моя поет...» — «Поет?.. О,» меня вполне устраивало его недоверие! Я хорошо запомнил, вот уж точно — на всю жизнь, впечатление от этого первого звука, от этого звука впервые... но это отдельная история. Сейчас этот Маффи не мог представить, что его ждет. Я ведь так же еще недавно не знал... Небрежно передал я ему затертую кассету (без коробочки). Он бережно вставил ее, хряпя почти неудовольствие на лице...

О, есть, конечно, замечательные певцы... Но случается раз в жизни и восторг встречи с божеством! Кассета открывалась «Арией» Вивальди.

Спору нет, и машину мне прислал мой заморский друг Ю. отличную. Маффи, он тут же мне стал как-то роднее и ближе, так и не успел переменить выражение на лице — оно застыло в mine неудовольствия, застигнутое врасплох. Именно это имел в виду великий слепец... кстати, о слепце... но и о нем потом. И именно кто к мачте себя надо привязать, чтобы не улететь вслед за голосом. Одиссей, сирены, дальше был Шуберт — Маффи перевел дыхание. Обвел взглядом комнату, где оказался. «Соседка?..» — надо было его слышать: такое меццо, какие палатцо, какие Ниццы, какое, где и ему никогда не бывать, подложил он под образ этого голоса? «Ну да, — невзначай

обронил я, — этажом выше. Ну, там, соль, спички... «Соседка!» — воскликнул он, поспешно собираясь, возмущенный моей ложью, которая была истинной правдой. Я ликовал: «у советских собственная гордость».

Рассказать ли мне сейчас же о том, как это произошло и со мной впервые? О ее поводеыре, провинциальном меломане, оказавшемся вдруг слепцом? О трех людях, сидевших в зале? Нет, в другой раз.

И все-таки сейчас. Надо отдать должное ангелам, а не бесам. Еgo спасали — я спасался.

Маффи можно понять. Бывают такие пробелы... Если о человеке никогда не слышал, чего он стоит? Наша информированность всякий раз исчерпана окончательным знанием всего лучшего. Некстати она мне позвонила и не впервые, никак мне было не до нее с ее концертом... Но голос по телефону был такой властный на этот раз! Я заводился и вез, по пути выслушивая жалобы на все эти клубные концерты: хорошо, три человека будет!.. Я заранее предчувствовал всю эту вокальную жалкость. Поклонник певицы, ехавший с нами на концерт, усиливал во мне это чувство. Он был из провинции, церковный сторож. Иногда вырывался в столицу послужить и своему музыкальному кумиру... Мы прошли в обшарпанный ДК с черного хода. Пройдя коридорами мимо передовиков и лозунгов, приблизились к «артистической». Вид артистки стал отрешенным и величественным — мы не могли ее больше сопровождать: ей надо было подготовиться. Мы решили тоже подготовиться и стали искать туалет. Тут некоторая странность в движениях ее рыцаря насторожила меня... Сначала он наткнулся на подоконник, потом на урну. Пьян он был, что ли? Потом прямехонько направился в женский туалет, и я еле успел его остановить. Он был слеп! — вот в чем оказалось дело! И не он, а она была его поводеырем. И здесь, уже в мужском, правильном сортире, справляя, услышал я... «Что это?» — спросил я с ужасом и восторгом. «Это? Виктория!» — с гордостью сказал слепец. Вся мощь неба пронизала серые стены — и это была лишь проба...

Но и ангелы не спасут!

Потому что только выходит бедный Маффи — входят двое. С общим портфелем. Такие же провинциальные, как с вокзала. Но чистенькие. В стоптанных башмаках и кривых галстучках, побрившиеся в вокзальном туалете.

Братья Гонкур? Ильф и Петров? — усмехался я, пока они искали место, как получше поставить портфель. Они оказались физики, изобретатели. Состоялся серьезный разговор. Один

был как бы старше по званию, адъютант-майор, тот и говорил, а другой, помладше, приват-, так сказать, лейтенант, сержант-доцент, тот все больше молчал, выразительно кивал, на портфель поглядывал, где, наверно, чертежи изобретения... Дело было вкратце вот в чем. Да, они работали в секретной лаборатории. Они не скрывают от меня, что в КГБ. Они поинтересовались в свою очередь моим образованием и, выяснив, что я не физик, объяснили, что суть их открытия, которому предстоит перевернуть основы, они объяснить мне не в силах, но принцип заключается в том, что они подошли вплотную к созданию психогенного оружия; собственно, у них уже готова модель — излучатель пучкового действия, пока, правда, маломощный. «Гиперболоид?» — спросил я. Они не уловили иронии, а криво усмехнулись: все помешались на научной фантастике, вот и вы. Инженер Гарин, инженер Гарин!.. А это всерьез, это очень опасно, то, о чем они мне сейчас, по большому доверию и секрету, сообщают. И как только они осознали опасность, они попытались тут же уйти из лаборатории. Сами понимаете, как это непросто: выйти из системы. Их преследуют. Они вынуждены прятаться. Нет, сейчас за ними точно не было хвоста, могу им верить: как-никак у них есть кое-какой опыт (горькая усмешка), как отличить топтуна от ищейки. И как же? Сразу видно. Тут они начали мне растолковывать разницу в доступной и мне форме, значительно толковее, чем сущность психмашины. «А за мной кто-нибудь следит?» — «А как же! Хвоста за вами, может, и нет, а топтун — вот он. — И они подвели меня к окну. — Не очень-то высовывайтесь... Вон там, у «Рыбы», в лыжной шапочке, видите?» Я, кажется, узнал этого ханурика: он и впрямь топтался, было холодно. «Почему же это у вас хвост, а у меня всего лишь топтун?..» — обиделся я. Все это начинало доставлять мне удовольствие. «Ну, вы себя с нами не сравнивайте! — у нас мировое открытие оборонного значения, а вы писатель... («Всего лишь» — они проглотили, вовремя осознав неловкость.) Но у вас обширные связи с мировой общественностью, — улестили они меня обратно, — вот почему мы тут...»

Суть их дела вкратце сводилась к следующему: я должен был всколыхнуть общественность, подвигнуть ее на обращение, предупреждение миру о грозящей ему опасности, привлечь мировое внимание к проблеме. Я на попятный: «С чего вы взяли, что у меня обширные мировые связи?..» Ну, они опять усмехнулись, в том смысле, чтоб я не скромничал: ну да, от меня только что вышел Маффи... Пока они еще умудряются скрываться, ночуем в разных домах и городах, пели они, но так долго

не продлится: кольцо сжимается, им не уйти... А когда формула окажется в ИХ руках!.. представляете, что тогда произойдет. В общем-то, как они ни иронизировали над научной фантастикой, сценарий их мало отличался от «Гиперболоида инженера Гарина» — как раз только что прошел сериал по телевизору. Все-таки могучая вещь в России — литература! Сколько шизиков оплодотворил один Алексей Николаевич Толстой, граф наш советский... И вот опять вопрос: шизики или провокаторы? Нет ответа. Вот Глаз — по всем параметрам был провокатор, а оказался выдающимся персонажем... Ну, эти-то никак не выдающиеся... Если это профессионалы, то обидно, право, за нашу родную Чека... Или они меня ни в грош не ставят, что самых завалящих подослали?.. еще обидней. Тогда все-таки просто шизики — опять услуга вражьих «голосов». Шизики ведь не только телевизор смотрят, но и «голоса» слушают. Враги нам тоже «маньки» подбрасывают... Чтó они, на пару, что ли, работают, враги и Чека? Чтобы всех нас с ума свести?.. Ведомство-то, что ни говори, одно. То есть ведомства-то разные, что ни говори, профессия — одна. Так кого же они сводят с ума: этих вот двоих или все-таки меня? «Все-таки вы недооцениваете себе масштабов угрозы... — говорят они. — Представьте, что эту психопушку наводят не на армию, не на соседнее государство... до таких мощностей нам еще далеко, хотя и это будет, а наводят ее прямехонько на вас — и такая установка у нас уже есть, лабораторная пока модель, но на двадцать метров она уж точно берет». Говорят они и обводят взглядом мою кухню, в которой и десяти-то метров, причем квадратных, нет, и тут их взгляд останавливается на швабре, которая так и торчит из отдушины... И тут они ее как бы не замечают, но с новым воодушевлением начинают описывать воздействие на меня наведенной пушки: два дня облучения — и полный паралич воли и разрушение личности. Какая воля, какая личность!.. знали бы вы... Это только вам, в отделе вашем, кажется. Одни вы, выходит, меня и признаете. И то спасибо. Знали бы вы... то захлопнули бы папку с делом моим и отбросили бы как ненужную ветошь. Представление о тусклом чиновнике, единственном, быть может, на свете человеке, заинтересованном в моей личности, в ее значительности и даже силе, обдумывающем стратегию борьбы со мной, подсылающем мне провокаторов и наводящем на меня первый в мире опытный экземпляр психопушки... Подумаешь, что есть у человека? Жена, дети, друзья, призвание — так ничего этого нет, а вот только и есть что гражданин следователь, про которого я-то совсем ничего не знаю, а он про

меня... самый заинтересованный во мне гражданин! Вот он один да еще котеночек прибудненький — вот что у меня осталось! Что это со мной? Похмелье или пушку таки навели?

Тут появляется Тишка и выводит следователя на чистую воду. Бочком так, бочком, выгнув под острым углом тощую спинку, грозно оскалившись и шипя, приблизился он к их громоздкому портфелю, как к зверю дикому, — вот-вот растерзает! Нежностью и смехом переполнил он сердце мое, а ихнее, двойное, тревогой и беспокойством. Взгляд их стал блуждать и речь заплетаться, ну, в точь, как если распознаешь черта во сне за личиною близкого друга или родственника да перекрестишь его, во сне же, точно так же их стало вдруг кособочить и перекашивать... Отвага нарастала в крошечном Тишкином тельце, ибо враг с тупым выражением замков на лице явно трусил. Тишка наскочил и отпрянул, выжидая: ни признака жизни! А если замереть надолго и неподвижно, то что-то там будто живет внутри... Мышь! Мышь, точно, жила внутри портфеля. Не такой мой Тишка дурак, чтобы неживое за живое принимать! Маг! как я сразу не догадался, когда они портфель так заботливо определяли!.. Ай да Тишка, ай да сукин сын! Похмелил ты душу мою!

Тут я поднялся и пресс-конференцию стал сворачивать. Посоветовал им обратиться лучше к ДД, пишущему о науке: у него и авторитет, и сила, а я что, человек маленький, никаких таких связей у меня нет, и пушку, такую дорогую, нацеливать на меня нерентабельно. «Что же вы, разве не знаете, что он как раз у нас и сотрудничает?» — попробовали они новый прием. «Вот никогда бы не подумал... Самый что ни на есть либерал — сотрудник?! Да быть того не может!» — «Может, может». — «Спасибо, что предупредили». — «Зря вы, однако, так, — сказали они, подбирая с двух сторон свой подслушивающий портфель и шуганув героического Тишку. — Вы что же, думаете, вас так прослушивают? — и они кивнули на мою швабру. — Тогда вы уже готовы». — «В каком, простите, смысле?» — «В смысле поехали». — «Знаете что...» — грозно сказал я. «Мы-то, наивный вы человек, знаем. Да вам просто гвоздь в стенку забьют и будут ночью на дежурстве смотреть. Презабавная вещь — как интеллигенция в постели кувырается...»

Швабру я в сердцах вынул, а гвоздя, как ни искал, не нашел.

Пахло рыбой, говном и розами.

Тут-то *моя* и вернулась — навестить Тишку. Готовность все простить кончилась тут же.

— И не стыдно тебе в такой сроч девушек приглашать? Господи! какие девушки, откуда... Она принялась еще.

— Ну, и блядей ты к себе водишь!

Где-то я уже читал, что в основе духов лежит та же самая молекула... И я решил рассказать ей всю правду.

— Опять врешь, как два человека! Думаешь, я в духах не разбираюсь?

Это было *наше*, это было *родное*, и это было *всё*. Она хлопнула дверью.

Господи! что вам всем от меня нужно? Что я, сладкий, что ли? Разве не видно, что меня уже и нет никакого совсем? Или как раз запах падали влечет? Агония привлекает? Жизненную силу последнюю ухватить хотите? Растащить по норкам мои ниточки? Чего именно я вам недодал? А что ты такого дал, что жмешься?.. Ничего ты, по сути, никому не дал. Только разочаровал всех. Лекарство брату? Так не лекарство было ему нужно, и правильно жена его таблетки в помойку выбросила: не пригодилось оно, не помогло. Глазу был нужен миллион, он даже готов был половину отдать — не дал ты ему миллиона. Голубому божу признание его рассказа хотелось или еще чего? не дал ты ему ни того, ни другого. Провокаторам твое согласие сотрудничать требовалось — ты и на это не пошел. Роман, говоришь, пишешь?.. Да одному Дрюнечке твой роман и нужен — так ты даже ему его не написал. Пуст ведь портфельчик-то? а? За что же иначе ты его сахарницей-то? Ну, ладно, согласен, не дал я им того, что от меня хотели... а они мне что дали?! А ты что хотел? Да ничего я от них не хотел!! Вот видишь. А они хотели — вот они себя и дали. А я и не просил. Ты не просил, а они дали. А я... а я им... я им себя не давал?! Не давал, ты себя предоставлял. Что же теперь-то возмущен, что они пользовались? А кто ты есть? кто ты такой есть, чтобы... Кто ты без них, то есть без войска своего кривого? Не любишь ты меня, вот что. Как же не люблю, дорогая? Никого ты не любишь. Я?.. не люблю?.. И маму — где твоя мама? И дети... где твои дети? Ну, ударь меня, попробуй только ударь! Ударь меня, милый, хоть ударь...

Ну, как же это я не люблю? что ты говоришь такое? как же это я тебя не люблю! когда я так, та-ак, так сильно тебя люблю, что и не знаю уже что... ну, отчего же я тогда сильно так погибаю, если так уж, как ты говоришь, ничего не чувствую?.. Тишенька мой, Тиша ты, ты Тиша, ну, что это она такое мелет...

Я целовал Тишку в его заострившуюся от недоумения мордочку — в руках его совсем мало оставалось, одна шерстка и была, а там, внутри, всего-то комочек, не больше нашего сердца... Только вдруг взгляд Тишкин заоловянился, расцарапав меня, рванулся он из моих рук, упал на пол и забился на боку, перебирая лапками, будто помчался в ином измерении в неведомое пространство. Долго носило его по моему заплеванному линолеуму, по какой-то сумасшедшей элоквенте: по кругу и вперед и снова по кругу... Оказался он в конце концов в противоположном углу комнаты, под шкафом, с которого во сне падал Наполеон. Тиша, Тишенька, что с тобой? Он был, однако, жив. Он был весь мокрый, втрое меньше себя, но бок его вздымался, он дышал.

Я позвонил ей. «Тиша», — сказал я. Она приехала тут же, будто под дверью стояла. Тиша, однако, успел совсем оклематься и презабавнейшим образом разыгрывал мышь из моего засохшего комом носового платка. Вышло, что я налгал только для того, чтобы ее вызвонить. Но это, оказалось, ее как раз и устроило. Таким образом, это устроило нас обоих. Обошлось без выяснений. Не могу вспомнить, как потом все-таки случилось, что я оказался-таки виноват, заманив ее Тишкой.

Но только она хлопнула дверью, а может, и не только, а через час, а может, и на следующий день — ничего не помню — помню только, что Тишка опять бьется в своей падучей, как Достоевский. Я звонил ей, она бросала трубку. Я звонил, кому мог, выясняя, бывает ли у котов эпилепсия. Звонил, между прочим, и Зябликову, великому знатоку животных. У котов, сказал он, все как у людей, разве что похмелья не бывает: есть ли у меня опохмелиться? У меня не было, у меня вообще ни копейки не было. Выручила, как всегда, меццо-сопрано: сказала, что это глисты, написала, как их выводить, и денег дала.

Ничего не помню. Будто бы сначала даже полегчало, и появилась надежда, и даже глисты вышли. Все время я ходил с тряпкой и намывал. Никогда в жизни пол не бывал таким чистым. Но припадки учащались и удлинялись, смотреть на это было невозможно. Кто хоть раз в жизни жил лет сорок пять при советской власти, тот знает. Тот знает, как приезжает неотложка. Тем более ветеринарная. Я бросался с тряпкой отворять дверь, но это был Глаз с рукописью, он самолично относил свой портфель в Хаммер-центр (как его пропустили! но пропустили...), там предлагал свой роман итальянцам за соседним столиком, уже всего за сто тысяч, его, конечно, замели, он успел

спулить записную книжку, а бумажку с моим телефоном проглотил, и его выпустили. Ну, Дрюня с Салтыком, те, почитай, и не выходили; девушка, что была когда-то с розами, решительно забрала назад свою рукопись; бомж на «Запорожце» забыл что-то у меня спросить; позвонил из Баку ассистент режиссера, которого я не так давно встретил случайно в Сухуме, предлагал немедленно вылететь для исполнения одной из центральных ролей... нет, не «Дама с собачкой», сценарий кардинально переписан, действие происходит в Средней Азии во время войны... да, можно сказать, что своеобразное ретро... нет, режиссер и помыслить не может никого другого на эту роль, он извиняется, что не мог позвонить сам, он как раз снимает песчаную бурю... нет, конечно, Баку не в Средней Азии, но это же кино, сами знаете... нет, он вас видел, и ему необходима благородная внешность... не смейтесь, это его слова, что вы необыкновенно облагородились внешне с тех пор, как он вас не видел... вы ему напомнили молодого Нейгауза... нет, конечно, он не может его помнить по возрасту, и мы знаем, что вы не актер... но мы вам заплатим по высшей ставке...

Тиша опять пошел выписывать свои круги, пена запузурилась у него из пасти, оставляя влажную математическую кривую... Что тут было делать? Припадки падучей сменялись сексуальным помешательством: он трахал все подряд: одеяла, подушки, полотенца, стулья, портфели, рукописи, пустые бутылки, пепельницы, туфли, зонтики, самих гостей. Наверно, все они тогда и пришли, когда я не помню. И эти двое с психопушкой... А что, может, и впрямь меня уже опытно облучают и знай увеличивают дозу, удивляясь моей крепости, а вот на бедного Тишу лучи эти сразу оказали губительное действие? Ни разу никто не сходил на моих глазах с ума так наглядно. И все дают советы! Страна советов другу другу, как говаривал Ю., приславший мне магнитофон, который Тишка тут же весь затрахал. Американский профессор, Маффи, кажется, так его звали, тот прямо бежал, бросив магнитофон... Что, нельзя вызвать ветеринара в этой стране? Вызвать-то можно... Съесть-то он съест... И впрямь, почему это у нас еще слоны не дохнут?.. Богатая, не говори, страна... Негудбаев, тот сказал, что кошек в космос никак нельзя запускать. Они все шизые. Только собачек... «Только собачек», — говорил космонавт Негудбаев, сидя у меня на кухне и потирая для стойкости свои генеральские лампасы. Не иначе как привел его ко мне афганский майор. Разлили по новой — Негудбаев все продолжал свой рассказ про коньячный огурец. «Знаете ли вы, что такое коньячный огурец? Нет, вы не

знаете, что такое коньячный огурец!» Фляжка была сделана из фольги, основной вес составляла завинчивающаяся пробка. Фляжку спрятали под панель одного из приборов, при взвешивании ракета оказалась тяжелее на полтора кило, но фляжку не обнаружили, пришлось размонтировать один экспериментальный прибор... так уже в космосе, когда фляжку-то отвинтил, она сделала «бляммп», а там же, сами понимаете, невесомость, и в воздухе повисла одна большая коньячная капля, точно огурец, пришлось его прямо в воздухе по капле весь изловить...

Потом Негудбаев исчез. Следом пропал Тишка.

Наконец приехала «скорая». Негудбаева как не бывало. На вопрос, бывает ли у кошек эпилепсия, пожали плечами, предложили усыпить. Я ни в какую, но тут исчез сам Тишка. Он давно уже подкарауливал у дверей, пытаюсь улизнуть при любой возможности. Он хотел еще успеть пожить как взрослый кот: попеть, посмотреть... Преждевременность его развития доказывала смертельность болезни. Я отлавливал его на лестничной площадке, в чужих подъездах и подвалах. Он смотрел на меня оловянным, не желающим меня узнавать взором — взглядом сына, отбившегося от рук: он мне этого не прощал. В его нежелании идти домой было отчаяние решения, не только безумие. Наконец он исчез окончательно.

Господи, что я за человек такой, что со мной ни одна тварь ужиться не может! Вся моя жизнь утончилась и уточнилась и начала происходить. Она пришла сама: как я посмел ничего ей не сказать про Тишку! — мы искали вдвоем. К нам присоединился Зябликов. «Я тебе сразу сказал, что это чумка, — сказал Зябликов, — он подволакивал ноги?» У нее с Зябликовым установилось взаимопонимание. Это всегда можно заметить, когда ее движения становятся чуть более пластичными, а взгляд на долю секунды более внимательным. Я ходил за ними по дворам, досадуя на собственную унылость и бестолковость: не мог я первым сообразить, что именно в этом подъезде мы еще не были и что тут еще один подвал есть.

Отогревались — она варила глинтвейн. Зябликов, тот мог пить что угодно, любую аптеку. Однажды он выпил дозу дезинсектала, достаточную для уничтожения вредителей на площади в половину гектара. «Почему же именно в половину?» — возмутился я. «У нас больших участков не выделяют», — доказал правоту Зябликов. И правда, он никогда не врал. Такому, как Зябликов, врать не имело смысла. Я ему уступал. Что у меня было, кроме благородной внешности? Я ее понимал.

Нашел Тишку, однако, я. Лучше бы я его не находил! Что-то было бы в том, чтобы он пропал без вести, пав участью боевого кота, а не злосчастливого советского животного. У него был перебит хвост и лапы, и с первого взгляда было видно, что он не жилец. Он, однако, царапался и вырывался, не желая себе никаких улучшений. Она увидела его у меня на руках — я тут же и был виноват в его таком бедственном состоянии. Так я его держал, как свою вину... Держи его Зябликов — был бы героем, что нашел. Найди его она, то это была бы именно она: нашедшая его! А я и держать-то его на руках не умел...

Однако и машину надо было завести мне и рулить мне. Потому что машина была у меня, а кот у нее. Он лежал у нее на раменах, как у богородицы. Машина моя уже месяц как не заводилась. Она напоминала хозяина, как собака. Так, говорят, что с возрастом они становятся похожи. Крылья у нее были как у бабочки, так осыпались. Дырки я, по чьему-то наущению, подклеил выброшенными колготками, в цвет. Коллегия шоферов, созданная тут же на улице Зябликовым, ковырялась у меня в моторе. Потом мы ее толкали всей улицей. Потом никого не стало. Уже стемнело, когда она завелась сама, ни с того ни с сего. Главное было теперь не глушить двигатель и не тормозить, потому что тормоза тоже не действовали. «Смотри, — сказал Зябликов, показывая на мой задний номер, — клоп!» Впервые я видел клопа, одну из его разновидностей. Зябликов все про это знал. «Твой тихарь помогал нам заводиться, я видел». Это была такая круглая серая блямба на магните. Она была присобачена над номером. Я снял ее и повертел. А где микрофон? «Это передатчик, жопа!» — сказал Зябликов. Я приклеил ее на то же место, и мы поехали.

Как раз все ветлечебницы были уже закрыты. Мы искали все более круглосуточную, пересекая столицу из конца в конец. Господи! что это был за город... Только настоящая беда проведет нас по таким закоулкам. Место нашей жизни было указано. Раскисшие дворы и склизкие полуподвалы. Последняя тетка, шваркающая шваброй в освещенном проеме: «Как раз опоздали, голубчики, как раз только доктор ушел, а что у вас, котик?» Богоугодное, как-никак, заведение.

Я был уверен, что Зябликов мне клопа прилепил. Оказалось, и тут нет. В первом же дворе за нами сразу объявилась милиция. Сначала один как бы невзначай прошел мимо, оглядывая машину, но мы стояли, и он не подошел. Потом другой, стоило нам отойти. Зябликов опять первым сообразил: снял клопа и сунул в карман. «Я тебе докажу», — сказал он.

Так мы и катались: снимали клопа, когда останавливались, и снова ставили, когда трогались. И каждый раз из-под тротуара появлялся постовой, будто просто так: на нас не смотрел, будто даже посвистывал и на небо поглядывал. Мы обсуждали. Выходило так: они заметили, что мы заметили, и теперь их основная задача — ликвидировать секретную улику. Это поважнее, чем следить за тобой: кому ты, на ... нужен?

Так мы и катили. Чулок выбился из дырки в крыле и развевался как посольский флажок. «Это когда в машине сам посол, — разъяснял Зябликов, — а если без посла, то шофер не имеет права... Машина посла экстерриториальна. Находясь внутри, вы как в посольстве, на территории своего государства».

Наша машина была экстерриториальна: ГАИ нас не останавливало, а только будто провозило взором и уходило в будку звонить по телефону. Нас, выходит, сопровождали. «Смотри, смотри!» — тыкал Зябликов в заднее стекло: там откровенно ехала черная «Волга», вся в фонарях и антеннах, со всеми примочками.

Так мы и катали Тишку, с флагом и сопровождением.

Нас это развлекало и позволяло пережить. Мы очень смеялись. Все-таки она понимала в котках: Тишка у нее спал и больше не бился. «Это сблизает», — сказал Зябликов.

Это нас и разъединило. Мы закопали его у насыпи Казанской железной дороги, и именно тогда позабыли вовремя положить клопа в карман — он исчез. «Этого им и было надо, — зло сказал Зябликов. — Что ж ты прошляпил?.. Такая улика!»

И она ушла, не сказав ничего на прощанье, не подымая глаз.

Остались мы с Зябликовым один на один. «У тебя хоть выпить осталось?» — Зябликов вдруг взглянул на меня тем внимательным взглядом, из которого исчезла насмешка, и, вздохнув, будто с чем-то смирившись, пошел за мной, хотя у меня не оставалось. «Почему-то на похоронах всегда зверский аппетит. Недаром поминки...» Он рыскал в поисках одеколona, бадузана, экстракта хинной коры, любого эликсира, зубной пасты, даже ваксы — у меня ничего не было, но он нашел и стал варить суп из пакетика. Я предупредил, что это еще от прошлого жильца, а я вселился вот уже несколько лет... Но Зябликов был славен своим гастрономическим бесстрашием. «Это что... Я однажды съел яйцо дракона, которому было несколько миллионов лет...» — «Яйцу или дракону?» Я был тронут его внимательностью. «Конечно, яйцу! — обрадовался он. — Дракон был бы еще на несколько лет старше. Ну, бронтозавр. В Таджикистане. Я нашабился дури — жрать захотел жутко. Отправился на

рынок, купил сразу сто яиц. Поставил их все варить и уснул. Просыпаюсь дурной, но уже без аппетита. А у меня сто яиц, уже крутых. Я в ступоре их все очистил и слепил один огромный желток, а сверху подумал и соответственно облепил уже белком. Положил на большое блюдо для плова. Что делать? — думаю. Позвонил в местную Академию наук. Так и так, говорю, нашел целое яйцо бронтозавра; находится у меня. Примчался весь президиум, в тюбетейках, в халатах, а поверх — ордена и медали. Сели вокруг блюда по-турецки, стали думать, про Москву рассуждать. Послали наконец за водкой. Я им в водку — дури. Забалдели аксакалы, аппетит опять зверский, они от задумчивости все яйцо и съели. Просыпаются: где яйцо? Будят меня. Не знаю, говорю, я сразу уснул... а вам его под вашу ответственность оставил. Не знаю, говорю, что теперь будет. При упоминании Москвы их как ветром сдуло...»

Не развеселила меня эта история. «Как ты думаешь, *Как грустна наша Россия* это Пушкин сказал или Гоголь придумал?» — «А ... его знает! — в сердцах сказал Зябликов. — Мертвых не умею вызывать. А с живым могу устроить встречу. С кем хочешь». Не понял я, что он имеет в виду. А имел он в виду свои исключительные способности экстрасенса, открывшиеся в нем столь же внезапно, как в свое время принадлежность к буддизму или православию. И имел он в виду то, что встреча моя могла состояться не только с человеком, находящимся в пределах, но и с недосыгаемым, как одна моя заморская подруга, видеть которую мне страстно хотелось именно тогда, когда одиночество становилось качественно полным. Зябликов, конечно, был проникательным человеком, достаточно, впрочем, посвященным в мою биографию. Не знаю, чего тут было больше — моего неверия в то, что он осуществит такую встречу, или моего нежелания никого видеть. Однажды он уже лечил меня насильно от головной боли. У меня есть достоинство: она никогда не болит (у меня там кость, как в анекдоте). Так он мне так ее накрутил, что я сутки не мог избавиться от острейшей мигрени. И я подчинился. Мне все было легче, чем как-нибудь.

«Ну, — сказал он властно, усаживая меня на кожаный потертый диван и усаживаясь сам справа. — Где она?» — «Не знаю». Это затруднило задачу. Он взял меня за правую руку, нащупал пульс. «Закрой глаза». Я закрыл. «Думай!» Я не мог думать. «Что видишь?» Я ничего не видел. Мне не хотелось ему врать.

Странная это была помесь полного недоверия к экстрасенсизму и желания быть предельно честным в эксперименте...

«Ну! — он зло сжал мне пульс. — Не сопротивляйся!» Ничего, кроме потертого же, как диван, пианино, которое стояло напротив и на которое я с удивлением смотрел перед тем, как глаза закрыть, у меня перед глазами не было. Пианино застряло под веками, будто я глаз не закрывал. Оттенок его черноты напоминал воду. Воду в речке Фонтанке, на которую выходили окна моей школы. Так же смотрел я в окно на эту воду, не слушая бубнения учителя, как сейчас смотрел на пианино и не слышал Зябликова... Я смотрел на воду из классного окна и думал, что это венецианское окно, имея в виду стекло. «Где ты?» — донесся до меня издали голос Зябликова. «В Венеции», — усмехнулся я. «Ты знаешь адрес?» — «Нет, откуда?» — «Так спроси!» — «Кого?» — «Любого». — «Их много». — «Первого встречного!» — он сжимал мой пульс с нетерпением. — «Ну, что же ты!» — «Неудобно как-то... Да я и языка не знаю». — «Спрашивай по-русски!» — приказал он. «Не получается». Я чувствовал вину. «Сядь в гондолу!» — «А что я ему скажу?» — «Пусть везет, куда хочет, это все равно. Ну? — услышал я нетерпеливый оклик. — Что?» — «Плывем...» — «Скажи, чтоб причалил». Лодка ткнулась о три ступеньки, плескавшиеся в воде. Школа была напротив. Я ступил на берег у обшарпанного палатца. «Входи!» — слышал я будто из лодки. «Странно, здесь нет входа...» — «Входи со двора! Ну?.. Есть вход?» — «Есть»... — голос мой достиг меня со стороны, слабый от расстояния. «Входи!» — «Да тут только лестница и маленькая дверка...» — «Отворяй дверцу!» — «Да тут только метлы какие-то, совки...» — «Совки... — нескрываемое презрение звучало в ухе. — Тьфу! Подымайся же!» — «Тут две двери... Я не знаю, какая...» — «Толкай любую! Ну? видишь кого?» Это была довольно сумрачная и неприбранная, холостяцкого вида пустоватая комната, у скошенного окна помещался канцелярский стол и такой же стул. Никого. «Никого. Это не та квартира...» — «Там же еще комнаты есть!.. войди в следующую... Ну? Кто-то шарахнулся от меня. В сумерках я не сразу распознал лицо. Вот уж кого я никак не ожидал увидеть! Здесь мой брат, — сказал я. — Он испуган». — «Это нормально, — услышал я удовлетворенный голос. — Тонкие тела всегда пугаются. Спроси, может, у него есть выпить...» Брат мой смущенно заправил неприбранную постель, на которой спал, по-видимому, не раздеваясь, и обрадованно достал бутылку из холодильника. Он поспешно прикрыл его. Я успел заметить, что в остальном холодильник был пуст. «Ну, есть у него что-нибудь?» — «Есть, виски». — «Сколько?» — «Чуть меньше полбутылки». — «Это

уже хорошо... Разливайте скорее!» Брат засуетился, принес два стакана, наскоро и плохо помытых. Насколько он был напуган моим внезапным появлением, настолько он был рад этому временному выходу из положения. Торопливо разлил, рука его дрожала. «Ну, чин!» — сказал он, и это было первое, что он сказал, и жадно выпил. «Ну, — донеслось до меня с того берега, — ты выпил?» В задумчивости я все еще крутил стакан в своей руке. «Он выпил, а я еще нет», — докладывал я. «Ну, что же ты?! Давай скорее! Хлопни... хлопни... хлопни!» — эхом доносилось до меня, будто он сложил ладошки рупором и кричал через реку. Я наконец решился. «Хлопнул», — сказал я. «Ка-й-йф...» — громкий шепот прозвучал прямо в ухе, и с руки будто сняли наручник... «Говори теперь с ним о чем хочешь... Я не слушаю». Я растерялся, я не знал, как и о чем его спросить. Мне было его почему-то непереносимо жаль. Непоправимость — вот слово. Как приговоренный... Когда обжалованию не подлежит. Когда ты еще и согласен с приговором. Он был в здравом уме, как никогда. И это было несчастье. Нам, собственно, не о чем было говорить: все было ясно. «Зачем ты это все учудил?» — спросил я, чтобы спросить. «Они обещали меня вылечить, и я остался...» — вот все, что он ответил, и улыбнулся вдруг слабой и нежной улыбкой отца. Черные волны рояля опять поплыли перед глазами... Я высадился, где сидел, напротив пианино... Рядом спал Зябликов, блаженно распавшийся. Я хотел его спросить, почему брат, о природе странного этого перерождения моей заморской подруги из женщины в мужчину. Зябликова было не добудиться. Я заботливо закинул его ноги на диван и укрыл пледом. Плед почему-то был отцовский, который он накидывал себе на зябкие плечи перед смертью.

Все это было не отсюда. И плед, и пианино, и диван... Откуда у меня пианино? Пианино было из квартиры Зябликова, в которой я тогда еще не бывал. Значит, это не тогда. Это потом было. Но плед-то был еще задолго до этого?..

Про кота я тут же навсегда забыл. Он не помещался ни в прошлом, ни в будущем. Никто не заметил: сначала он был только жив, потом он был более жив, чем мертв, потом более мертв, чем жив, потом только мертв... — никто не заметил. Сильные чувства чем хороши — от них устаешь. После этого я не мог жить один.

Господи! как хорошо иметь надежду! С каких пор мы надеждой называем отчаяние? «Это жизнь», как сказала одна ласковая жена, вставая в доступную позу, узнав, что у мужа умер отец.

Я толкнул систему, подаренную мне заморским другом Ю. Раздал деньги женам. И уже летел в самолете, читая сценарий, в котором дал согласие сыграть пусть и не главную, но одну из центральных ролей. Холливуд из эвривеа¹.

2. ПРИБЛИЖЕНИЕ О...

(Минки линк)

Холливуд из эвривеа... Через три часа я ел шашлык из бараньих яиц, запивая их чешским пивом на берегу Каспийского моря. Была ночь и ветер. Ночь была теплой, а ветер сильным. Он расшатывал жалкий дощатый ларек, создавая дополнительный уют. Сезон кончается — начинаются съемки: мы были одни на берегу. Снаружи была пустыня, внутри было все. Прибыв сюда затемно, я еще не знал, насколько это правда выйдет на свету.

Я вышел взглянуть на море под предлогом выпитого пива. Моря не было. Был черный зияющий провал, из которого несло темнотой и тиной. Будто море вне сезона запирали, как ларек. Или даже будто его украли.

Может, это была какая-то здешняя — восточная? мусульманская? — особенность: иметь всё дома и ничего на улице... Повар с официантом играли в нарды, не обращая внимания ни на цветной работающий телевизор, ни на нас, ни на плиту — у них и таймер был! — неудивительно, что и чешское пиво. И будто это именно мы хозяева: доброжелательные, обманывающие себя искусством кинолюди, пьяные не слишком, а в меру, поскольку завтра съемка.

Прозрачная зеленая букашка, единственный здесь представитель моря, переползла по пивной кружке мне на руку и уставилась смышленными голубыми глазками. Я не выдержал ее взгляда и прикрыл глаза, пытаюсь расслышать прибой в свисте ветра. Это было мне теперь важно как музыканту... Листья. Почему-то берег был усыпан опавшими листьями. Странно, никогда я такого моря не видывал. Будто во сне. Сон это и был.

Я был похож на Нейгауза и преподавал фортепьяно. Мой ученик, казах по национальности, был похож на молодого Пастернака. Я оставил жену и женился на домработнице, у которой от меня ребенок. Я должен был провести младенца

¹ Hollywood is everywhere (англ.).

босыми ножками по роялю, чтобы он оставил на пыльной крышке свои трогательные следы (что-то у меня не так давно, жизнь назад, уже было связано с роялем?..) За окном в это время должна была быть гроза: гром, молнии, потоки по оконным стеклам. Приходил мой школьный друг, художник, потерявший на войне руку, всю жизнь безнадежно влюбленный в жену, которую я оставил, приходил меня упрекать за то, что бросил жену. Мы не договорились, и, оскорбив меня, он так хлопал дверью, что из нее вылетало и разбивалось на полу вдребезги стекло. Потом приходила промокшая под ливнем моя новая жена, бывшая домработница, тонкое платье обозначало ее формы, и многое становилось понятно. «Это жизнь», — говорила она. Эту фразу я посоветовал, и она была тут же вписана в сценарий.

Полночи развивал передо мною режиссер Серсов свои планы. Они были далеко идущими. Я должен был написать ему сценарий. В основе будет один действительно бывший случай. Компания молодых астрофизиков едет на рыбалку в горы на границе Армении и Азербайджана. Дорогу переползает змея. Они пытаются ее объехать... оборачиваются, а змеи — нет. Куда девалась? Едут дальше. Рыбалка проходит удачно. Но когда они укладывают добычу, то обнаруживают, что змея забралась к ним в машину. Они пытаются ее прогнать, а она заползает куда-то там так, что ее оттуда никак... Представляешь?! Пустыня, жара, укусы гюрзы смертельны... Рыба тухнет, характеры обнажаются... Тут вдруг караван. При караване суффи. Он умеет разговаривать со змеями. Они просят суффи уговорить змею вылезти. Суффи долго молится, и змея наконец соглашается. Разъяренные астрофизики начинают ее убивать. Суффи умоляет их не делать этого, но они делают это. Суффи приходит в отчаяние, ибо змеи теперь перестанут верить ему. Суффи проклинает их, пророчит им смерть. Они посылают его подальше, возвращаются домой и напиваются.

Мне нравится слово «суффи», но мне не нравится концовка. Нет, то, что они напиваются, это хорошо. Но это только начало. А потом они один за другим гибнут при самых загадочных обстоятельствах... «Кто же такое пропустит?» — искренне обижается режиссер, и я остаюсь на роли пианиста. В которого, к тому же, не стреляют. Стреляет у нас одно лишь чеховское ружье, и то если его не забудут как Фирса. НеЧехов.

Утром мне не нравится пейзаж. Ни кровинки в его лице, ни травинки. Здесь был человек! До горизонта — издырявленная, черная от горя, замученная и брошенная земля, населенная

лишь черными же, проржавевшими нефтяными качалками. Но и они мертвы. Их клювы уже не клюют, потому что нечего. И именно здесь разместилась музыкальная школа, в которой я преподаю, видите ли, фортепьяно казахским детям... И тут я увидел неправдоподобно прекрасный гранат, выглянувший из-за глиняного крепостного дувала, — там был рай: розы, гурии и бараньи яйца с чешским пивом... — и тут я заступил по шиколотку в нефтяную лужу.

...Младенец отказался идти ко мне на руки. Может быть, я пропах нефтью. Это такой запах... как кровь... начинаешь волноваться сам. Младенец истошно вопил и не хотел оставлять следы на рояле, азербайджанские пожарные израсходовали всю воду, льющуюся по стеклу. Младенца тут же выплеснули из сценария вместе с ванночкой, оплатив мамаше съемочный день. «Мы диалектику учили не по Гегелю»... Выходило хуже для моего образа: я уже просто женился на домработнице из-за ее прилипшего к формам платья. Жена у меня была бывшая Наташа Ростова, а новая жена — бывшая возлюбленная молодого Сергея Есенина. Вот каков я сердцеед! Пока азербайджанские пожарники кушали, а потом заправлялись новой водой, решили поднять в обратном порядке: сначала мокрую жену. Ее обливали из ведра, которое специально подогревали на газе. Я должен был ей что-то шептать на ушко, а она должна была плакать. Я впервые видел свою новую жену, и она мне не нравилась. Все получилось, но на крышке рояля, что в кадре, был забыт режиссерский видоискатель с отчетливой надписью «Никон». Это портило правду суровой военной поры. Но теплую воду израсходовали, и актриса начала мерзнуть. Из аптечки «скорой помощи» была извлечена водка, и актриса поправилась. Я обнял ее плечи и взглянул, и то, что оказалось за спиной... Кипятилось новое ведро, азербайджанский пожарный ухаживал за ассистенткой, ели яичницу, поднимали на колготках петли, играли в деберц, вязали свитер, продавали, покупали, менялись, переодевались, примеряли обновки и обноски, воровали, выпивали, рисовали, мастерили блёсны, сматывали удочки — съемка шла. Дубль.

От жены разило водкой, от меня — керосином. «Где ты так надралась?» — нежно шепнул я ей на ушко, и где надо было расплакаться, она рассмеялась. Она мне начинала нравиться. Дубль.

И каждый раз годился только первый дубль...

Мой друг-художник хлопал дверью, разбивалось стекло, а я в растерянности, не зная, как со всем этим быть, начинал

сбирать осколки, а потом бросал это дело. Ассистенты сработали отлично: стекло вылетело как надо, разбилось на нужное количество осколков в намеченном месте, я прошел как надо, поднял осколок как надо, но тут начал с интересом рассматривать налипший на него кусок пластилина, ибо это именно им так прилепляли стекло, чтобы оно вылетело, а я и не знал, что пластилином... Дубль.

Второе стекло выпало раньше, чем он успел хлопнуть дверь, и порезало ему единственную руку. Пострадавшему оказали первую помощь. Дубль.

Третье стекло было последним. Больше предусмотрено не было. И оно было толстым. Другу было наказано хлопнуть дверь как только можно сильно, чтобы оно вылетело так вылетело, вдребезги так вдребезги. Друг хлопнул как надо, стекло вылетело как надо... Я впервые видел такое, да и все такого не видели. Это было большое прямоугольное стекло, оно упало как-то на попа и, нисколько не разбившись, покатилося на меня, неуклюже переваливаясь, обсчитывая с тархением свои прямые углы, совершая оборот за оборотом, один, другой и лишь на третьем, постояв и подумав, медленно повалилось набок, опять же не разбившись. Я стоял и, раскрыв рот, наблюдал такое чудо.

Бывает что-то с идеей, а бывает и просто... Это редкая удача — когда никакого смысла. И бывает такое счастье только в кино.

Что-то в очередной раз произошло. Я не мог больше.

Истощение места. Будто весь этот плотный, осязаемый, облюбованный мир был и впрямь лишь плодом воображения. Так же легко он отлетел, как воздушный шарик. Атмосфера...

Атмосфера описания каким-то образом толще и грубее реальности. Реальность не выносит быть описанной. Или она гибнет, или обретает полную независимость, или вообще ее не было? Так или иначе, описав что бы то ни было, можешь удовлетвориться одним лишь фактом законченности текста — сличить его будет уже не с чем: и прошлое куда-то провалилось, да и самого пространства не стало.

И кто кого создал, воссоздал, воплотил, предвосхитил и проч. — лошадь курицу или телега яйцо — окажется окончательно неясно как последняя такая природоохранная функция: чтобы ничто ни на что не посягало хотя бы в прошлом. И кто раньше и кто кого: Достоевский ли «Бесов», бесы ли нас? Даль

словарь «живаго» или язык сам к тому моменту стал «мертваго»? Русская литература успела или революция произошла? Чем гадать, лучше не торопиться сводить с действительностью какие бы то ни было счеты.

В конце концов Колумб именно Индию, а не Америку открыл.

География — как жена. Путешествие — наша полигамия. Был бы гарем, сидеть бы нам на месте.

Итак, все места, в которые я любил заточать себя с целью написания неких страниц, пали одною и той же смертью: однажды вошли в текст. И сколько я ни давал себе зарок по принципу «не живи, где ..., не ..., где живешь...», где Токсово, Переделкино, Дилижан, Тифлис, Голузино, Тамыш? Они так или иначе описаны. Может, они и есть. Но я для них умер.

Путешествие — другое дело. Там ты не собираешься жить. Там ты захватчик — и только. Пересечение пространства. Сечение. Иногда золотое. Одно. Хирургическая операция. Срез. То ли ты его пересекаешь, то ли оно тебя. Почему-то не больно. Приключение.

Отправляясь в странствие, я уже знаю, буду ли писать о нем. Знаю, что напишу и как. В этом смысле, хотя география и кончилась, я путешественник-профессионал. Еду за одним лишь правом написать то или иное «путешествие», привожу в качестве сувенира две-три оплодотворенные детали, они хорошо разбухают в подсознании и дают необходимый побег.

Такая деталь у меня уже была — Люсин выпадающий зубик.

Остальное было уже делом техники. Подавался «рафик» (вот восхитительное слово! намек на империю, произведенный в Риге...), в него набивалось шесть, включая шофера и автора, от силы восемь человек, предоставив пространство лишь для одного армянина, возможно тоже Рафика, одного абхаза, одного грузина, одного еврея, а далее, по тесному текстуальному конкурсу — греку, поляку, персу, украинцу, тату, осетину, корейцу, татарину, чечену, заблудшему европейцу, американцу, африканцу — драматургическое единство было обеспечено: вел «рафик» русский водитель, с ним рядом восседал тоже русский (автор). Перевести разговор с обычаев обезьян на межнациональные отношения уже не составляло проблемы. Поэтому после таких страстей достижение цели путешествия — контакт с вольной обезьяньей стаей служил контрапунктом, наводил на мысль и ставил точку. Не исключено, что естественным завершением

паломничества был запланированный пикник, и тогда это уже многоточие.

Все было ясно вплоть до названия. **ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН...** хорошо! Кто кого ждет, неясно. Зубик, «рафик», схватка грека с антисемитом, подмерзшие хвосты, разросшиеся гривы... чего больше? Все и так ясно. Ехать, чтобы написать то, что я так и так напишу, не имело смысла. И я решил написать «путешествие», вовсе не отправляясь в него.

Готовность моя была велика, я был в хорошей форме. Садись и пиши.

Сесть было некуда.

То ли Тамыш умер, то ли я, то ли еще кто-то там умер... У меня не было сил вернуться к моим цыплятам. Я переместился в Тифлис.

Но что-то и впрямь произошло. То есть происходило вокруг на самом деле, за гранью письменного стола. Письменным столом был стул. На нем стояла машинка. Я сидел на кровати и писал на машинке как раз на тему о том, был ли и мог ли быть у поэта ДОМ, в связи с посещением очередного дома-музея. «Родина, или Могила» называлось сочинение, и именно запятая в заглавии была главной. Я писал в центре Тифлиса, на девятом этаже гостиницы, и опять «Абхазии», в четырнадцатом номере, подумывая о том, что всегда и всюду попадаю я именно в четырнадцатый, этажи бывают разные, а номер всегда тот же, и в Ереване был тоже четырнадцатый... что это за прописка такая? По вертикали, что ли? Ничего, кроме стрекота машинки, подслушать у меня было нельзя. А все равно что-то происходило вокруг, вроде как потолок обваливался, вернее, понижался, пока я писал, и когда я поднялся, то чуть ли не стукнулся об него головой. Какое-то странное потемнение вокруг, как перед грозой, а гроза и не намечалась, как на закате, но и до заката было еще далеко. Дрожь внутри. Перед глазами такая мелкая серебряная волна, как рыба чешуя. Как будто я становился воздухом, только какая-то последняя недоразвитость мешала. Когда я смотрел на человека, то очень удивлялся, что тот меня тоже видит. Он подошел и представился: «Валерий Гививович, Гививич, Гивич, Гивоввич... никак не выговорить! Можете меня называть просто Лерой, так меня все зовут». Я с удовольствием вглядывался в его розовое мускулистое лицо кахетинца. Было в нем нечто располагающее, хотелось ему что-то рассказать из того, что никому пока не рассказывал. Но я не знал что, и он сам мне подсказал: давно ли я виделся с братом? Я готовно отвечал, вдаваясь в подробности, которые

навсегда забыл. Дело в том, говорил я, что когда я впервые влюбился и мне стали нужны деньги, то продал нашу совместную коллекцию, а брат в это время был далеко, а сейчас он где? сейчас он тоже далеко, в другой стране, но скоро уже вернется, только это давно было, были даже древнеримские монеты, а доллары были? или фунты? как, вы про корейский лайнер еще не слыхали?

Он-то, выходит, мне и сообщил, что произошло за краем моего стола, пока я чувствовал, что что-то происходит. Пахло карибским кризисом и еще какой-то тревогой, как при приступе сенной лихорадки. Все давно отцвело. Вы когда в последний раз выезжали? Тут я ему все выложил, какой я невыездной. «Зачем вам Америка! — восклицал он. — Родину надо исходить, всю, пешком, тапочками!» Он так и сказал тапочками. Тапочки на нем были отличные, фирмы «Аидас». Мы стояли на вершине Джвари, особняком от толпы туристов, как посвященные, признаваясь друг другу во взаимной любви к родине как раз в том самом месте, «где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры»; шума как раз слышно не было, но долго мы смотрели, как, слившись, Арагва и Кура долго продолжали течь двумя разноцветными потоками в одном уже русле, — «один серый, другой белый, два веселых гуся». Тапочками, тапочками! — восклицал один гусь, а другой поглядывал на его красные лапки, неуверенный, где он добудет такие же тапочки. Белые он обует скорее. Он мне предлагал исходить родину, как Горький, я же соглашался изъездить ее, как Гоголь. На том и порешили.

Чем я особенно гордился, что обмотал Валерия Гививовича, подполковника Аидасова, как ребенка. Я так искренне рвался участвовать в «круглом столе» по поводу феномена грузинского романа, так переживал несправедливость отказа мне даже в этом моем праве человека, что собрался в Сухум, но билетов не было. Уж с этим полковник легко мог помочь. Но и тут он уклонился: «Зачем вам этот вонючий Сухуми? Лучше Батуми». Меня интересуют обезьяны, кисло настаивал я. «Обезьян там хватает. Поезжайте в Батуми, у меня там дом. Поживете у меня...» Он опять же предлагал мне пойти туда «тапочками». Я упорствовал и не соглашался в Батум. «Это было очень трудно, — намекнул он мне на следующий день, — но вы можете теперь участвовать в дискуссии. Только откажитесь от телевидения, не стоит... Можете сегодня же переехать в гостиницу «Абхазия». Вам забронирован номер вместе с участниками». Замечательно было это «вместе!» Будто он не знал, что я там уже жил! Меня перевели с этажа на этаж. И это был тот же 14-й

номер. На этаже нас уже ждали. Двое небритых младше по званию. Адидасов передал меня им слишком заметным движением глаз, и они кивнули. «Оставляю вас одного», — сказал он, проводив меня до номера четырнадцатого. Я был восхищен и преисполнился самоуважением: нарочно они делают все так открыто или по неумению? — и в том, и в другом случае вот она, секретная формула психопушки! Внутри компьютера сидит сержант...

Если они меня подчеркнуто замечали, то я их подчеркнуто не замечал. Я писал у себя в номере «Родину, или Могилу», как бы готовясь к сообщению об отличии грузинского романа от латиноамериканского на примере «Жестяного руна победы», подхихкивая от такого своего коварства, которого от меня никто не ожидал. Был канун ноябрьских праздников, участники съезжались девятого: у меня было время, и я его употребил. Был у меня, однако, верный друг, грузинский брат, который вызвался мне помочь. Я ему, впрочем, не все объяснил. Он и так озирался по сторонам. Только про трудности с билетами. Друг тоже недолюбливал эти годовщины. Его тоже когда-то крестил отец Торнике.

В ночь с 6-го на 7-е, убедившись в отсутствии наружного наблюдения, я выскользнул из гостиницы: хорошо путешествовать налегке! Давно уже я не вожу с собою ничего, кроме рукописей и носков.

Мы копошились в сумерках, как воры, укладываясь в дорогу, стараясь не будить домашних, шепотом выезжая со двора. Тифлис рассветал по мере выезда из него. Это было самое пустынное, предпраздничное утро, даже без единого милиционера — все спало до парада. Шоссе было столь же пустым. Спали дома, спали трейлеры по обочинам, спали посты ГАИ. Только природа все шире открывала глаза. Господи, что это было за утро! Трудно было поверить, что до всего этого было всего лишь рукой подать. Что же это мы так не спешили всю жизнь проснуться пораньше да податься подальше? Я видел горы. Никто еще, ни Пушкин, ни Толстой, не могли сказать больше. Это было «это». Когда уже не задаешь себе вопрос: что это? Просто вдохнешь и не выдохнешь. Благословенна была земля утром 7 ноября 1984 года по дороге из Тифлиса в Кутаис!

Осень постаралась, отдав все краски, и каждый лист светился своим цветом отдельно. В поредевших кронах вспыхивала хурма. Осень собирала свой последний, свой окончательный урожай — урожай красок. «Замечаешь, насколько это *другой* красный цвет?»

Мы были страшно довольны собой и друг другом. Мы *сбежали*. Мой друг, к счастью, не догадывался, насколько он прав. Он полагал, что мы сбежали от демонстрации. Пока все там будут собираться в колонны и нести транспаранты... Свобода — это вечность. Туда мы и удалялись. За шестьдесят шесть лет, при всех стараниях, ничего ИМ не удалось: видишь, скала, видишь, поток, видишь, небо, видишь, листья... Природа — не большевик. Ее не научишь халтурить.

Так мы расхваливали друг друга. Удовлетворенный, мой друг стал задремывать и уступил руль. Я вел и был счастлив еще раз, уже один. На указателе было написано «Гори», но в Гори нам было не надо. Указатель был, однако, направлен не направо или налево, а в небо. Я был вынужден будить друга, чтобы выбрать направление. Он сонно махнул направо.

Показался городок. Что-то тут было не то, но еще раз беспокоить друга не хотелось. Меня смущало, что дорога повела все круче вниз, в котловину, в город, застроенный все более помпезно и некрасиво. Внизу была площадь. Как ехать дальше, я не знал. Спросить было некого — город еще спал. Может, я сбился с дороги и вернулся каким-то образом в Тифлис? С меня станет... Остановив машину посреди пустынной площади, я вышел.

Из машины была видна только клумба. Выйдя из машины, я увидел постамент. Это был огромный постамент. Скользя по нему взглядом вверх, я увидел сапоги. Это были гигантские сапоги! А дальше все это: полы шинели, рука за обшлагом, взгляд вдаль, фуражка, усы... — и будто он облизнулся, чугунный кот... Дальше было небо. Монумент был так и задуман, что, находясь у его подножия, голова вождя проецировалась на небо, выше окружающего взгорья. Улыбка горийского кота плыла как облачко.

«Смотри!» — заорал я. «Как ты сюда попал?» — пробудился друг.

Все это показалось нам знаменательно и символично. Обсуждения хватило до Кутаиса. «Видишь, какая сила!.. Он до нас и оттуда дотянулся. Не надо было так хвастаться...» Я соглашался: куда мы, на ..., денемся? Нашлись беглецы!.. Итак, именно мы оказались первыми во всей стране, единственными на всей нашей одной шестой, сумевшими поклониться вместе с рассветом единственному неснесенному памятнику. Здесь ОН родился. Мы посетили эту Мекку. «Ужо тебе!..»

Надо было очиститься. У нас не было умысла, и этого мы не обсуждали. Дорога сама нас привела. Молча оказались мы

в Моцамета. Осень, насколько могла, разогрела день. Запахло обителю — кедром, можжевельником, лавром. Тишина стояла столбом. Кровь звенела в ушах, как цикада. Я не был здесь с того самого дня... Если считать, что в этот день я по-настоящему родился, то во второй раз здесь можно было объявиться лишь для того, чтобы помереть. Я был не прочь. Я прилег на плоский, поросший лишайником теплый камень. Надо мной проплыло облачко, как вся моя жизнь. Что имеют в виду, когда говорят, что вся жизнь прошла перед глазами в последнюю секунду? Наверно, именно это: не последовательность ничтожных ее событий, а равенство одному мгновению. Мне так хотелось умереть, как жить, а не как-нибудь иначе. Будто из всех способов именно жить смерть оставалась единственным. Это было нестрашно, сокровенно и желанно, будто вот ждал и дождался: сейчас она войдет, прощая тебе жизнь твою, обнимет за плечи, и ты охотно пойдешь, полностью доверясь. Состояние этого ожидания — вот что ни за что не хотелось менять. Я лежал и лежал спиной на теплом камне, почти не дыша, только пропитываясь смоленным сухим воздухом — из неба все состояло, что перед глазами, — они не были ни открытыми, ни закрытыми: странно было сморгнуть все это. Но именно так: я наконец моргнул, а мой грузинский брат тотчас поднялся со своего камня: исповедаться и причаститься. Я тут же согласился с ним: в самый раз: одно не противоречило другому. И все-таки не желание причаститься подняло нас! В том и состояло мое неосмысленное удивление перед собою, пока мы искали Торнике по всей обители, а его не было, — в том и состояло: по чьему приказу я встал? кто сказал, что еще не пора? кто сказал: «много не желай, Резо»... это я ему сказал, причем цитируя. Это я только думал, что готов, а оказался не готов, вот и встал. Какая сила!.. что за мытарство такое...

Торнике не было нигде. Людей не было. Было несколько кур. Как они напоминали прихожанок в платочках в ожидании открытия храма, степенно поклевывая, как судача... Пятнистый дожонок, любимец Торнике, пробежал мимо, не глядя и не лая. Значит, и Торнике должен быть... Мы постучались в дом. Нам открыл монашек с выражением недовольства и смирения. Торнике не было: он отдыхал в кардиологического санатории ЦК в Боржоми. Я возжелал написать ему письмо — как-никак, крестный сын... И служба вдруг беспрепятственно пропустил меня в его кабинет. Правда, стоял у меня за плечом. Я мучительно крутил перо, и он все-таки отошел, не теряя меня из виду. По стенам висели полотна-иконы живописи самого Торнике: то

царица Тамар, то отрубленная голова Иоанна Крестителя... Висели — не то слово: они были приклеены за уголки церковными тоненькими свечками, как скотчем. На столе Торнике был аккуратно прибран вид неоконченной работы: раскрытая затрепанная грузинская книжка, не иначе Евангелие, и русская слепая машинопись, самиздат, энный экземпляр... я не мог не заглянуть...

Служка успокоился, увидев, что я пишу, и даже оставил меня одного. Я строчил все быстрее, преисполненный...

«Приидите убо, братие, послушайте Христова гласа, да бодрейши будем на послушание. Сию бо притчу Спас рече нашего ради спасения: не сните бо праведных ради, но грешных ради, да спасутся. Человека, рече, два вындоста в церковь помолитися: един фарисей, а другой мытарь...»

Так я списывал, как двоечник контрольную, — со странной истовостью и умилением, будто сам, и друг мой нетерпеливо окликал меня с улицы ехать дальше, а служка все более терпеливо меня не беспокоил. Наконец я поднялся, складывая листы, сказал служке, что передумал исповедоваться письмом, что заеду сам на обратном пути, когда Торнике уже вернется из санатория. Последнее, что я помню, было трюмо, все уставленное французским парфюмом. Как жаль, что я не смог поцеловать Торнике в его душистую бороду! Мой друг пересадил меня на автобус, идущий до Сухума, и мы расстались, чем-то тайно недовольные друг в друге.

Никаких «Обезьян»! «Солдаты Империи»! — вот что я должен был немедленно написать. Весь последний не то день, не то месяц, не то год улеглись аккуратной плиткой, как шоколадка, так же и поделенной на прямоугольнички, подтянутые и выпуклые, как живот у культуриста. Дальше все получилось само. В Тамыш я решительно не вернулся, сухумские адреса, как нарочно, забыл еще дома. Вышел на набережную, уверенный, что через минуту обрасту старыми друзьями. Никого. И даже на «Амре» — никого. Попался один Драгамашенка и тут же все устроил: уже через час сидел я в собственном номере в белоснежной «Абхазии», куда не попать, и писал этот внезапный роман. Фанерный четырнадцатый номер, по настоящей иронии доставшийся мне в наследство от англичанина, резонировал от моей пишущей машинки, как перкуссионная машина. На потолке выделялся, посреди финской поддельной полировки, подлинный советский белый квадрат. Кошка и крыса за ним по-прежнему жили, дополняя мою оркестровку живыми звуками. С набе-

режной экскурсовод зазывал на морскую экскурсию гнусавым голосом муэдзина.

Мы писали. Не один я. Нас было много на челне. Иные парус напрягали... Я выдавал дробь, он выдерживал паузы. мышка с кошкой расставляли знаки препинания. Ложилось один к одному.

«Солдаты Империи!» Я тоже дошел до Понта. Не метафорически — я видел его из окна: никакой кровью он не отливал. Мне и некогда было выглядывать в море с каким бы то ни было видом задумчивости — я ничего не думал. Я вел свой отряд. Вот он:

Дрюня, в натирающей ему набедренной повязке, сшитой из двух пионерских галстуков, как плавки, как в том детстве, когда никаких плавков не продавали, когда нас всех окрестили выходящими из лагерной речки, и крест блеснул в ослепительном солнце как меч,

Салтык, спотыкающийся о свою гитару, обижающийся на кличку Анакреон точно так, как когда-то, когда я сказал ему: «русский Фет», обижающийся не на что, а на кто ему говорит,

Глаз, переучившийся держать меч в левой руке, чтобы видеть его,

Афганец, догрызающий свою мозговую лепешку,

Грузинский брат мой, отпустивший бороду и оттого перерождающийся в женщину,

Мурманский бич, волочащий за собой детскую коляску с рукописями, хроникой наших походов,

Торнике, крестивший всех нас из одного стакана, как и положено на роту, а у нас взвод — нам больше капель перепало,

Виктория наша Виктория! со слепым поводырем, обнимающим арфу,

Зябликов, штурман наш, вылакавший наш НЗ, но обкормивший нас яйцом динозавра и прочими дивными преданиями,

Братья-изобретатели, вычерчивающие непрестанно троянского коня на любом попавшемся песке,

Полковник Адидасов, постоянно подшивающий свои тапочки,

Примкнувший к нам варвар, постоянно плачущий о родине, о Воронеже из туманного Альбиона второй категории,

Миллион Помидоров, легко переносящий каждого из нас под мышкой через бурный поток...

Нас было много на челне! И нас ждала Победа над грузинским узурпатором, присвоившим себе жестяное руно,

а там, само собой, и освобождение обезьян, братьев наших меньших, заточенных в так называемой свободе и демократии.

Господи! они все были живые! Они двигались. Им это давалось тяжело, и они не перенапрягались. У каждого нашелся свой подвиг, а они не искали ему места. Как славно они отдыхали до боя!

Мне было достаточно моего слаженного коллектива — мне никто другой был не нужен. Раз в день я выходил, как Язон, на берег Понта Эвксинского побаловаться чашечкой кофе — и то они увязывались за мной.

Я никого не видел. Мелькнул Драгамашенка. Опять было мелькнул мурманчанин, будто соскочил со страницы. Показалось, что я приметил и Валерия Гививовича. Но только показалось. Потом я, точно, встречал их вдвоем на набережной, державшихся, как дети, за пальчик, — мурманского бомжа в обнимку с полковником Адидасовым. Ах, вот оно что! — только и подумал я. Я был снисходителен к слабостям моих подчиненных. Главное — не потерять больше ни одного бойца! Довести их всех до конца живыми. Живыми...

Они и так были живыми. Как много я, однако, присвоил, став командиром! Понизив их до звания персонажа, какую взвалил на плечи ответственность за судьбу личного состава романа. Власть! — вот что не рассматривается литературоведами в системе художественных средств. Вот что томило меня целый год как утраченное, вот что окрылило меня наконец как обретенное: это все — мое, мое! И это хотели у меня отнять? Дудки! не отдам. Понятно теперь, чего ВЫ все от меня требовали, чего добивались, зачем преследовали... Чем интересуется власть, кроме власти? Ничем — и это ее секрет и сила.

И я не интересовался ничем. Я разделял все тяготы своих подчиненных: я не ел, не пил, не спал, не мылся, не раздевался. Иногда варил кофе на подоконнике и тогда удивлялся, что за окном — море. Он что-то иногда воровато жевал в углу, обсыпаясь сухими крошками, он же и спал не раздеваясь, что он так любил, спал по двенадцать, четырнадцать, шестнадцать! часов в сутки. Я вскакивал, не одетый, даже не мочась, к машинке, начинал записывать следующую главу, что вся была готова за эти двенадцать—тире—шестнадцать часов, — откуда что брались? Чем меньше оставалось впечатлений, тем больше онигодились прямо в текст: выглянул в окно, а там Миллион Помидоров о чем-то уже беседует с Валерием Гививовичем — о чем? И у меня убежал кофе...

У меня и Библии под рукой не было. Были три странички, списанные у отца Торнике. *«Человека же два — сердце и душа, в ней же правда и грех. Правда же убо высокоумием ниспадает, грех же смущением потребляется... Сердце убо есть фарисей... Душа же сама скажется мытарь...»*

Два человека вошли в храм... *«Два, рече, конника, мытарь и фарисей. И в пряже фарисей два коня, да постигнет в вечную жизнь: един конь добродетельный — пост и молитва, а другой конь — гордость и величание и осуждение. И запя гордость добродетели, и разбися конная колесница, и погиге самомнимый всадник...»*

И роман тут же обретает новый поворот. На разбитой машине, с развевающимися, как флаг, колготками, спасая Тишку, спасаясь от преследования, отказывали мне тормоза, ввергался автор в пропасть, вверзался в стену как раз в тот момент, когда, проделав наконец Тишке жизнеспасительный укол, умудрялся уйти от погони. Живой Тишка мяукал надо мной в конце...

«... никто же бо, рече, о себе приемлет честь, но званный от Бога. Рече бо апостол: на ветви сидя, не ты бо корень носиши, но корень тебе».

И я отвергал этот финал, ибо не был корень. Ствол был сюжет, герои — ветви, на ветвь главного героя уселся Автор. Я решил назвать главного героя Автор: Автор-хан, смешанного варварско-скифско-кипчанского происхождения стал у отряда вождь. Однако именно он сумел провести свой отряд через пылающую пожаром Империю Эн. Вывел их из варварских балтийских болот, миновал кипящую Московию, обошел злых кипчаков дымящимися степями, вышел почему-то к другому, чем рассчитывал, Каспийскому Понту, пришлось долго еще достигать тесных пространств Иверии, долго преодолевать и эти пространства, прежде чем снова достичь болот, теперь уже колхидских.

Но это было все внешнее, одна лишь зависть и преодоление опыта грузинского романиста. Суть же была в том, что внутри отряда зрел заговор, о котором еще никто в отряде и не подозревал, ни даже вождь, ни даже его автор, потому что заговор зрел внутри автора. Авторское «я» столкнулось с собственным «я», и — началось! И кто главнее? кто кого? кто он, кто я? — и вот уже борьба за власть. *«Да никто же от сих блазнится, яко разделяема есть на двое человеческая мысль. Помысел от словеси отсекаем, воует бо, рече, плоть на душу. Два супостата в нас есть непрестанно борюущая: востает бо несытость на пост,*

на добродетель величание, на целомудрие пьянство, блуд на душевную чистоту, на любовь ненависть и гнев, на смирение гордость, на истину лжа и клевета и прочая злая дела».

Заговор! Немудрено, что по следу моему шли. Не меня они преследовали, а мой роман, то есть мой отряд... Ничто уже не могло остановить меня: вывести всех и спасти.

И не успел я поставить точку — Гививович уже стучался прямо в мой номер ни свет ни заря, одетый по-походному: тапочками!.. Тапочками нам служил «рафик», предоставленный Драгамашенкой, который и сам вызвался нас сопровождать к обезьянам. Все это, как я сам должен был понимать, не так легко было Валерию Гививовичу для меня специально организовать...

И это была уже слава! Вся слава мира звучала победно в победившей душе автора. «Человека же два...» Один человек сказал как-то в ответ на мои сетования, поняв меня по-своему: зачем стремиться к мировой славе? — достаточно, мол, достичь ее в областном, в районном масштабе, чтобы умный человек понял, чего она стоит... Так что же? Именно ему не хватило и мировой.

Мы ехали. Новизны в этом для меня не было никакой, как и в будущей славе. Все было уже пережито, пережжено. Просто мне в очередной раз помешали их УЖЕ написать, «Обезьян». Я был опять готов — и мне опять не дали. Раньше *они* не давали мне достичь обезьян, чтобы я не знал, о чем писать, теперь, когда я окончательно знал, о чем, и, собственно, уже писал их, *они* мне подсовывали их, чтобы я не мог написать их уже по другой причине: *они* хотят остановить меня, реализовав мое воображение. Так или иначе... но я не должен их написать. Вот смысл дьявольского задания! Однако... не слишком ли изощренно?

С мыслью об изощренности зла я покорно сажусь в автобусик. И я снова прав: мне отводится почетное место рядом с водителем, а водитель единственный среди всех тоже русский человек. Русский человек водит им их автобусик... Ничего нового! Мысль об изощренности зла сменяется мыслью о его примитивности. Ведь что такое зло?

Прозрачная мысль вращалась на кончике своего острия, как пропеллер. Я был готов изловить ее, как стрекозу... «Посмотрите направо...» Направо был длинный, унылый цементный забор, но уже не было мысли. Истраченная местность, колючая проволока по забору, вышка... «Самая большая в Союзе детская колония», — сказал Валерий Гививович, поясняя достопримечательность. О, об этом я много знал благодаря рукописи

Глаза. Что я тут же все и доложил под вежливое внимание группы, под укоризненный взгляд Валерия Гививовича: зачем говорить при *нем* лишнее? — заставляя его запоминать. «В малолетку не стрелять!..» — поведывал я. «Есть такое положение? В первый раз слышу». Нежелание получать информацию было у Валерия Гививовича профессиональным. «Здесь тормозни!» — И он скрылся в проходной колонии: Может, здесь и взрослое отделение есть?.. Ворота тюрьмы — вот еще ожиданьице!.. Двое застенчивых переростков вынесли ведро и ящик. Валерий Гививович указал им, куда поставить.

Мы ехали.

И путешествие вступало в свои права. За окном проявлялся пейзаж, набирая силу. Валерий Гививович, на поверку, оказался не простым человеком: дед — армянин, мать эстонка, дядя русский, сам грузин. Вообще-то он оказался пришелец, в предыдущем рождении атлант, потом вавилонский жрец... но об этом потом. Выходит, зря я так — Гививович делал все из лучших побуждений: организовал мне участие в «круглом столе», поездку к обезьянам. Зря я, зря тогда сбежал — подставил его, себе навредил. С ним можно иметь дело: не убежать, не говорить лишнего при посторонних. Договориться с ним было можно. Ну и конечно, с билетами, с гостиницами никаких проблем. Вы думаете, вас бы прописали в «Абхазии»? Ах, вот как... А вы как думали?

Мы останавливались. Нас уже ждали. Еще один сотрудник. Интересный человек. Грек по национальности. С тяжелой коробкой из-под телевизора «Сони».

Мы останавливались. Нас никто не ждал. Возникла суета: кто-то несколько раз бегал во двор автобазы и обратно к «рафику», обещал вернуться через минуту и исчезал на двадцать. Наконец приносил высокую стопку горячих лавашей. Но с нами не ехал.

Мы обрастали. Все они сотрудничали с обезьянником, люди разнообразных интересов: историк, биолог, физик, спелеолог, работник торговой сети, — нас бы хватило на серию анекдотов. Встречаются армянин, украинец и грузин; еврей, русский и татарин... Разве что чукчи не было. За чукчу у нас был человек еще более редкого розлива, полунемец-полуосетин, музыкант, барабанщик по национальности.

Даже Драгамащенко оказался интересным человеком. Он ехал с нами не только потому, что руководил научным коллективом и соответственно курировал опыт по расселению, — он и над самими обезьянами оказался единственный человеческий начальник: он был альфа-самец! И это было вот что: дикие ведь

звери! маленькие львы! клыки — во! прокусит до кости! руки сильнее, чем ваши ноги! стадные животные — слушаются вожак беспрекословно! вместе могут растерзать кого угодно! вооружены и очень опасны! вожак признает лишь одного человека, зато навсегда! это и есть альфа-самец! Драгамашенка то есть! только с ним можно подойти к стае!

Драгамашенка, выходит, был наш пропуск на территорию.

Обсудив обычаи зверей и людей, порадовавшись сходству и непринципиальности различий, мы въезжали в удачно расположенный поселок-городок Каманы. Здесь нас должны были встречать, но не встретили. Гививович объявил привал на полчасика и отправился с Драгамашенкой в разведку.

Мы разминали затекшие ноги. Перед нами была красота, несколько подпорченная заводиком ЖБИ и карьером. Но было куда посмотреть. Ущелье, в которое мы должны были далее углубиться, выглядело заманчиво, обещало уже совсем нетронутую природу. Левее, на отдельной горке, паря и царя над всем селением, зияла дырами разрушенная церковь — но и в таком виде поражала пропорциями и уместностью. Я возжелал, и группа, преодолев неохоту, потянулась в гору, не оставив гостя без присмотра.

Разруху хорошо наблюдать издали, вблизи слишком виден ее состав. Особенно если в гору. По мере приближения и одышки, пропорции скрадывались, а дыры принимали очертания. И — что же все-таки мы наделали! — купол отсутствовал вместе с крестом. Обрушенный, он лежал на полу, камни проросли бурьяном и мать-и-мачехой, образуя самостоятельный пейзаж, такой японский карликовый горный садик. И вошли мы не через врата, а сбоку, куда нас вела тропинка, через более удобную для входа дыру.

В полу — аптечная ромашка;
 ВК ней, из небесной синевы,
 ВБывает, залетает пташка
 ВВ зияющий пролом стены.
 ВК ней, не ко мне... И то спасибо.
 ВВедь время не река, а — глыба.¹

Но внутри был уют! И никаких бумажек, бутылок и кучек — вот что удивительно. В уголку, под сохранившейся частью свода, куда менее проникал дождь, стоял аналой, приспособ-

¹ Из песни Салтыкова.

ленный из брошенных табуретки и тумбочки, кем-то сюда наверх внесенных; самодельная икона самого неумелого письма, но кем-то самим писанная напомнила мне живопись Торнике; и — свечки горели! — стало быть, кем-то незадолго до нас сюда принесенные, кем-то же и зажженные! Храм был действующий!

И он обладал своими преимуществами: находясь в нем, можно было продолжать любоваться пейзажем, каждый раз по-новому открывавшимся, по-новому заключенным — в каждой из дыр. Как прошлое, настоящее и будущее увидел я: дорогу, по которой мы приехали, наш «рафик» у подножия, тропинку, по которой мы взошли... непотревоженный пейзаж открывался в будущем при взгляде на ущелье, куда мы нацелились... и, сквозь третью из стен, взгляд падал на настоящее: ЖБИ, карьер и некую серенькую зону, окруженную точно таким забором, как и детская колония, только без вышек...

Я получил необходимые пояснения. Возможно, это и была когда-нибудь зона, но теперь это дом престарелых, приют. Летом им еще ничего: много паломников, подают... — а зимой и холодно, и голодно. Да, да, со всего Союза стекаются сюда паломники: здесь убили апостола Иоанна Златоуста...

В результате я не поверил ни одному слову, тем более что сопровождающие меня историки явно путали Златоуста с Богословом, называя его апостолом. «Да как такое может быть! — возмущался я. — Апостолы — это первый век!» — «Ну, и что ж, что первый», — сказал наш армянин.

Первый век был им нипочем. В доказательство к нам на гору карабкалась черная старушка, не то толкая вверх, не то держась за черную же козочку, не иначе — паломница. Вон тащится, пояснили мне, они снизу видят, если кто пошел сюда... Стало быть, не паломница. Старушка оказалась из богадельни. Она пришла за подаванием, и она была требовательна. Моего рубля ей было мало. И на три она смотрела без удовлетворения. «Я так высоко шла», — сказала она. Старушка была русская. Коза паслась внутри храма.

Мне захотелось умереть. Какие обезьяны? У меня совсем вышли деньги. Я наотрез отказался взять в долг у Валерия Гививовича. Мне надо снова уносить ноги. Господи! почему я не могу отдать ей все? Старушку пошатывало. Взгляд у нее был твердый, за него она и держалась. Откуда завелось во мне представление о «доброй старушке»? Все церковные старухи — злые. И правильно.

А почему это ты не можешь? — сказал мне *он*, вырвав у меня бумажник. Сопровождающие с интересом наблюдали сцену. Получив мой последний четвертак, старушка тут же спешно побежала вниз, не без ловкости справляясь со спуском. Коза еле поспевала за нею. В магазин, пояснили мне.

И мы спустились к священному месту. Прижавшись к желто-серой скале, источник образовал заводь, становился истоком. Камни вокруг были красны. Что и послужило основным доказательством, что именно здесь и убили «апостола». Железистый источник, пояснили мне. Паломники обязательно окунаются здесь. Очень помогает от подагры. Я окунул палец и вынул его покрасневшим — такова была температура — вода была ледяная. Я, однако, пошел дальше — плеснул в лицо, потер лоб — получилось как-то по-мусульмански.

Сопровождающие меня историки уже спорили, как его убили. Отрубили голову или закололи? Отрубили — было как-то убедительней. Вон на том красном камне. Они путали его с еще одним Иоанном — уже с Крестителем. Теперь они спорили, на котором камне: один, огромный, возвышался над берегом, лишь основанием погружаясь в воду. Убедительным в нем было лишь то, что он был более удобен для разделки. Другой был уже полностью в воде и потому исторически более оправдан, ибо сам источник образовался как результат убийства, из крови «апостола», почему и красный... образовавшееся из источника озерцо покрыло жертвенный камень водою. По преданию же, кто сможет приподнять этот камень, то сразу очистится от всех грехов.

Такая возможность не могла не вдохновить *его*. Он сразу же поверил в красный цвет, как и любой нормальный человек. Я не мог тут ничего поделывать: неистовый восторг охватил *его*, священный ужас жизни — меня. В мгновение ока содрал *он* с себя ВСЮ одежду и уже стоял в заводи, тужась приподнять камень. Я никогда не видел *его* таким: бешеное веселие озаряло *его* лицо. Все это было неоспоримо глупо: камень был неподъемен. *Ему* было никак не ухватиться, *он* обломал мне все ногти... и вдруг нащупал, как обрел, две словно бы специальные выемки, удобные почти, как ручки... жила вздулась на *его* лбу... «Умер от превратностей пути», — подумал я. Но камень дрогнул и пошел, все с большею легкостью. Ну да, закон Архимеда, подумал я... Но стоило камню чуть приподнять свой красный лоб над поверхностью, как он стал окончательно тяжел. Сопровождающие сочли, однако, это достаточным, единогласно отпустив атлету все грехи.

Вот кто был счастлив, так это они! Как они *его* полюбили! Как поздравляли! Откуда нашли полотенце... И стакан чаи тут же нашли. *Он* засосал его, как губка. «*Истинно говорю я вам: вы уже получили награду свою...*» Он ее заслужил.

Дальше все само собой. Адидасов с Драгамащенко привели того, кто «нас здесь ждал». Был он весь золотой: и цепочка, и зуб, и часы, и браслет — не человек, а перстень. Был он весь белый: и рубашка, и костюм, и туфли, и лицо. Был важен и недоволен, что было трудно отличить одно от другого. Однако мы уселись в «рафик» вместе, и «рафик» наполнился дезодорантом, и мы тут же затормозили у проходной. Проходная была дома престарелых, а он был его директор. Старичок вынес нам очередную коробку, шатаясь под ее тяжестью. Коробка позвякивала. Адидасов обменялся рукопожатием с недовольным директором. Наша старушка с пьяной козой попалась нам навстречу.

Она отозвала меня в сторонку, у меня больше не было, но не для этого, оказывается, она меня отозвала. «Потерпи еще годик... Ты бы видел, как они сигали с мавзолея! — Старушка отвернулась, застенчиво заворачивая смехок в платочек. — Очень уж смешно... Господи, прости!» Было ей видение: Святой Георгий на белом коне на Красной площади. Ка-ак он на мавзолее наехал, ка-ак пикой замахнулся!.. они все и попрыгали с трибуны кто куда, роняя шляпы. «Ты бы только их видел!..» — веселилась старушка, указывая на директора, загонявшего их с козую обратно в богадельню.

И мы ехали. «Рафик» преодолевал все более крутые серпантины. В прошлом году здесь выпал небывалый снег. Невозможно было проехать. Вот тогда и подмерзли хвосты — невозможно было оказать помощь. Чьи хвосты?.. А куда мы едем. А, так мы все-таки к обезьянам едем... Я не хотел к обезьянам. *Он* хотел. Почему меня не хватил инфаркт, пока *он* упражнялся с камнем?.. «Умер от тягот пути», — прекрасная эпитафия! «*Человека же два...*»

Тенистая, заросшая дорога вела нас вверх по ущелью. Слева глубоко под нами кипела река: нас достигал запах воды. Пахло прелым листом. Эти запахи мешались, рождая запах земли — только что разрытой. Камушки сыпались из-под колес, весело свергаясь в пропасть. У нас еще был шанс свергнуться за ними в эту свежую могилу. Но река была не для этого. Она была для того, чтобы отделить свободных обезьян от несвободных людей. Предыдущие опыты показали, что их нельзя селить в какой-либо близости от человека. Недокормленные обезьяны

разоряли посевы, а крестьяне, естественно, их поубивали. Здесь река отделила их от людей, образовала им резервацию между собой и горами. Водобоязнь оградила обезьян от человека. Нет, не все обезьяны, но именно здесь живущие — водобоязненны.

Разговор сзади:

— Извините, конечно, пожалуйста, у вас сколько в языке букв «Р»?

— Что вы имеете в виду??

— Только букву Р.

— Ре... рэ... р-р-р... Кажется, три.

— Тогда наш язык древнее вашего: у нас — четыре.

Теория оказалась достаточно сомнительной, но не лишеной... Что буква Р — суть первый язык. И Драгамашенка подтвердил это, на примере своих обезьян.

— Тогда, значит, не более древний ваш язык, а более превобытный, — примирительно заключил Гививович, достаточно задетый тем, что у него на одну букву Р меньше. Хотя он, так и так, ощущал себя древнее, поскольку в предыдущем рождении был атлантический жрец. Это он помнил точно — как раз следующее воплощение было более смутным — но все равно, в результате, придерживался интернационализма. Этот вывод был у него замечательный: мы будем возрождаться друг в друге, пока каждая национальность не переживает каждой! В какой последовательности?.. И Гививович брал реванш:

— Другие нации возрождаются как попало — кто-нибудь даже в эстонце. Одни армяне — только армянами.

— А евреи?

— О, евреи...

— А абхазы?

И опять разговор заходит за 1978 год... О, где начало того конца!..

«Вы получили свое телевидение? (Голос Валерия Гививовича.) Университет мы вам дали?» — «Вы? нам? дали? двадцать минут вы нам дали! один факультет вы нам дали! это мы взяли, а не вы дали!» — «Это мы дали, а не вы взяли!» Нестройный хор. Чья земля?

Армянская прежде всего. Нет, грузинская. Нет, абхазская. Нет, греческая. Чья земля? — того, кто раньше, или того, кто позже? Мы переглядываемся с русским шофером: земля-то, конечно, русская.

Богобоязнь или география? Человеку не хватало естественных границ из гор, морей и рек, чтобы не перебить друг друга, — не хватит и церковных. Чья церковь?

Того, кто ее построил? того, на чьей земле она построена? того, чью веру здесь приняли? И опять: не то, что внутри нас...

И снова: чье царство было раньше? Чьей национальности царь или какой национальности его подданные?

Тамара не была армянкой? Зачем вы армянский камень из Джвари вынули!..

Тоска... *«... яко не оправдится перед тобою всяк живый. И паки рече: смирися и спасе мя. Сердце убо есть фарисей, иже не сохрани добродетели, но о исправлениях величается, и на ленивейшие возносится, невесть бо о себе писанного: не хвалитися, рече, не глаголите высокая в гордыни своей, ни да изыдет велеречие из уст ваших».*

Мы остановились в очень красивой местности на берегу речки и стали выгружать ящики. Я уже, конечно, догадывался, что никаких обезьян не будет. Но никак не думал, что настолько. Что настолько их не будет, обезьян...

Нет, мы не сразу принялись за уничтожение содержимого наших картонок. Спектакль, поставленный Гививовичем для меня, еще не был окончен. Вчетвером, Гививович, альфа-самец, барабанщик и я, мы переправились через реку по канатной дороге. Люлька была рассчитана на одного, так что мы это и проделали четыре раза. Первым пошел альфа-самец, затем я. Было весело надевать рабочие рукавицы, перебирать ими по канату, смотреть с высоты вниз на буруны и водоворотики горной обезьяньей реки. Водобоязнь. Конечно, страшно — я понимал обезьян. Они и близко к реке не подходили. Во всяком случае, когда я высадился, их там не оказалось. Все-таки я разволновался, если не от достижения конечной цели, то от достижения конечной точки. Я высадился на берег, и альфа-самец приветствовал меня звуками гонга. Гонгом была ржавая рельса, висевшая на удобном для того суку удобного для того дерева.

«Мы немного опоздали, — пояснил Драгамашенка. — Они нас ждали к часу».

Скепсис мой был оправдан. Возможно, обезьяны здесь когда-то были: дощатые домики, вроде преувеличенных ульев, размером с пляжную кабинку, стояли в ряд, — но на каждой двери висело по ржавому же замку. Длинная стойка тянулась перед домиками: не то высокая скамья, не то низкий столик, — совершенно пустая. Да, недаром все остались на берегу... они-то знали. Гививович не мог оставить меня одного, Драгамашенка был в курсе, а барабанщик, возможно, не был.

«Скорей, скорей!» — кричал Драгамашенка якобы ушедшим в лес обезьянам, а на самом деле поторапливал и тех, кто переправлялся следом, и тех, кто остался на том берегу заниматься главным, как впоследствии оказалось, делом.

«Скорей, скорей!» — кричал он противным голосом альфа-самца и бил в рельсу. Звуковые волны взбегали вверх по холмам и предгорьям, проникая в лес, беспокоя призрачных обезьян. Потом Драгамашенка уставал и закуривал. «Далеко ушли», — сокрушался он.

Он делал вид, что они обычно приходят к часу: авось привезут подкормку, — а если никого нет, уходят обратно пасть: желуди, орешки, корешки... «Ну да, грибы-ягоды...» — усмехнулся я. «Это летом, сейчас осень», — пояснил он. Я спросил Драгамашенку, какая была первая одежда человека, и он не мог мне ответить. Очень заинтересовался Гививович, и я ему подсказал, что — кобура. Барабанщик подхватил тему, наверняка утверждая, что первой музыкой, да и вообще первым искусством, был барабан. Вот и барабанщик оказался интересным человеком... С ним мы поговорили о великом Тарасове. «Владимир Петрович?» — насторожился Гививович. Ах, я забыл, что нельзя называть никаких фамилий!

«Скорей! скорей!» — снова замуэдзинил Драгамашенка. Мы беседовали с барабанщиком об экуменизме, отойдя от Гививовича в сторону. Драгамашенка для убедительности прошелся вдоль домиков и пошатал замки. «Сейчас еще тепло, к зиме откроем...» — оправдался он, поймав мой взгляд, и, чтобы я поверил, один из замков открыл, достал из пустого мешка горсть чего-то вроде, как он пояснил, «гранул» и щедрым жестом сыпанул их на пустующий обезьяний бар, потом подумал и сыпанул еще горсточку. «Этого хватит?» — спросил я. «Пока хватит, — сказал он, — пока еще им должно хватать подножного корма».

Барабанщик, найдя на рельсе уязвимые для трех нот места, подбирал на ней обезьянью вариацию «Собачьего вальса».

С того берега уже звали.

«По-видимому, они зашли слишком далеко», — извинялся Драгамашенка.

«Пожалуй, их не стоит больше ждать», — согласился с ним Гививович.

«Нет уж, подождем», — твердо заявил я и пошел обезьянам навстречу.

«Стойте! туда нельзя! — закричал Драгамашенка. — Они вас без меня разорвут!»

«Кто разорвет?» — Я уже не мог удержаться.

«Да обезьяны же! Вы не знаете, какая это сила. К ним нельзя подходить и на шаг ближе альфа-самца».

«Где вы видите обезьян?» — продолжал я.

«Да они в любой момент могут появиться!»

«Вот как?..»

Я сделал еще шаг и замер. Что-то остановило меня. Я стал прислушиваться. Ничего. Показалось. Но что-то повисло в воздухе как еще одна тишина. Она напряглась, натянулась, как незримая преграда, прогибаясь в мою сторону. Я всматривался в поредевшую листву взбегавших вверх дубков, и в очертаниях ветвей высматривал обезьяну, как на детской рисованной загадке имени Набокова: найди матроса и мальчика. Они прорисовывались то там, то там, зависнув в неудобных позах, выжидая, что ли, когда мы уйдем. Мы ждали их — они нас. Обезьяна таилась уже за каждым стволом — но как же умели они ждать! — ни веточка не шевельнется, ни листик не прощуршит. Звенящими этими листьями был усыпан весь склон — ни шагу здесь нельзя было ступить без оглушительного шороха: как они подкрались?..

Никуда я отсюда не уйду, вот что. Пока не дождусь. А поскольку они не придут сюда уже никогда, поскольку Гививович с фальшивым альфа-самцом все настойчивей демонстрировали топорность своего замысла, предлагая откровенно сыграть в их игру, поскольку никаких обезьян и в помине — тем более дождусь, тем более никуда не умру, никогда не уйду. Мне опять захотелось умереть, как жить — вот здесь!

И это был третий храм, в котором... Закрытый без Торнике, дырявый со старушкой и вот этот... В конце концов, именно сегодня, второй раз в жизни, на мне нет греха! И чем же это не храм, когда...

Когда вокруг — вот это все. ВСЁ! Понимаете или нет, ВСЁ!.. Только уйдите все, уйдите все, Христа ради! Христом Богом вас прошу, в последний раз: уй-ди-те! оставьте меня одного! жрите, пейте на том берегу, раз вам уж невтерпещ... сгиньте, рассыптесь... Изыди, оглашенные!

— Господи! каким золотом усыпал ты мой последний шаг! Какие голландцы расписали мне этот пейзаж красками, которым сразу триста лет, в не просохшем еще мазке! как светится этот коричневый сумрак... Да святится Имя Твое! Какую тишину развесил ты на этих ветвях! Да приидет Царствие Твое! Заткнись, падла! забудь слова! молись, падла! Скорей, скорей! Молись, сука! Плачь, смейся, рыдай, ликуй, свинья ты моя бестолковая... Да будет воля Твоя!

Тишина разбухла, пропиталась ожиданием, как губка. Какой ливень извергнется из этой невидимой тучи молчания?..

И я услышал, как лопнула тишина, с отчетливым минус-звуком, родив тишину следующую, еще более зрелую.

Я ждал. Уже скоро. Еще чуть-чуть. Скорей, скорей!

Я ждал и не хотел дожидаться. Я хотел вечно вот так нетерпеливо их ждать, которых и нету. Главное — не хотел я... да и не хочу до сих пор, чтобы это кончилось так, как это должно кончиться, тем, чем это неизбежно кончится, по замыслу, по сюжету, по предопределению, по слабости моей и по его склонности. Не хочу гореть я синим огнем! А хочу вот здесь прочно стоять на все тех же сухих листиках и не переступлю ни разу, шею не поверну, разве что глазами изредка поворожаю, чтобы снова все то же самое видеть: замерших скрытных обезьян за Твоими стволами, в Твоей листве. Сам деревом стану — пусть и за мной спрячется обезьянка... Господи, поймай меня именно в этот момент! Улучи, Богом Тебя прошу, мгновение! Я Тебя даже не о том прошу, о чем еще Гете просил, — я не о том, чтобы все вокруг остановить, потому что, видите ли, прекрасно это, а я всего лишь и только, чтобы Ты меня остановил в этом мгновении, чтобы миновал я вместе с ним, если уж ему суждено миновать... Не о вечной жизни — о вечной смерти прошу, типун мне на язык! *«Душа же сама скажется мытарь, понеже чиста Богом сотворена бысть, и в телеси осквернившись, ни на небо зрети не хочет, но биющися в перси совестию злых дел, тяжкими въздыханиями и неумолчным гласом вопие. Боже, туне мя помилуй, еже есть...»*

Я всматривался и всматривался в недвижимость листвы, что застыла в осенних дубах, как в похоронном венке. Неопи-суемая тишина стояла вокруг: шумела река, шуришала листва под ногами. «Скорей! скорей!» — визжал альфа-самец, изо всех сил колотя в рельсу. «Скорей, скорей!» — кричали с того берега, и барабанщик выстукивал на обезьяньем баре, как на тамтаме, подходящий ритм. Но вдруг, даже не вдруг, а внутри слова «вдруг», что-то, даже не что-то, а что-то находящееся внутри слова «что-то», случилось, сдвинулось, произошло: картинка сползла вбок, как отклеилась, зависла на одном уголке, сверну-лась трубочкой, небеса загнулись по краям на манер китайской пагоды, альфа-самец замер с занесенным над рельсою ржавым болтом в руке, барабанщик не закончил такт, да и река притихла. И именно в этой, а не в предыдущей тишине родилась еще тишина, и напряглась, и вздулась непомерным пузырем, как жила на Божественном лбу, и, прорвавшись минус-звуком, как

разгерметизированный вакуум, родила звук, доселе в моей жизни небывалый, живой, множественный и общий, неумолимо близящийся и растущий, как дерево, как лавина, как поток, несущийся на нас, и — ничего, ну, ровно ничего не менялось перед глазами — ничто не шевельнулось, ни листок, ни глаз было не отвести от этого неопишуемого звучания... Нет слов...

3. НЕТУХ

...Нет слов... С кем-то мы уже толковали о природе неопишуемого? Не Павел Петрович ли то был? Не иначе как. Помнит-ся, мы говорили с ним...

Нас охватывает то неопишуемый ужас, то неопишуемый восторг. Взятся, значит, пиши, раз ты такой уж писатель... О чем же и писать, как не о неопишуемом? О неопишанном — любой напишет, кому оно подвернется. Писатель же задевает за обе эти стены, восторга и ужаса, продираясь в узком коридоре повествования (нэрейшн это нерроушн¹, сказал мне как-то англичанин). Мы хотим раздаться вширь: море — кто написал? а горы? а лес? а небо? Тургенев с Буниным поупражнялись, пока у нас было время. Опять же Тернер (по подсказке Павла Петровича). Опять же неопишуемая тишина: звенели цикады, и неумолчно шумел прибой, лопнула струна в тумане, и кто-то жалобно дул в бутылку... Мол, неопишуемое — так красиво пиши, мол, чем неопишуемей, тем красивей. Безобразное, что ли, опишуемо? Просто про безобразное можно как бы и похуже написать... А все равно: и красивое — как... и безобразное — как... Без «как» тут никак. Язык же из сравнений не состоит, он из слов состоит. Слова же заключены в словарь. А мы заключены в слова. Муха, так сказать, в янтаре. Так кто же красив, янтарь или муха? Из словаря слова исчезают, выпадая в осадок, как в перенасыщенном растворе. Неопишуемый зверь — конь, — оказался наконец описан: каждому его сочленению подобрали с любовью исконно русское слово. И что же? Лошадь уходит из словаря по частям: сначала пясть, потом берцо, потом цевка, потом бабка, потом венчик, — остались лишь грива да копыта — роговая оболочка. Исчезают, по частям, за конем и корова,

¹ narration is narrowtion (англ.).

и дом, и птицы певчие, и травы. Что за коллективизация такая? Пришли, мол, комиссары и все со двора свели. Так нет, не одни и комиссары... Мы. А слова, что появились взамен, — это уже анонимы, а не слова: что мне от калькулятора с инкассатором? Ни полушки. Ну самолет — хорошее слово... Что увижу я, выглянув не в окошко, а в *иллюминатор*? Не забор и не курицу — неопишущую красоту я увижу, которой до самолета никто не видел: это розово-белое, сплошное, взбитое, безбрежное, клубящееся, а над ним такое — как бы получше выразить? — синее-синее, голубое-голубое, ну, прямо как, ну, прямо как... прямо как небо. А где ты летишь-то? А в небе я и лечу. Так что же здесь неопишущего, раз — небо? Какие — облака? Как вата... и — ничего, кроме ваты. Арктика, космос. Ну, напишу я: неопишущая тишина. Неопишущая тишина стояла, напишу. Нет, лучше: тишина стояла. Как-то уже емче. Мол, как столб. Или как жара. Еще лучше, чтобы столб стоял, как тишина. Столбу это больше идет. Или жара стояла столбом. Может, достаточно: тишина. Тишина, и все тут.

Тишина.

Однако неопишущая.

«Ну, а в комнате нашей, как прятка, стоит тишина...»

Значит, все-таки опишущая?

А прятка?.. В каком словаре вы скорее отыщете это слово?

Да и тишины не найдете.

Пока она не наступит на вас окончательно. Как слон.

Тишина наступила, как слон... Хорошо ли это?

А вот это нехорошо...

Прошел год, а я так и стоял на склоне этой дубовой горы, поджидая. Страна очнулась, озираясь окрест и не узнавая: кто такие? Все-таки она не пережила 1984-й... С утра она начала новую жизнь: запретила себе опохмелиться и вырубил виноградники. Не имело смысла возвращаться в Тамыш: по знаменитым газонам валялись изрубленные змеевики. Огненное сердце двора было вырвано. Население выкапывало оружие и в тех же грядках хоронило самогонные аппараты. У Зантариев-седьмых или пятых, Зантария-пятый или седьмой из сладко пахнувшего керосином обреза в упор пристрелил участкового во время демонтажа им установки.

Ехать в Тамыш уже не имело смысла, потому что теперь можно было ехать в Америку. Там мы отдыхали от всего, повествуя обо всем. Что *они* в этом понимали?..

«Так прошло еще пять лет, пролетело сто ракет», — пятилетний сын Даура уже сочинял прекрасные стихи, а я все стоял в обезьяньей роще, не трогаясь с места. Пить, конечно, наладились, но лоза была уже вырублена, а оружие выкопано. История вырывала страницы из моего ненаписанного сочинения одну за другой. Как только стало можно, шутить стало неохота, и люди начали понемногу убивать друг друга. Это только вначале казалось, что шутить перестали, потому что объявилась надежда. Все мои предчувствия обратились реальностью, и я опоздал с пророчеством. Про «рафик» — с армянином и грузином, евреем и русским — стало рассказывать неуместно, а что я еще знал? Про обезьян — я плохо знал. Запоминая, я постарался пропустить мимо ушей. Краткого знакомства с вожаком и более короткого с альфа-самцом явно не хватало. С годами я уже не был уверен и в том, что их зовут именно гамадрилами, а не иначе. Ну, как вы станете писать о племени, не зная даже его имени? Они же не американцы...

И почему все так плохо, когда все наконец у меня хорошо? Вошли, как всегда, без приглашения, но трезвые и выбритые, поорудовав с утра щеточкой из-под ногтей, пахнувшие мэйд ин Гонконг, и сказали: все можно. А что можно, не сказали. Мол, можете теперь писать ваших «Обезьян»... а кому они, на три буквы, нужны!

Лучше бы они не улыбались. Вошли с ласковыми улыбками тигров, отперли клетку... Зоопарк оказался не снаружи.

Где мои *Солдаты Империи*?

Где Дрюнечка? — торгует *кошмариками* у Бранденбургских ворот. Где Глаз? — выпустил свой бестселлер в Париже. Где Бомж? — на яхте в Средиземном море с интеллигентным другом. Где Зябликов? — сбежал в Монголию. Где Братья-изобретатели? — открыли патентное бюро совместно с одним из эмиратов. Миллион Помидоров? — ревизует ларьки. Эйнштейн? — моет посуду в Принстоне. Один Салтык поет свои прежние песни. И полковник Адидасов — в прежней должности.

Я ли вывел их на берег Понта? Они ли сгорели в пожаре?

Где мои *Живые Души*?

Над чем смеетесь? Не над телевизором же... Над собою? Прошелся тапочками по Империи и плачу, как Гоголь. Товарищи! мы вступили в новый исторический период: свободы смеха над самими собой.

Они добились своего: он сгорел в этом пожаре, и я стал спиваться в одиночку. Он или я? Остался как Робинзон без Пятницы. Не шутка простоять семь лет, не сходя, все в той же

звонкой необитаемой роще — ни снег не пошел, ни лето не наступило. С осенней роскошью пустоты внутри. А кругом — одни перемены! Дом наконец, жена, ребенок — вернулся из Америки на дачу... вот только картошку выкопаю и в Париж махну. Гласность. Немота охватившая...

Полнота. Пустота. Ни строки, что я без *него*? Что Пятница без Робинзона... Сдался. Присоединился к стаду. Поспешающий впереди вожак продолжает выкатывать перед собой некое обезьянье дао. Если кто-нибудь подумает, что я знаю, что это такое, ДАО, то это Дальневосточная Автономная Область...

Как, однако, первоначальные птички расклевали мою голловку!

Мной овладело беспокойство. Неохота к перемене мест. На карте живого места от меня не осталось. Одна Албания. Туда хоть нельзя. Сосущее чувство бездарности. Воспоминания молодости.

Есть женщины, которых ты не стоишь,
Есть женщины, которых ты не спас...¹

Предчувствие, что я упустил время, мною овладело. То есть что я упустил предчувствие.

И Бога нет, и Мамы нет —
Держу за ручку пистолет:
И Бога нет, и Мамы нет...²

Итак, я проводил время на даче в ближнем Подмоскowie. Весь вечер смотрели телевизор и играли в деберц. Что Руслан Имранович опять сказал Рафику Нисановичу? «Рафик Нисанович», — сказал Руслан Имранович Рафику Нисановичу. А что ответил на этот раз Рафик Нисанович Руслану Имрановичу? «Руслан Имранович», — ответил Рафик Нисанович Руслану Имрановичу. И это было неспроста: жена объявила «дау-бассе». Мне пришло два терца, а ей один, но старше, и я проиграл.

И пошел к себе наверх. Внизу спали дети, укладывалась жена. Я расчехлил машинку, вставил в нее лист бумаги. Клавиатура поросла серой шерстью. Машинально я посмотрел на руки... Вспомнил: пыль на руке... откуда это?

¹ Стихи Г. Горбовского.

² Стихи Г. Горбовского.

Не так все сразу. Семь лет — и сразу. Будто перестройка ничему не научила... Стоя в роще, я разминал окаменевшие ноги.

Прилег. Подо мной зашуршала чья-то недочитанная рукопись, как листва. Они все теперь писали — а я их читай... Карандаш для пометок. Блокнот для заметок. Я гневно сбил рукопись в неровную стопку...

ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН, —

написал я на обороте молодого автора. И подчеркнул.

Никогда я так не рисковал! Никогда не писал название прежде, чем напишу хотя бы страницу. Чтобы не заткнуться с ходу. Ужасно выглядит чистая страница с одним лишь названием наверху! Еще хуже, если оно с эпиграфом. Скажем, «Остановись, мгновенье!». Тут-то и попадаетея русский Фауст. Стоит как вкопанный.

«О...» — написал я со страху.

О! О — неплохое начало? О, наконец-то! О себе. От себя. О — вот буква! Она же — ноль. Она же овал. Она же — яйцо. Яйцо — оно. Ему бы начинаться с буквы О... так оно им кончается. Начинается оно с Я. О-жидание о-безьян... Кто — кого? Эти два О гипнотизируют меня.

О, я их уже ненавижу!

То есть не этих, не столько невинных, сколько невиноватых млекопитающих, а самую необходимость писать о них — ненавижу.

А почему я, собственно, обязан о них писать? Но и слово ОБЯЗАН так напоминает обезьяну... Обезьяна же — не обязана.

Где в замысле помещается его неотвязность?

Страница кончилась. Я написал цифру 2 и задумался. «Описание ожидания», — написал я и опять задумался. Поставил три точки, в смысле многоточие, вот так... И тут же поставил цифру 3, как бы временно это описание пропуская. Мол, это технический вопрос.

Правы оказались именно те критики! На собственном примере я начинал убеждаться, что всякий формализм есть свидетельство скудости мысли и бедности содержания. Если написать несколько слов, начинающих с буквы О, означало мысль, то «описание ожидания» — что такое? Решительно нечего мне было описывать — вот в чем дело!

Ну, жду. В этом что-то было. Помню, что что-то было в этом. А потом, лучше бы они так и не прибегали... Сразу не стало ничего такого. Люди. Обыкновенные люди, такие же, как мы. Может, разве покрасивее нас, с их точки зрения. Гривы

замечательные. Грудь и руки. Когда они сыпят на вас с горы, с этим неповторимо мощным, живым шорохом, так сказать, анфас, стремительно увеличиваясь в размерах по мере приближения, и будто это не они, а вы наезжаете на них... как в кино. Ибо кино — это то, чего вы не видели в жизни... а тут — в жизни! И это, я вам скажу, что-то! Это жизнь, а не зоопарк...

Но тут он оказывается рядом с вами, обезьян... Он и есть главный, потому что первый. Он вдруг становится меньше своего размера. Наверно, он просто казался больше, когда так быстро бежал. Но еще и потому, что все, что сзади, как-то не сравнимо с тем, что впереди. Сзади — обезьян недоделанный какой-то. Как перееханный. Бывают такие несчастные собаки, с парализованными задними конечностями... из гладкошерстных, дожьей, бульдожьей, боксерской породы... с непропорционально узким задом... так умирала Линда. Царствие ей небесное! Что там, в собачьем раю? Наверное, как здесь...

Значит, полулев-полусобака. Неприветлив, смотрит исподлобья. С ним не следует встречаться взглядом, об этом вас предупредят. То есть встретиться можно, но сразу и отвести. Не смотреть в упор, потому что он воспримет это как агрессию. Может и цапнуть — клыки внушают... Кроме, конечно, альфа-самца. Расхвастался этот Драгамашенка... На самок тоже смотреть не рекомендуется — тоже вожак может принять на свой счет. Мне постоянно приходилось напоминать *ему* об этом... Ага, вспомнил наконец: тогда еще я был с *ним*. Мы были вместе тогда, у обезьян. *Он*... Ну, как тут не посмотреть, когда у нее черт знает что сзади творится! Все выворочено наружу, раскрыто и сияет всеми цветами радуги. Возможно даже, меняет окраску в зависимости от зрелости, спелости и готовности... В жизни не видел ничего уродливее! Хотя, с другой стороны, вопрос чисто эстетический, то есть спорный: эти жуткие гениталии предъясняются как основной аргумент не без основания... и разукрашены, возможно, с любовью. Вот именно, с любовью! Без любви тут никак. Эволюция поработала над этим мэйк-апом недаром. В конце концов, не станете же вы отрицать, что... Это мы с вами все попрытали — осталась одна фотокарточка на паспорт. Туда же и штамп... А у них... У них и на лице что-то подобное, вроде седалишной мозоли, только поскромнее... как это у них называется? ну, такие, на щеках, возле носа... тоже в сине-красную полоску... клоуны, маски, карнавал, обнаженная тайна, тайна и есть маска. Так они, глядя на портрет, то есть в лицо, как бы уже составляют себе представление о прелестях, которые их ожидают *там*... Надо отдать *ему* должное: природу он всегда

воспринимал острее и ярче, чем я. Следовало его как-то отвлечь, потому что вожак смотрел уже неодобрительно.

Но пока обезьян был занят уничтожением «гранул». Они действительно оказались лакомством, несмотря на свой непрезентабельный вид. Их, собственно, на одного и хватило. Он сгреб все в кучку и уселся на бар. Рядом вились самки и шестерки. Одна была наиболее кокетлива, другой наиболее прилипчив. Им и перепадало. Ей — гранула, ему — по шее. Он наблюдал за самкой, я за шестеркой. Шестерка, в частности, настучал вожаку, что за его спиной некий салага осмелился сам съесть случайно оброненную вожаком гранулу. Расправа была мгновенной: сначала по шее получил шестерка, потом первый попавшийся. Первый попавшийся стал верещать что-то о справедливости и получил еще раз, но и виноватый на этот раз был предъявлен как доказательство и тоже получил, достаточно формально и снисходительно, и с подчеркнута жалобным воем, свидетельствующим о тяжести руки владыки, убежал оповещать всех о существовании справедливости. Стукачу была наконец выдана одна из гранул. Вожак был мудр и справедлив, он устал от мелочных дрызг подчиненных. Справив справедливость как нужду, он отвернулся. Тут-то вожак и поймал *его* нескромный взгляд на свою любимицу. Некоторое время они смотрели друг на друга в упор, но тут даже *он* наконец понял... отвел взгляд и не получил по шее. Вожаку этого было достаточно. По-видимому, он счел это если и не победой, то признанием поражения.

И, кажется, все. Кажется, ничего больше не было. Дальше мы уже сидели на берегу и делали то, зачем сюда и приехали. Мы возлежали неподалеку от «рафика», в сени, у костерка, поджирая шашлык из мяса от малолетних преступников, попивая молодое вино от престарелых, поглядывая через реку на тот берег, кишевший обезьянами, отводя со смущением свой пресыщенный взгляд от их голодного. По взгляду, брошенному вожаком на альфа-самца, я понял, что вождь — мудр. Он первый понял, что больше не будет, что, пока есть корешки да желуди, рассчитывать на большее, чем одноразовое поощрение руководящего состава на глазах у подчиненных, не приходится... Он все это понял, про Драгамашенку, и сохранив чувство собственного достоинства...

Пропустив описание ожидания, под номером три, я открыл со спины следующую страницу молодого автора:

О без Я... О — О.

О — провал, дыра, которая вытягивает все мои мысли, мыслесос, а я сопротивляюсь, кривляюсь и развеваюсь как флаг этому ветру и свисту, машу руками, сгибаюсь в три погибели (почему в три? оказывается, погибель — это «гнутья», а не «гибнуть»...), на мне жив лишь костюм с его двуполостью, то есть двубортностью, брючностью, и галстук на плече. Киногерой...

Два нуля, две дыры. В одну входит, в другую выходит.

О — плоское, О — зеркало... я разбиваю морду о собственное отражение.

Я не отверженный, я — отраженный. Летранжерный. Камю и Гюго в одном лице. Роман «Кого?».

Обезьяна из басни Крылова держит в руке детское овальное зеркальце и кривляется мне в него. Слаба глазами...

В младенчестве я так понимал наизусть эту басню:

Мартышка в старости глазами стала...

Я тогда не знал, что моими.

Не мог заподозрить, что состарюсь.

Страница кончилась, и я написал цифру 4.

«Огонь... — написал я под ней. — Описание пожара».

Вот оно! Вот чего я не только не мог, но и не хотел описывать! Да и что я могу описать, если ничего не помню! Помню только черный провал моря и обгоревших чаек на берегу, будто они мотыльки большой лампы. Лампа была в виде петуха. Помню, что я один. Без него. Я отвернулся, чтобы не смотреть. Некоторые головешки выстреливали достаточно далеко и падали в воду, как отгоревшие ракеты, чуть высвечивая жирное, черное море, в котором плавали трупы чаек. Почему-то я думал, что он каким-то чудом вынырнет из того, что у меня за спиной, — чумазый, наглый, родной, и надерзит мне, нахамит как-нибудь особенно обидно, и я с ним соглашусь и буду счастлив, как никогда. «Сам виноват, — скажет, скажем, он. — Уходя, не забудьте выключить электроприборы. Да и роман твой — так сказать... гори оно синим огнем!» «Синим?» — спрошу я и заставлю себя обернуться и посмотреть. Но пламя, рвущееся из окон, не синее, и даже не красное, а — черное, как то же море... Только белые стены — розовые, а черное небо — белое, и в нем, уже высоко над пожаром, на вершине свивающегося в шпиль дыма, — трепещет как флажок, полощется и клекочет, взбивая пожар крыльями, не то красный, не то золотой красно-золотой петушок... «Да ну ее! — легко скажу я про рукопись. — Мы-то живы...»

Но он так и не шел, а я так и не оборачивался, а только повторял непрестанно единственную молитву, которую помнил, — молитву мытаря:

Господи, помилуй мя грешного.

Господи, помилуй мя грешного.

Господи, помилуй мя грешного.

Не в силах поднять голову, не в силах поднять руку осенить себя крестным знамением, стоя в той же обезьяньей роще.

Раз, два, три, четыре... мышки дернули за гири. Раз, два, три, четыре, пять... вышел зайчик погулять. Пять, — вычерчивал я цифру, пропуская, вслед за обезьянами, и пожар...

Обязан. Обязон. ОН без Я. Я без ОН. О без ДА. Обездарел. Без яиц. Ноль без палочки. Осиротел.

О — это дао. Да, это — О. О, это да! О, это дао! Я не знал, что такое «дао», понятия не имел — и это опять дао. «Слово», между прочим, самое несуществующее слово. Как оно может само себя назвать? Слово равно дао. Слово минус дао равно О. О равно дао минус слово. Слово СЛОВО — это уже коан.

К автору, однако, никаких претензий! Как называется то, что написано?

О-жидание о-безьян...

Вот и ждите!

И я грозно проставил дату на первой странице, над заглавием. Было уже утро следующего дня — 19 августа 1991 года.

Считалось, что папа наверху работает. Будил меня обычно голос жены снизу, кричавшей на детей, чтобы они не шумели и не мешали папе.

Разбудила же меня подозрительная тишина. Первое впечатление, когда я увидел их внизу, было, что они стоят на коленях и молятся телевизору. Потом это впечатление исправилось и объяснилось, но лишь отчасти. Просто они все еще не были одеты, и длинные их ночные рубашки и... о, дети прекрасно знают, когда притихнуть! Одного голоса диктора было достаточно. Это был такой отлученный демократическими переменами диктор, снова привлеченный для исполнения текста некоего экстренного и чрезвычайного правительственного сообщения. Это еще не было объявление войны, приговором это уже было. Вдруг показалось, что из всей жизни за одну ночь был

отснят не очень мудреный фильм — штамп покрывал штамп: ночные рубашки, испуганные дети, жена, цепляющаяся за стремя... я не мог более ни секунды.

Я выехал на шоссе — но кино продолжалось. Какой-то ветер не ветер, тишина не тишина. Пустыня. Именно что верблюда не хватало. Песок был. Каким-то образом он сначала закрипел на зубах: Я поднял стекло — но и тогда этот змеиный шорох о стекла стал особенно слышен. Словно там, впереди, куда я ехал, был бархан, и с его гребня, такими выющимися прядями, все это сдувало... Я ехал один. Отсутствие встречных и попутных машин было необъяснимым. Воздух был непрозрачен, несмотря на ясную, без единого облачка, погоду. Да и ветра на самом деле не было. Просто песок висел в воздухе, и я ехал сквозь него. Причем песочек был крупный: можно сказать, почти камешки стучали по лобовому стеклу. Хотелось его протереть. Но протирать следовало небо. Запыленное небо шуршало вокруг, как старая киноплёнка, на которую отснят был, по-видимому, я, куда-то *туда* едуший... Собственно, машина моя стояла, а по бокам проносили пытершийся пейзаж, как и положено в павильоне. *Будто* я еду. Я делал вид, что вращаю баранку. Никуда я не ехал, я — ждал. Ждал, как *когда-то*...

Ждать — все равно что. Что транспорт, что любимую. Это формула, а не причина. Ждешь, потому что ты предопределен, потому что ты описан, потому что внутри описания ты находишься. Я не ждал самих обезьян — я попал внутрь текста, описывающего ожидание их. Это — то самое, когда не ты, а с тобой что-то происходит. То, от чего вся литература. Это — состав. Литературу не пишут и не читают, когда становятся частью ее состава. Это то самое, изысканно именуемое *державою*¹, когда кажется, что точь-в-точь это мгновение уже было — и это пространство, и это время, и ты в нем, что ты завис в этом, бывалом и неузнаваемом, вечном мгновении навсегда. Было, уже было... Конечно, было! Обычное узнавание ненаписанного текста.

Помнитея, я сильно повздорил тогда с ним. Я застрял там на той поляне, попирая отдававшую коньячком листву, хотя давно уже перебрался на берег этот, отводя душу с барабанщиком разговорами о тишине. «Понимаю вас, — соглашался он. — Иначе зачем бы я стал стучать?» Все теперь понимали меня,

¹ У автора — дежа вю. Замечательная ошибка наборщика! — А. Б.

соглашались со мной — я был исключительно прав. Это не могло не раздражать.

Пил я уже один, без *него*, я мог это сегодня себе позволить, и быстро делался пьян. Это тоже не могло *его* не раздражать, то, что *его* обносили. Ко мне подсаживались по очереди то Павел Петрович, то Миллион Помидоров, то доктор Д., то Валерий Гививович убеждался, все ли в порядке. Все было в порядке. Виктория напевала мне свои арии. Каждому находил я ласковое слово, сегодня к утру благополучно выведший всех к понтному берегу!

— А Семион...

— Да, мы потеряли Семиона, — говорил я, не обращая внимания на *его* реплику, и все-таки вынесли все тяготы повествования и вышли к морю, потому что **ВМЕСТЕ**.

— Вместе?.. — я опять не замечал *его* пустого просительного стакана.

— Да-да, именно **ВМЕСТЕ**.

— Ну, и дальше что?

— Стихия... свобода... вам что, мало?

— Свобода, мать... Дальше, спрашиваю, что?

И *он* пошел собирать хворост для затухающего костра.

Что-то заставило меня резко обернуться в сторону реки... Крупный обезьян на том берегу подошел плотную к воде и смотрел в нашу сторону. Я подумал, что это вожак, мне показалось, что он смотрит в упор. Конечно, глаз его на таком расстоянии разглядеть было невозможно, но я почувствовал этот взгляд. Взгляд был тот же самый, каким я встретился с ним впервые, осторожный и бесстрашный, покорный и прожигающий... Будто он не оттого так быстро убрал его, что опасался нас, а для того, чтобы мы не успели догадаться, что он *не* боится. Теперь он не боялся, что я это пойму... Наконец, словно убедившись, что я смотрю в его сторону, он подобрал с берега валежину и понес ее в сторонку, где и бросил в кучу. И другой обезьян тут же собезьянничал, подбросив лепту...

— Они собирают костер! — догадался я.

Они повторяли *его* движения!..

Доктор Д. пустился разуверять меня в том:

— Поймите же, они собирают не костер, а — кучу!.. Не станете же вы утверждать, что он сейчас начнет добывать огонь трением...

— Если зайца бить, он научится спички поджигать, — по-своему поддержал меня Павел Петрович.

— Эти русские... — сказал Миллион Помидоров. — Все бы им зайца бить. Некому березку заломати... Ну, где? у какого народа?.. кудрявую — так и заломати...

— Сказать тебе, кто ты?! — тут же возмутился он. — Ты... ты есть лицо кавказской национальности!

Обиднее сказать было нельзя, но Миллион Помидоров обладал одним несчастным свойством: он был настолько силен, что никого не мог ударить, чтобы не убить. Поэтому его всегда били. Поэтому он не обиделся, а засмеялся, как бы над шуткой.

— Несчастливая мы национальность...

— Это вы несчастная национальность? — тут же вспыхнул Гивович. — Это мы самая несчастная национальность из-за вас!..

— Кто станет спорить, что самый несчастный народ — армяне?

Мнение прозвучало столь неоспоримо, что все смолкли. У кого еще территория была так мала, что из одной истории состояла?

— А кто Грецию пожалеет? — сказал наш собственный грек, электромонтер обезьянника. — Грецию, которая создала всю культуру, всю Европу, весь нынешний мир?

— Так уж и весь? — удивились мы.

Грек доказал, и иронический взгляд армянина был ему ничем.

— А что, разве древние греки те же самые, что нынешние?

— Они были белокурыми и голубоглазыми...

— Армяне были тоже белокурыми и голубоглазыми!

— Тогда это точно не русские, — сказал Павел Петрович.

— Как это не русские?..

— Значит, это не русские во всем виноваты. Русские тоже были белокурые и голубоглазые.

— В Израиле и сейчас больше белокурых и голубоглазых, чем на родине белокурых бестий...

— Вот и я говорю, что самый несчастный народ — это русские.

— Это мы несчастный народ?!

— Несчастнее всех немцы, — скорбным шепотом сказал барабанщик.

Он знал природу шума, и все стихло.

— Почему мы не спорим, кто из нас счастливее? — сказал, однако, кто-то из нас.

Неужели язык и впрямь начинался с согласных? Как же тогда первая гласная родилась? А-а-а-а! Это боль. Бо-о-о-о-ль.

— А ты знаешь, — сказал Миллион Помидоров, — что стало с тем конем? Ты помнишь того коня?

— Который яблоки ел?

— Ну да. Его пристрелили.

— Такого коня! — *Он* опять воспринял все на свой счет. — Из зависти, что ли? Или перед скачками?.. Прямо на скачках?! Тот мафиози?? — У *него* разыгралось воображение.

— Да нет, — смеялся Миллион Помидоров. — Мафиози тоже пристрелили. Зачем ему конь? Он как раз новую «шестерку» взял. В ней его похоронили. Как в гробу.

— Врешь! — но *он* уже верил.

— А коня просто пристрелили. Сломал ногу — и пристрелили.

— Кстати, — встрял Павел Петрович, — лось — конь или корова?

— При чем тут лось! — возмутился доктор Д.

— У нас в Москве, прямо у моего дома, лось точно ногу сломал.

— Как??

— В люк копытом угодил.

— Тоже пристрелили? — заинтересовался Миллион Помидоров.

— Небось и съели? — разозлился *он*. — Тебе только русскую березку жалко?

— А доктор — ворону ел!.. — Павел Петрович тут же урегулировал национальный конфликт за счет доктора Д.

Поговорили о конине, свинине, про великую страну, где корову не едят, — само собой, о религиях, религиозные разногласия опять перерастали в национальные, и Павел Петрович вывел разговор на прямую — о людоедстве... Это была тема! Никогда не думал, что люди настолько много об этом думали...

Выяснилось, в чем отличие цивилизованного человека, к которым, замечу в скобках, относились все собравшиеся, как армянин, так и грузин, как грузин, так и абхаз, как абхаз, так и русский, как и единственный среди нас грек, потому что каждого из нас, замечу во вторых скобках, было двое, а иногда и трое... в чем отличие цивилизованного человека от дикаря, который, замечу еще в общих скобках, был почему-то один, и то воображаемый, но всеми почему-то одинаково: черный, в юбочке и с кольцом в носу, единственно мешавшим, по всей видимости, ему есть человека... так вот, выяснилось, что дикарь убивает врага и ест, но не убивает и не ест себе подобного, а цивилизованный человек убивает врага, но не ест, а себе подобного пожирает охотно, причем живьем, многообразнейшими способами, называемыми семьей, обществом и прочими так называемыми человеческими отношениями... Причем, к моему

великому неудовольствию, в этой дискуссии инициативу взял на себя именно *он*. Как я *его* прозевал?..

— Вот ты бы съел армянина? — спрашивал *он*...

— Я? армянина? никогда! — возмущался Валерий Гививович.

— А ты съел бы Валерия Гививовича? — спрашивал *он* Миллиона Помидоров.

И т. д. И опять Павел Петрович не дал перейти гастрономическим разногласиям в национальные, грызне в резню, удержав на всем скаку норовистый спор над пропастью еврейского вопроса.

— А я бы, — категорически заявил он, — никогда не разделял бы мясо по национальному признаку, а ел бы всех без разбору... Это было бы полезно во всех, и прежде всего — в экологическом, отношениях. Я бы ел человека, если бы он был вкусный. Но он, я уверен, отвратителен на вкус, ибо более гнилого существа не существует в природе. Да, я берусь утверждать, что он и от природы самое несовершенное существо. Совершенство идет по нисходящей по мере эволюции: муха совершеннее слона, и инфузория совершеннее мухи. И все, что бегает, оторвавшись от среды, несовершеннее того, что укоренено, не совершеннее растения. Только растение пребывает в земле и в небе, во тьме и в свете, в смерти и в жизни... И все — совершеннее человека! Несовершенство человека и есть его приговор. Не получилось! не получилось. Творение было заброшено на этом этапе. Эволюция прекращена. Нам осталось лишь вырождение, мутация...

— Павел Петрович, — вдруг с вежливой вкрадчивостью встрял *он*. — Снимите волосок с губы...

Павел Петрович машинально пощипал губу в поисках...

— Чтобы он не мешал вам пиздеть, — отчетливо произнес *он*.

— Что-что? — недослышал я.

— Выключи кипятильник...

В наступившей тишине было слышно, как всхлипывал доктор Д.

— Не хочу про эволюцию! не хочу про мутацию!.. Про диплодокков хочу! Они были веселые, добрые, радовались жизни... любили танцевать...

— Ну да. Белокурые, голубоглазые...

На том берегу что-то сверкнуло, потом еще раз. В наступающих сумерках было не разобрать. Неужто высекают искру?

— Что *ты* сейчас сказал?? — Я не узнал своего голоса.

— Я просто сказал, не забыл ли ты выключить кипя-
тильник...

— А разве *ты* его не выключил?

— Я не выключал.

Это вспыхивали глаза! Глаза водителя на том берегу... Но как
ярко!

— Не может быть, чтобы ты меня не съел... — доносилось
из кустов.

— И даже на необитаемом острове не съел бы! — Гордость
звучала в голосе.

— Брезгуешь?!

Трещали кусты, сверкал глаз водителя, на подоконнике
раскалялась выкипевшая джезва... Я, *он*, Павел Петрович и док-
тор Д...

— Запрет на то или иное мясо, табуирование тех или иных
животных, по сути, та же мембрана, предзапрет, чтобы не есть
мясо человека...

— Мембрана из бифштекса?.. Ха-ха. Нет заповеди «Не
ешь», есть заповедь «Не убий»... Почему число заповедей не
соответствует числу смертных грехов?..

— Если это чревоугодие, если ты торчишь на этом мясе,
только тогда это смертный грех... Надо страстно хотеть съесть
человека!

— Чревоугодие — это не гурманство...

— Человек как башня... Недаром прямоходящий, верти-
кальный... Зверь — тот всегда очи долу... Башня же у нас — с
дырами: рот, нос, глаза, уши, прочее. Семь дыр для семи
грехов... Дыры вооружены мембранами... Заповеди, запреты,
табу, целомудрие... Если мембрана прорвана, человек разгерме-
тизирован — в дыру свободно входит искушение, грех, зло,
дьявол... Вот именно он штурмует... Тараны, приставные лест-
ницы... Поджог... Человек возгорается изнутри... Пожар...
Башня пылает... Из окон и бойниц сыпятся искры и вырывается
пламя... У Брейгеля эти башни, у Босха... сколько хотите...

— Соответствует ли количество дыр числу грехов?

— Если считать пару за единицу, то — шесть. А грехов — семь.

— В глазах нет дыр.

— В детстве я был уверен, что зрачок — дырочка, даже
пробовал перед зеркалом иголочку туда ввести...

— Ну, и как?

— Побоялся. В зеркале все наоборот.

— Человек несовершенен, потому что должен себя совер-
шить. Сам. С Божьей помощью, конечно. Это не приговор —
быть человеком, а назначение.

- Не хотите же вы сказать, что человек — это профессия?
- Именно что хочу.
- Профессия... назначение... башня... еще скажите: скудель греха. Дыры... Прав доктор: червь изобрел наше тело.
- Я раб, я царь, я червь, я бог!..
- Дыры же — две. В одну входит, в другую выходит.
- Человека же два... Един был мытарь, а другой фарисей...
- Вы фарисей, Павел Петрович!
- Это я-то?! Да кто больше мытарствовал моего!..
- Это все равно, в какую дыру вам гордыня залетит. Нечем хвастаться. Нынче фарисей куда больше мытарь, чем вы. Фарисей стал мытарем, а мытарь — фарисеем.
- Два человека вошли в храм...
- И оба не вышли.
- Нет, именно оба вышли. Два мытаря вошли в храм, а два фарисея вышли.
- И получился Прометей!
- Не Прометей, а Данко. Прометей был до Рождества Христова.
- А пошли бы вы... со своим прогрессом! Колесо, огонь, рычаг... Рабство — вот единственное изобретение человека.
- Прометей изобрел не огонь, а самогонный аппарат. Поэтому у него были нелады с печенью. Цирроз — в переводе «орел».
- С какого?
- С медицинского.
- «Сидеть орлом» — оттуда же?
- Не исключено. Пьянство — это чревоугодие?
- Спорный вопрос. «Ешьте, пейте. Это тело мое и кровь моя...» Кто сказал?
- С одной стороны...
- С одной стороны не бывает. Дыры же — две...
- Только одна сторона и есть. Как там? «Пока не станет живое мертвым, а мертвое живым...»
- Внешнее — внутренним, а внутреннее — внешним...
- Мужчина — женщиной, а женщина — мужчиной...
- И это уже было?..
- А как же. Все — было. Это вам только кажется, что вы выворачиваетесь наизнанку — не видать вам Царствия Небесного, как своих ушей!
- Ухо-то хоть — дырка?
- Молотите черт знает что, а сами отняли мясо у детей, вино у стариков, а фрукты у обезьян!.. И Бога своего вы съели.
- То есть как съели?

— Буквально. Как тело. Он опустился, и вы его съели.

— Заткнешься ли ты наконец?!

— Съели! съели!

Я рванул за *ним*. Он ломился сквозь кусты с треском зверя, уходящего от погони. Крупный экземпляр, однако... Вдруг стихло, стемнело, на четвереньках я шарил вокруг, словно очки потерял. Вдруг слышу...

На четвереньках, всхлипывая, некрасиво отставив задницу, уткнувшись мордой в прелую листву...

— Господи! если я формула, то проклиная тебя, чтобы продолжать верить в тебя.

— Господи! если тебя нет, то проклиная тебя, чтобы ты был хотя бы в проклятии моем.

— Господи! если ты есть и я не формула, то не слишком ли это много для счастья?..

«Все именно тогда произошло...» — вспомнил я, скрипя колесами по шоссе. Пустыня продолжалась. Песок летел все крупнее и все звонче бил в стекло. И тогда, сравнивая ту тишину и эту, тот шорох опавших листьев с этим шепотом песка, то ожидание и это — и находя их одинаковыми, я понял, что я жду и чего. В моем невоенном мозгу такая догадка была ослепительной: я их так же никогда не видел на воле, танков, как и обезьян... Я понял, что передо мной по шоссе прошли танки. Это они перемолотили асфальт и подняли в небо пыль и песок...

Именно тогда все произошло. Он порывался на тот берег с ящиком продуктов, кормить обезьян. Павел Петрович учил блевать доктора Д., Валерий Гививович обнимал Миллион Помидоров... А у меня в глазах стояла пылающая башня, из всех дыр которой вырывался огонь, и была эта башня — гостиница «Абхазия». Рукописи замечательно горят, и пожар начинается с рукописи! Особенно когда вокруг нее такая большая фанера...

На обратном пути Павел Петрович еще что-то доплетал об опустившемся Боге. Что поскольку мы не исполнили назначения, а Он уже дал нам свободу выбора, то Он уже не в силах ни вмешаться, ни поправить, но и не снимает с себя ответственности. Он послал нам Сына своего, и мы не поняли, мы отчислили Ему небеса и храмы, а сами продолжали. И Ему ничего не оставалось, как разделить нашу участь, спуститься

к нам и раствориться в нас. В этом смысле Он среди нас. И может даже, один из нас. И мы никогда не знаем, с кем имеем дело, при встрече с каждым человеком — не исключено, что с Ним...

А я понимал, что все кончено, что сгорела не просто гостиница и не просто рукопись, а *живые души*... Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась — дальше все равно что. Все равно, в какой последовательности будут разлетаться головешки и обломки и с какой скоростью.

Как-то все стало слишком ясно, про будущее.

Безразлично. Безразлично, что теперь будет. Потому что того, что было, уже не будет никогда. Когда исчезает то, что было, вместе с ним исчезает и то, что будет, потому что в том, что будет, не будет содержаться и атома от того, что было. Тебя не будет. Какая разница.

И когда я наконец увидел первый танк, и когда я увидел догорающую «Абхазию», когда я уперся в этот бронёбархан, и когда жар пожара остановил меня, то ли песок попал в глаза, то ли дым — но мне стало настолько все равно, настолько не жаль себя, что я заплакал.

— А ты, браток, жаден... — услышал я обрыдлый голос.

— Ты только что сказал: тщеславен! — возмутился я.

— Сам сказал. Так что не труда тебе жаль. Когда ты трудился? Тебе лотерейного билета жаль. Который мог бы наконец выпасть. А вдруг, чего не бывает... вдруг наконец получилось? А вдруг не бывает. Кстати, ты злоупотребляешь этим словечком *вдруг*.

О, он умел меня завести!.. Я и завелся с полоборота.

— Пидер гнойный! Кто ты такой, чтобы мне это говорить!

— Фи-и! Интел-лигетный, считается, человек, интел-лектуал...

Сколько яда вложил он в один корень...

— Это я-то интеллектуал! — возмутился я, прямо как он.

— Но не я же... — царственно парировал он.

Тут крыть было нечем.

— И потом, — обиженно и самодовольно сказал он. — Сам посуди, какой же я голубой?..

— Это я сказал или ты сказал? По-твоему, интеллектуал — так и гомосексуалист?

— А что, это не синонимы?

— Знаешь слово *синоним*?..

Он рассмеялся.

— Кто скажет, что сгорело в Александрийской библиотеке? Множество ли шедевров? Может, это Булгаков ее спалил, чтобы фразочку свою пресловутую произнести? Так ли уж хорош был вне цитат Гераклит? Гоголь... Сгорают непременно шедевры. Так нам легче. Как неудобно без пожара! надо целыми чемоданами рукописи терять, как Хемингуэй... Так вот что я тебе скажу: у тебя сейчас непременно шедевр горит! «Живые души!» Что — «Солдаты Империи»... Я бы тебе советовал переименовать сочинение! Я бы этой версии придерживался. Еще лучше было бы тебе самому вместе с ним сгореть. Счастливейший финал! Сразу гением станешь. Миф — славная реклама. Читать тебя начнут, вычитывать, что сгорело, неосуществленные возможности... Кто скажет, что они не грандиозны? За собой надо застолбить как раз возможности, а не тексты. Быть лучше других — слишком мало и долго. Куда легче получить враз то, что тебе не принадлежит. Гибель — и сразу все будущее, целиком. И не надо в петлю лезть, стреляться, жечь шедевры и терять чемоданы... Это уже не твоя забота и работа — они оплатят и оплатят: *им* же тоже надо как-нибудь быть. Они *поработают!* За тебя, между прочим. Ты им только предоставь. Уступи. Отойди. Что это ты, все есть и есть? Сделай их вдовой, ну, сделай! Пусть трахается на твоей могиле с могильщиком... это ли не признание! Признание это и есть; слава. Тут не царь, не общество — рок, стихия! Получше соавтор. Так нет... Пьяные ничтожества лезут под трактор, великий — никогда! Слабо?

Я рванулся в *огонь*, с тем чтобы *он* меня остановил, и *он* меня остановил:

— Соавтор — трактор — рифма?

— Как хочешь... — убитый, сказал я. — Лучше — провокатор. Правда, что ни один из них в несчастном случае не погиб?

— Не востребованы судьбой. Оттого они ее и преувеличивали...

— Сейчас мой текст горит — это не преувеличение.

— Как ты думаешь, крысы и кошки успели сбежать?

— При чем тут...

— Потому что ты будешь виновник их гибели. Может, среди них какой ихний Коперник был...

— Не Коперник, а Джордано Бруно.

— Лазо... какая разница. Тебя и люди меньше твоей рукописи занимают.

— А что, кто-нибудь погиб?

— Ни один из них не сгорел, успокойся.

— Откуда ты знаешь?
— Да так. Наблюдаю жизнь. Имею информацию. Один только человек может еще сгореть в этом историческом пожаре...

— Только не ты.

— Опять же заметь, я — хам, а хамишь всегда только ты. Причем всегда мне. Хама ты побоишься.

— Да не боюсь я тебя!

— Что это ты так всегда боишься быть заподозренным? Гордись: ты не слабый пожар раздул — хоть и не мировой. Гоголь, когда учинил кремацию своим мертвым душам, окончательно замерз, а не согрелся.

— Он *сам* сгорел, как живая душа.

— Ты думаешь?

— Ничего я не думаю. Это у *меня* роман сгорел.

— Детище?

— Вот именно!

— Любимое?

— Ты *этого* не понимаешь.

— Того я не понимаю, этого... Сам ты что понимаешь! Ты хоть раз о ком подумал? понял кого? Ты называешь меня *он*, а себя Я... Это справедливо? Как водку пить, так вместе, а как блевать, так мне? Что ж тут такого удивительного, что мне все равно... Да гори роман твой синим пламенем! это справедливо. Пусть будет по-твоему: это ты его написал, а не я. Так мне и дела нет. Ваши заботы, господин учитель.

— Так писал бы... мастер старинного анекдота!

— Я писать не умею, — голос *его* прозвучал неожиданно мягко.

— Неужто? Наконец-то. Признался.

— Я не в твоём смысле. Не в писательском. Я расписаться не могу.

— Врешь!

Но я знал, что на этот раз *он* не врет.

— Ну так иначе помогал как-нибудь. Наблюдал бы... Запоминал. Раз ты такой наблюдательный... Книжку какую про обезьян прочел да пересказал...

— Я читать не умею.

— И это? Однако ты по-своему последователен.

— Да, — сказал *он* самодовольно, — характер — это моя прерогатива.

— Прерогатива... Откуда ты слов таких нахватался? Как старых анекдотов...

— Вот опять... Я твоя мусорная корзина. А между тем теперь у тебя только то и осталось, что я из нее, скомканное, разгладил.

— Ты сохранил *это*??

— А как же! Черновики — это кайф. Их можно разглядывать, а не читать. Как квитанции. Как трамвайные билетки...

— Неужто ты меня так любишь?

— Так... — сказал *он* презрительно. — Почему тебя надо *так* любить? Как еврея. А нельзя просто *любить*? Этого мало тебе, недостаточно?.. Я ненавижу *тебя*! Но все больше, чем ты меня. Все же я не так равнодушен...

— Как я... Слушай! а тогда, в таком дивном грузинском городке, помнишь... когда ты так напился... когда я с тобой так напился... когда ты со мной... ну, короче, когда мы напились и я умирал, избитый местными армянами за проармянские речи, воспринятые ими как антигрузинские... *помнишь*?

— Не, — сказал *он*, — не помню.

— Не помнишь?.. Ты врешь. Я лежал тогда в своем номере, пьяный вусмерть, избитый до смерти, умирающий... Сердце мое останавливалось. Я считал. Оно все-таки ударяло снова. И вот не ударило. Я умер. Никакого там света, коридора, туннеля... Теплый, тошнотворный мрак, как ужас. Будто тебя обратно в матку запихивают. И тут же я лежал голый и обмытый, на животе, но видел всю комнату как бы спиной. И видел себя же, меня, витающим под потолком... это был *ты*?

Теперь *он* повернулся другим боком к пожару, то ли чтобы остудить нынешний, то ли чтобы погреть прошлый...

— Помню желтую лампочку, вокруг которой *ты* вился... Свет был особенно желтый, как тело... как *твое* тело. С каким любопытством ты смотрел! Будто впервые видел... Кого *ты* видел?!

— Что ты меня трясешь, как следователь в кино... — вяло огрызнулся *он*.

— Это был ты или я? Это ты меня вернул к жизни или я тебя?

— Не помню...

— Ты летал надо мною; и ты был очень возбужден. А я был мертв.

— Ну да. Как труп в пустыне, ты лежал...

— Кстати, похоже. Только хуже. В кровати. А точнее, на кровати. Потому что это был труп. Живой — В кровати, а мертвый — НА кровати, ты не согласен?

— Мы гимназиев не кончали...

— Это не грамматика. Короче, их было двое, одинаковых, как близнецы, как две капли... Мертвый и живой. И они слились. Стало темно. Я открыл глаза. Было темно. Мертвые не открывают глаз. Я пошарил в темноте. И первое, что нащупал, был вот какой предмет... Круглый, теплый и продолговатый. Твердый. Стоящий вертикально. Не помнишь?

— Я сам этого не делаю.

— Дурак. Предмет не был частью моего тела.

— Ну, так тем более!

— Дурак. Это было горлышко! Это было горлышко глиняного кувшина, наполненного красным вином!

— Ну? — заинтересовался он. — И что же?

— Как ты думаешь, что?.. Я его ласково потрогал.

— Ну?

— И приник!

— И вырвал...

— Нет, не вырвал, а, насосавшись, воскрес. Включил свет. Заметь, что он не горел. Заметь, что он не был вовсе таким желтым. Но я был в чем мать родила и был обмыт, и кувшина до того не было! Ты принес?

— Это тебе грузины послали за твои антиармянские речи.

— Нет, это был ты!

— Типичный делириум.

— Делириум... Неграмотный, а как нахвтался.

— У тебя. Лучше скажи, что потом было?

— Потом... Потом я позвал тебя и ты допил остальное.

— Лучше бы ты тогда сдох, — опять обиделся он. — Для кого весь этот театр? Что за роль ты мне отвел? Ты творишь, ты пишешь и читаешь, ты духовен, как Бетховен... а я — только пить, да спать, да еще... ты у нас даже в туалет не ходишь, как Веничка. У меня даже имени собственного нет! Рабство. Все, что вы сумели изобрести, это рабство!

— Кто мы?

— Люди!

— А ты кто?

— Сам знаешь.

— Не ангел ли?

— Где уж нам уж выйти замуж...

— Это ты придумал сам, про рабство?

— А то ты! Откуда у тебя мой опыт? Ты всегда нисходишь ко мне, а на самом деле низводишь меня. До роли свиньи, чернорабочего, подонка. Будто мстишь, ей-богу...

— За что?

— За то, что это я одушевленный, а не ты! За то, что это у меня талант, а не у тебя, за то, что это меня бабы любят!..

— Так вот из-за чего мы спорим... Из-за бабы!

— Я с тобой и спорить не стану. Какой ты мне соперник!..

— Действительно. Вот странно... Вот в голову пришло! Слушай! Что это мы с тобой ни разу одну бабу не полюбили?

— А мне твои никогда не нравились. А моих ты стеснялся.

— Что ж, уж совсем ни одной, чтоб подошла нам обоим?

— Это уже любовь называется.

— Что ж, разве мы не любили ни разу?

— Ты думаешь, вам без меня было бы лучше?..

— Слушай, тебе ее не жалко? Треплем нежную, совсем затаскали...

— Поздно жалеть. Спасать надо!

— Душу живу...

— Чуть живу!

— А кто виноват?..

— Опять за свое!.. Когда было восстание рабов в Египте?

— 2750 лет до нашей эры.

— Помнишь!

— Еще бы не помнить! Незабвенный Федор Иванович! Он, когда хотел с двойки на тройку вытянуть, всегда этот вопрос задавал. А ты был двоечник, живой мальчик... Это потом ты стал таким рабовладельцем, ханжой и занудой. Бездарью.

— Ты!

— Дурак. Что тут поделаешь, если она одна на двоих? Не стреляться же! Стрельну в тебя — попаду в себя...

— Прوماжешь. Это будет самоубийство.

— Ты что, подначиваешь?.. Смотри, стрельну в себя, чтобы не промахнуться, — в *тебя* уж точно попаду. Ты мне не угрожай. Мое положение — прочнее не бывает! Да, я подонок. Но я живой. Я Богу молюсь. А ты чего достиг? Чего добился, я спрашиваю? — только бесчувствия. Тебе кажется, что ты самоусовершенствовался, развился, лишился пороков? А ты только лишнего порока лишился, потому что он сам отвалился. Ты лучше не стал — ты стал только хуже. Ты скрыл свое безобразие, не предъявляя язвы. Ты маска. Причем моя.

— Почему ты именно сегодня, когда у меня... когда у меня, наконец, есть хоть какое-то, в твоём понимании, чувство... что ж ты обижаешься на меня, когда меня наконец пожалуй нужно?

— А когда тебе еще что-нибудь сказать можно?! Ты же никого не слышишь!.. Зачем, зачем ты мне это рассказал?? Будто ты меня... ты меня... тогда в Грузии...

— Ну что ты! что ты... не плачь. Наоборот. Это, скорее, ты меня.

— Я тебе как вешалка. Ты обвесишься на мне — гладить не надо. Просохнешь, применишь форму, которой у тебя нет, замети, по определению... И — снова затщеславишься как ни в чем не бывало. Ханжа!

— Да ты бы давно спился без моего ханжества!

— Вот спасибо. То-то мне никак не удастся. Никак не могу спиться!..

— Да не лезь ты в бутылку...

— Неужто у тебя осталось?

— Я спросить тебя хотел...

— Ты? меня?.. У меня нету.

— Вот я и спрашиваю тебя, у которого нету... как совесть, как душу, не как раба... Ведь как раз на этот раз я хорошо написал?

— Ты! опять ты! все время ты! и снова ты!

— Мы... У нас получилось?

— Как тебе сказать... в целом неплохо.

— В целом... что ты понимаешь...

— Ты забыл, я только читать не умею. Чувствовать же мне приходится за обоих.

— Перераспределил роли?.. Ну, как же ты не раб! Дай тебе волю, ты уже на шее!

— Вот видишь, опять ты меня попираешь...

— Ловок ты ловить меня... Ну, извини. Согласен. Сам знаю. Не «Мертвые души». Пусть горят. Живые, они дают больше жару...

— Да не бойся ты Гоголя! Там были славные страницы!..

— Правда? ты находишь?

— Нахожу. Это мертвых жгут как дрова; живые — сами горят. Это было лучшее из всего, что мы... что ты... Вот увидишь, это станет исторический пожар! Эта «Абхазия» — только спичка. Когда-нибудь ты скажешь: я видел, как все началось.

— Ты поджег?!

— А хоть бы и я...

— И это говоришь мне ты! На Герострата ты не тянешь... ты из одной лени кипятильник не выдернул!

— Я бы, на твоём месте, не судил человека так уж строго.

— Человека?..

— Это не твоя компетенция.

— Компетенция?!

И я бросился спасать рукопись, но *он* схватил меня за руку. *Он* всегда был сильнее меня.

От боли я присел и завыл.

— Тебе правда *так* дорога эта штука? — спросил *он* как бы с удивлением. — Погоди...

Я же не успел удержать *его*. У меня просто сил не хватило.

Там *он* исчез, в дыму да в огне.

Он был ловок, как обезьяна. Через секунду я увидел *его* на балконе третьего этажа. Было не разглядеть...

~~Но кому там было быть еще?~~

Дуло было нацелено мне прямо в лоб, и это как-то успокаивало. Потому что оно было слишком большое или потому что мы привыкли видеть его чаще в кино, чем в жизни. Странно было, что такая дура может еще и стрелять, а не только для устрашения. Автомат как-то опаснее, пистолет еще хуже, но всего противнее нож...

Но ножи и автоматы тоже были у солдат, покинувших свои БТР, чтобы размять ноги, перекурить под чистым небом, прислонившись к теплой августовской броне, и выражение их лиц было тоже нестрашным как раз насчет автомата и тесака, которыми они и не собирались пользоваться, которые было лишь положено носить как значки и лычки, зато никакой веры, глядя на них, не оставалось, что они не стрельнут из пушки, когда им прикажут. Такова была положительность и предупредительность их интонаций и движений в контактах с гражданами, что веяло инструктажем не поддаваться на провокацию. Они хорошо исполняли первый приказ, значит, из пушки как раз могли тоже выстрелить. Публика свободно с ними беседовала, и из машины казалось, что они договариваются о чем-то на вечер, после... Мне нравились солдаты: ненервные, они ничего не имели против людей, в которых им прикажут стрелять.

Так думал ничего не смыслящий в этом я, сворачивая в объезд на набережную, чтобы перебраться на тот берег, и увязая в пробке. Я подолгу рассматривал каждое встречное лицо, ибо кому-то почему-то надо было с тою же необходимостью перебраться на берег противоположный. И это было одно и то же лицо не только потому, что так немислимо медленно продвигалась пробка — волоклась по асфальту как низкая туча, сливаясь с ним цветом, — не только потому, что тот берег, что было видно через реку, был так же забит, как и этот, а потому,

что каждый следующий встречный водитель хранил настолько то же выражение, что прямо удивительно, что их там так потрясло, так объединило... Одно их общее лицо было вот какое: не знаю, кто ты такой, что сейчас на меня пялишься, но ты меня не видел, и я тебя не видел, и, как я отношусь к происходящему, за тех я или за этих, ты никогда не узнаешь и никому не докажешь... Только костяшки на руле белели, будто его сжимают сильнее обычного. Эта угрюмая бесстрастность, всеобщая номенклатурная замкнутость... вот что меня испугало. Ни одного выражения досады, возмущения, страха, отчаяния — все всё так давно знали назубок! Вот кто был солдат... как один. Стой, дыши выхлопными газами! Но ведь и ни одного выражения ликования... с тоской порадовался я. Ни одного!

Продравшись наконец за мост, запарковавшись поближе к оцеплению, я деликатно выполз на рекогносцировку. Было пусто и солнечно: ни машин, ни людей, — разогнали или разбежались? Доброжелательность милиции настораживала. Машин не было понятно почему, но людей не было, оказалось, не потому, что не пустили. Несколько столь же осторожных, как я, любопытных делали вид, что они сюда забрели не с политической целью. Было нестрашно и невесело — никак. Брейгелевский идиот в безухой шапке-ушанке пересекал это унылое полотно в избранном им самим направлении, в любом случае — поперек. Нес он тяжелую железную спинку от кровати, и что-то удивительно знакомое, даже родное, даже до боли, померещилось мне в его хватке... Павел Петрович!

— Как ты? — сказал он.

Это в смысле «хау ду ю ду», не более.

Мы взяли за спинку вдвоем и понесли. Он впереди, я сзади. Он как бы знал, куда он ее нес... Очень почему-то приятно было видеть его поредевший затылок. Старичок в стоптанных «адидасах»...

— Слушай, ты где пропадал? — сказал он мне.

— Это я-то?!

— А ты не помолодел... — сказал он с удовлетворением.

— Зато ты выглядишь отлично, — парировал я.

— Все-таки ужасно рад тебя видеть, Доктор Докторович...

Ну, как, дописал роман?

Ну, не подлец ли? Семи лет как не бывало. Я чуть кровать не выронил.

— Слушай, а ты захватил с собой?

Оказывается, его и не интересовал мой ответ...

— Ну, ты не огорчайся так уж... Я захватил.

Сказано это было вдруг с такой доброотою, что я понял, что он все знал. И он действительно знал *все*...

— Пожар в «Абхазии» начался с дымохода в шашлычной. Его никогда не чистили — пожарный надзор довольствовался шашлыками. Бараний жир с сажей — очень хорошая горячая смесь.

— Откуда ты знаешь?

— Я же там был.

Я опять чуть не уронил кровать себе на ногу.

— Ты недавно посмотрел фильм «Огни большого города»?.. — догадался я.

— Это что, Чарли Чаплина?

— Куда мы идем? — Голос мой прозвучал неприветливо.

— Там нас очень ждут.

— Ты уверен?..

— Увидишь.

Мы сбросили ношу в кучу металлолома, и это была баррикада.

— Так просто? — восхитился я.

— А ты как думал?

И он пренебрежительно взглянул на танки. Мы уютно расположились с видом на них и на Москву-реку, на гостиницу «Украина».

— Ты демократ? — спросил я.

— Это я-то! — возмутился он. — Ты за кого меня считаешь?

Из ящичков он тут же соорудил костерок и достал из кармана своей непомерной блузы... Чего там только у него не было! Не успевал я подумать, как он это именно и вынимал.

Он *это* вынимал, а я смотрел на его руки — на них трудно было не смотреть. Его характерные ногти — полуклавиши-полукогти — еще более загнулись, а кисти были покрыты жуткими розовыми пятнами — не иначе псориаз... «Водка свою работу знает...», как говаривал он сам когда-то.

— Ожог, — сказал он, отметив мой взгляд.

Признаться, я онемел.

— Чинил уют...

И впрямь, *тот* ожог не мог быть таким свежим...

— Сейчас... — сказал он неопределенно. — Сейчас, — сказал он, разливая по первой и концентрируясь.

И по второй мы успели выпить, пока закипал чифирок.

— Нашел! — И он ласково поскреб под рубашкой, где сердце, своей ужасной рукою. — Нашел... — И он ласково

взглянул на окружающую действительность, будто она превратилась в котеночка. — Все-то ты перебиваешь, ни разу мне не удалось высказаться тебе до конца... Бедное, бедное!.. Как оно выворачивается наизнанку! и ради кого? И что предложим мы ему, кроме непрерывной, задыхающейся работы... Четыре камеры. Все время переводят из одной в другую. Ни секунды сна. И смерть в каждом пульсе, и счет ей... Счет каждой секунде, чуть чаще, чем она пройдет. Оно быстрее времени — сердце! Как мало ему осталось добежать... Оно рвет финишную ленту! рекорд! орация! И нет тебя. Не ты бежал — ты только думал, что бежишь... Оно бежало! Оно и прибежало, а не ты. Что же это ты так жалеешь себя? Его, его пожалей!

И он опять налил себе одному.

— Не ты ли, доктор, цитировал мне от Фомы... Пока не станут... Странно все это звучало из твоих уст — будто парадокс какой: внутреннее — внешним, мужчина женщиной, жизнь смертью и наоборот... Ничего странного! Это всего лишь описание сердца. Всего лишь... скажешь тоже! Как оно, бедное, бьется... Слышишь, бьется? Бьется — вот и слышишь. Вот и вся музыка. Музыка — потом. Остальное — молчание. Пауза. Пропать. Космос. Сердце не бьется, а — останавливается. Летит в бездну, умирает, обмирает в нем каждая секунда. И ты еще рассуждал мне о часах!.. Сердце единственное измеряет время в природе. Видел шатун у паровоза? Думаешь, он колесо крутит?.. Обыкновенное техническое жульничество! Потому что к нему такая маленькая, хиленькая, застенчивая тяга присобачена, чтобы никто не заметил, что не сам шатун... Она, тягочка эта, его поддегивает, чтобы сдвинулся с мертвой точки, и паровоз — едет, важный, толстый, пытит, делает вид, что сам, думает, что это он. Сердце — вот главный замок! На него замкнуто все: и Вселенная с ее дырами, парсеками и карликами, и Земля этой Вселенной, и ее жизнь на ней, с ее амебой и человеком... И на человека навешен этот замок! Что есть менее искусственное, чем сердце с его желудочками, предсердиями, клапанами и аортами? Оно все придумано. Кем?! Вот кровь моя, и вот плоть моя... Вечный инфаркт! вечно прорванная и зарастающая мембрана... Сердце — вот девственность! Цело-мудрие! Это Он взорвал себя — для каждого!.. Пожалей его. Бога не сэкономишь... Просто *пожалей*. Оно неисправимо, сердце!..

Я слишком поторопился выразить свое согласие и восхищение. Как же он возмутился!..

— Через легкие, говоришь?.. Через ВСЁ!! А что ты вдыхаешь? Это ты полагаешь, что воздух... А я говорю тебе, не в легких

обогащается кровь, а в сердце. И с этим обогащением поступает она сюда. — И он с презрением постучал по лбу. — В самое общее, в самое отхожее наше место. Котелок у каждого есть как вещь. Голова и яйца — это у нас снаружи, сердце же есть *внутри!* Оно заточено в нас, как в тюрьму. Оттого мысли у всех одни, а сердца одиноки. Космические аппараты, пролетающие тьму плоти... Сердца разлучены, а не мысли. Мысль есть самая поверхностная вещь, и она никогда не коснется сути. Мозг не поет и не пляшет, он не плачет и не радуется, этот студень. Что мы носимся с этой миской хаши? Это именно *мозг* ни разу не пожалел сердца, самодовольно полагая, что оно ему служит. Все, видите ли, ему подчинено, значит, все его и обслуживает. А потом, раз все его обслуживает, значит, все ему и подвластно. А потом, раз все ему подвластно, значит, он все может. А раз он все может, давай, говорит, сделаем искусственное сердце! Построили министерство, размером с Белый дом: ведомство правого желудочка, департамент левого предсердия... Подключили к нему умирающего человека: давай, говорят, живи! А я: не хочу! Сердится мозг на человека: чего, мол, не хочешь? мы же всем тебя обеспечили, снабжение по высшему разряду, что, тебе мало? сердца, говоришь, не хватает?.. Занялись усовершенствованием: по линии перераспределения функций отделов и сокращения штатов. Значительно продвинулись: вместо микро-района сердце разместились в одном квартале — тут пришел совсем умный человек, обвинил докторов, не без оснований, в тупости. Архаики вы, говорит. Зачем, говорит, вы природу пытаетесь скопировать — никогда это у вас не получится; давайте исходить из чисто технических параметров. Поймали для начала теленка; вставили ему электромоторчик... Знаешь, он — жил! Кровь нормально циркулировала. Снабжала всем, что положено. И знаешь, чего не хватило? Остановки! Кровь снабжала, но не оповещала о жизни и смерти. У теленка не было пульса! Счет времени был потерян. Теленок сдох, а не умер. Ибо каждый удар *его*... Вот битва! Боже! за что ты бьешься?.. Господи! — воскликнул он. — *Как же ВСЕ хорошо!*

- Что хорошего? — изумился я, снова увидев танки.
- А погодка. Праздник. Преображение, как-никак.
- «Шестое августа по-старому...» А я и забыл!
- Ты что, не церковничаешь больше?
- А я и не церковничал!.. — обиделся я.
- А я сегодня, первое дело, к храму побежал...
- Ты?
- Там у сторожа похмелиться можно. Смотрю, кровать...

— Ты — вечен! Ты — Феникс! Слава Богу... И ты, конечно, знаешь, что будет?

— Что будет... А ни ... не будет! Слава Богу и будет. Великий Праздник.

— Я не о том... Я о них...

— Эти-то? — Он даже не посмотрел на танки. — Металлолом. Да ты не на них — ты *туда* взгляни!

И ложечкой, которой помешивал чифирик, не глядя, он ткнул куда-то вверх.

Сначала мне показалось... Но потом: нет, думаю... Я еще раз посмотрел вниз на танки, а потом вверх, на небо. Нет, не может быть! Однако...

«И видел я воинство в воздухе...»

Опершись на раскаленные добела копыя, как на лопаты, в ватниках на белые крылья, в небе подремывали ангелы. Их обрусевшие дюреровские лица были просторны, как поля, иссеченные молниями и разглаженные необсуждаемостью ратного труда. Их набрякшие кулаки молотобойцев, выкованные вместе с оружием, внушали доверие, как и лица... Легко стало мне на душе, нетрудно: это их ногти проросли сквозь кисти, это их приковали веригами за облака, это к их крыльям пристал, как куриный помет, небесный мусор русских деревень, прикидываясь патиной: избы, заборы, проселки, колодцы, развалины храмов и тракторов... Сон ангелов был тяжел и чуток, как их крылья. Они вздрагивали и всхрапывали, как кони, и наш костерок тогда слегка колыхался от их дыхания, а дымок вытягивался к ним, и тогда казалось, что это ангелы пахнут пожаром своей неустанной битвы. Боже, как же Ты терпим к нам и суров к ним!

— Господи, помоги им!

— Вот это уже разговор, — ...

~~Он подумал или я сказал?..~~

28 февраля 1993,
Прощеное Воскресенье

КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ,
ИЛИ ЗАПОЗДАЛЫЙ ЭПИГРАФ

*С сочинителями случается, что они после всего спохватятся
о том, о чем следовало бы им знать наперед.*

Паскаль

Человек есть существо двуногое. без перьев.

Платон

*От одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию,
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут
ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.*

Апостол Павел

Родился мал, вырос глуп, помер пьян — ничего не знаю.

Русская пословица

*Если тюрьма есть попытка человека заменить
пространство временем, то Россия — есть попытка
Господа заменить время пространством.*

Павел Петрович

*Человек есть единственное существо, не
справляющееся с жизнью.*

Перек

*Опасно слишком обнаруживать перед человеком его
сторону, общую с бессловесными, не указав ему на
его величие. Опасно также слишком выставлять
перед ним его величие, не указав на слабости. Еще
опаснее оставлять в неведении о том и другом.*

Паскаль

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман....
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...*

Пушкин

Приложение

ПОПЫТКА УТОПИИ¹

Размышление
в конце века

С тех пор как у Ницше умер Бог, мы прожили еще сто лет, хороня то ту, то другую Его ипостась. Хотя бы за последние два-три года мне посчастливилось присутствовать на похоронах той или иной категории человеческого сознания. То был КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРЫ, то КОНЕЦ ИСТОРИИ, то КОНЕЦ ИДЕОЛОГИИ, то КОНЕЦ ПРОРОКОВ, то даже КОНЕЦ РЕФЛЕКСИИ. Естественно, все это происходило еще и под общей маркой: КОНЕЦ ВЕКА, а то даже КОНЕЦ МИЛЛЕНИУМА. Помню, Литература честно умерла первой в Лиссабоне, История скончалась следующей весной в Берлине, Идеология молодым летом в Милане, Пророков выносили в Мюнхене, Рефлексия пережила последние конвульсии в Амстердаме. Может, в географии все дело? Какой КОНЕЦ должны мы отметить, скажем, в Стамбуле?

В конце концов.

Эсхатология перерастает в схоластику. И это не упрек: значит, эсхатология становится естественной, а не трагической и уже даже не романтической частью нашего сознания. Схоластически обработанная категория только и может стать неоспоримой его частью. Так православие, отвергнув схоластику, отвернулось и от цивилизации. Однако Горбачев, под конец, уже цитировал Аристотеля.

Действительно, что-то кончилось.

Нам, в России, проще: у нас понятно, ЧТО кончилось.

Империя, например. Хотя, в агонии, она еще долго будет молотить своим чешуйчатым хвостом, разметая народы.

¹ Речь на Конференции писателей в Мюнхене в марте 1992 года. Речь написана под непосредственным влиянием бесед автора с Павлом Петровичем на вилле Вальдберта в Фельдафинге.

Что-то кончилось, но ведь что-то и началось. И что кончилось, мы знаем, а что началось — не так уж. Мы-то уж знали, чего бояться: Сталина, ЧК, ЦК, КПСС, КГБ, МПС, ГКЧП. Эти скрипучие аббревиатуры, которые уже не слова человеческие, суть синонимы и страха нечеловеческого. И мир зато знал, чего бояться: нас, называя наш страх коммунизмом. И все вместе мы уже боялись атомной войны.

Теперь — вдруг. Чего бояться? Ни того, ни другого, ни третьего.

Еще страшнее.

До того страшно, что прошлое уже не пугает нас, мимирируя под счастье. Счастье ведь всегда не ценили, и оно всегда в прошлом.

И тогда надо сказать, что боимся мы не чего-нибудь. Угроза вещь ясная. А боимся мы **НАСТОЯЩЕГО, РЕАЛЬНОСТИ**. Мы их не выносим, мы им не соответствуем. В конце концов, что есть Сталин, КГБ, коммунизм, фашизм, лагеря, тюрьмы, пушки, бомбы, ракеты, как не персонификация нашего страха перед реальностью? Разве не мы сами их сделали? Кого же мы боимся? **САМИХ СЕБЯ**.

А если мы боимся самих себя, то, значит, все от нас и зависит.

Не стоит ни отчаиваться, ни опускать руки. Все в нашей власти.

Когда мы эту свою власть осознаем, то тут же и утратим ее, потому что все тогда окажется в **РУЦЕ БОЖЬЕЙ**.

В качестве своей маленькой победы над страхом — страхом показаться простоватым или наивным, страхом не просоответствовать уровню, страхом опростоволоситься, страхом **НЕ** показаться, страхом быть собою — я пытаюсь что-то сказать. И это единственное оправдание и право речи.

Главное постараться не внушать, не давить, не настаивать на правоте — избежать агрессии. И это трудно. Это такая *работа*. Это, по-видимому, и есть мысль. Ее попытка.

И эта попытка есть утопия. Но если сама природа мысли утопична, то зачем стесняться утопии? Истина, как известно, голая, обнаженная. Оттого такая смелая.

У этой утопии много врагов: здравый смысл, трезвый взгляд, насущная потребность. Они настойчиво подсовывают нам реализм вместо реальности, ложась в основу депрессии. И вот вам результат: пессимист у нас всегда умный, потому что он так и знал, а оптимист всегда дурак, потому что «не хочет видеть очевидных вещей».

Без веры жизнь бессмысленна.

Если мы утратили веру, то утопия становится куда более реальной категорией, ибо она верует если не в Бога, то в веру в Бога.

Как это происходит?

Однажды, лет десять тому (как, однако, скакнула история! — кажется, лет сто назад...), бродили мы с приятелем по ночной Москве, ведя вольные русские беседы, какие возможны лишь при тоталитарном режиме, счастливые друг другом и разлетом наших мыслей, космических бездн и зияющих высот достигали мы, и вряд ли кто пользовался в этот миг большею свободой, чем два рядовых раба КПСС. И вот — с неба на землю! — насторожил нас отвратительный звук неумолимостью своего приближения. И это были танки, бронетранспортеры, зачехленные ракеты, с подчеркнутой миролюбивостью репетировавшие на пустых улицах приближающийся парад. Негрозная, театральная идея репетиции смешна сама по себе, но не до смеху, когда смотришь на этих тяжких чудищ, — неизбежная дрожь пробегает по брэнному вашему телу. И тут соображение, которое и мыслью-то не назовешь, от жалости к самому себе: меня же легче шилом проткнуть, и весь я кончусь, как воздушный шарик, — зачем против меня такая махина? И вдруг все это на моих глазах, в одну секунду превратилось в бесполезный, никому не нужный и вовсе не грозный, а смешной металлолом. Если это против меня, значит, ОНИ слабы. Значит ли это, что я так грозен и силен? Выходит, для НИХ это так. Зачем же иначе так настаивать, так утверждать, так грозить? зачем все эти системы подавления и уничтожения? Значит, власть и сила не только слабы, но исключительно слабы. Как НЕжизнь, как нежить. А если вдруг, подумал тогда же я, это случится не в одной моей голове, а однажды, в одно прекрасное утро, все проснутся с тою же мыслью: что это за безобразная кастрюля, что за ржавая банка?.. то в ту же секунду это превратится в самое себя — в понапрасну израсходованную материю, в металлолом. Ничем другим рост вооружений, как параллельным вызревани-ем этой общей мысли, не объяснить. Это ИХ страх, потому что меня можно напугать и ножом и просто кулаком.

Глупо? Глупо. И что же мы видим сегодня, через десять лет?

Не так уж это было и глупо.

Или вот недавно прочитал я, что в цивилизованных странах развился особый, зимний вид депрессии. Не просто погода, авитаминоз, переутомление, тоска по солнышку, а и еще что-то.

Это «что-то» оказалось — страх заболеть гриппом. Не сам грипп, а страх им заболеть. Человек ощущает свою слабость, с нею приходит страх не справиться: работа, семья, обязательства... он принимает меры, ест таблетки, чтобы лишь не заболеть, потому что это окончательно выбьет его из колеи и он того не успеет и этого, например, попасть на наш симпозиум в Мюнхене... И вот он уже в депрессии, еще и гриппом не заболел. Депрессия эта уж точно приведет к гриппу, и вот, ослабленный предыдущей депрессией, человек не может из этого гриппа выбраться, идут чередой осложнения, в состав которых входит и закономерная, уже гриппу принадлежащая, депрессия. Вам это ничего не напоминает? Мне это напоминает меня. Опять страх и сопутствующая ему гонка вооружений. Не проще ли ярко переболеть гриппом?

Один мыслитель, по имени Сковорода, поделил все человечество на три — получилось: священники, крестьяне и воины. Было это в XVIII веке, на Украине, что оправдывает ясность подхода. Его утопия состояла в том, что для достижения всеобщего счастья человечества необходимо лишь одно — чтобы каждый определил себе в жизни занятие «по сродству»: то есть рожденный священником стал бы священником, рожденный пахарем — пахарем, и воин — воином. И все будут счастливы. Сам он имел некоторое основание так утверждать, поскольку был одним из немногих воистину счастливых людей, ибо веровал. Для достижения всеобщего счастья он давал совет присматриваться к ребенку с рождения: если в церкви любит петь — в семинарию, если к сабельке тянется — в солдаты, если с червячком забавляется — понятно, паши. В наш век его профессионализация покажется недостаточной: а компьютерщик, скажем, кто? Но что человек глубоко несчастен от того, что занят делом не по сродству души, окажется глубоко верным не только до сих пор, но именно теперь. Только занятость *своим* делом лечит от депрессии и агрессии (что в каком-то смысле — один диагноз), то есть делает человека счастливым, то есть человеком. Как занять всех людей своим делом? Тоже утопия. Может, занять их общей идеей? Но это мы уже пробовали, и лучше бы мы этого не пробовали. Не уговаривал ли я себя только что сам никого никуда не манить, не звать, не внушать?

Может, достаточно понять, что мы этой общей идеей уже давно охвачены? Что мы уже исповедуем то, что проповедовать будет необязательно? Что живем мы не в конце, а в начале?

Век есть век. Внушили ли мы себе... но эта сотня на спидометре лучше описывает историю, чем любая другая пери-

одизация... Наш век стар, и он умирает. А может, он уже умер? Тут я, естественно, впадаю в то самое, чего стремился избежать, — в ставшие хроническими рассуждения о концах. Кстати: НЕ НАМ СУДИТЬ. Очень не хочется быть старым и умирать. Даже окруженным почестями, которых все-таки достоин наш ужасный век. Но достоин не потому, что мы пролили больше всех веков крови, а потому, что мы что-то ПОНЯЛИ. Что-то поняли — только еще не поняли ЧТО. И наш двадцатый век кончился, если мы ПОНЯЛИ, даже и не поняв что. Это девятнадцатый век был жутко длинным, а наш — еще короче восемнадцатого. Мне хочется обозначить девятнадцатый век с 1789 по 1914-й. А двадцатый — с 1914 по 1989-й (для меня лично даже 1979-й, год нашего вторжения в Афганистан). Мы живем УЖЕ не в двадцатом веке, а в двадцать первом, вопрос не в том, чтобы достойно завершить то, что и так кончилось, а в том, чтобы просоответствовать тому, что уже началось. От нас требуется молодость — откуда мне ее взять?

Так ведь не во мне дело. Но дело, оказывается, только во мне и именно во мне. Пока нечто не произойдет в каждом, ничто не случится во всех. Мы просто никак не поймем, что мы все УЖЕ другие, чем кажемся себе или чем пытаемся казаться.

Мы — свободны.

У меня есть заслуженный опыт: страх перед формулой как перед новым лозунгом. Но если бы мне довелось присутствовать на некоем симпозиуме на более близкую мне тему «КОНЕЦ АГРЕССИИ», то я бы решился и на лозунг: если уж конец, то конец не просто последней империи, а КОНЕЦ ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ, а раз уж начало, то не «светлого будущего», а ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, осознавшей угрозу конца как свое начало, кладущей свое отчаяние в фундамент надежды, а крушение надежд — в основание веры.

Но то, что не просто люди, а уже и *даже* политики умудряются договориться, — разве не утопия, сбывающаяся на наших глазах? В политиках вдруг проступают черты не только воина, но и священника и пахаря. Если наш прогресс волочился всегда за достижениями военной техники, если именно в вооружение, без долгих раздумий, вовлекался технический гений человечества, если только воин находил себе в течение века занятие «по сродству», то как предстать себе всю эту конверсию, рыцаря, выклепывающего кастрюли из собственных лат и находящего в тяжелой деятельности себе «сродство» и счастье? Нелепо. Человечество никогда не станет «хорошим», оно не так устроено. Оно не может себя подчинить идее справедливого

распределения и заботы о ближнем полностью. Избытка его энергии и деятельности вполне бы хватило на счастье всех тех, кому его так не хватает. Человечеству всегда была нужна ЦЕЛЬ, дыра, в которую свищет и уходит его деятельность, — и это была война. Нас хватало, и нам хватало. Теперь нас больше чем надо, и нам не хватает. Мы разоряем и разоряемся. Но и священник — воин, и пахарь — воин, а воин — и пахарь и священник. Технический гений человечества вполне может быть увлечен идеей не просто быть сильнее изобретенного им же врага, но и уподобиться Творцу.

К цельному Творению человек как биологический вид подошел в качестве империалиста, захватив его. Творение скреплено Божественной тайной в единое целое: где тайна — там и замок. Познание наше стало отмычкой, и мы взломали именно замки, на которые Творение было заперто. Теперь оно шатается и свищет. Пришла наша пора чинить замки. Воинство наше я могу вообразить поглощенным этой работой. Идея безотходных производств столь же заманчива в смысле недостижимости, как и полеты к звездам. Если что-то невозможно — куда еще дорога человеческому гению? Безотходное производство, как и современное оружие, — такая же дыра, такой же мыслесос, куда можно ухлопать и все деньги, и всю энергию, и весь талант. И найти, наконец, себе занятие «по сродству».

Переадресовка человеческой энергии и гения — разве не утопия?

А что у нас с вами еще есть реального?

Вот задача на весь следующий век, который протянется не менее тысячелетия.

Бог един, и человек — Его профессионал.

АСТРОЛОГ

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ БЫК

«...и тут так же радостно, сильно и нежно задрожал под мою газон, и откуда-то оттуда, из сумерек хозяйственных строений, с удивленным ржанием выбежал Конь. Лошадь вырывается вперед из повествования, с легкостью обойдя тигра, кота, дракона и змею... О, что это был за зверь! Птица! Существо! Существо-конь вылетело к нам, не веря ногам своим...»

Не являясь поклонником Битова, я с трудом продираюсь сквозь дебри его прозы, уподобляясь его героям, пока окончательно не споткнулся об эту фразу, прорвавшую, как коряга, страницу 160. Какой еще тигр? откуда дракон?! Однако следующая глава так и называлась: КОРОВА. «С легкостью обойдя...» Вот в чем дело!

Тигр, кот, дракон, змея, лошадь... Да это же последовательность так называемого Восточного (китайского) гороскопа! Открытие это заставило меня не только дочитать, но и перечитать книгу. Не может быть, чтобы автор построил ее по столь изысканному принципу! Однако именно так.

Предумышленность такого хода подтверждается наличием и другой книжечки того же автора, а именно «Начатки астрологии русской литературы» (М., 1994), свидетельствующей не столько об углубленном знании предмета, сколько о навязчивом к нему интересе. «Литература отчасти занимается тем же, чем и астрология, рассаживая людей по ячейкам персонажей... Я бы без удивления узнал, что Коробочка — типичный Рак, а Плюшкин — Весы... Чичиков, Манилов, Ноздрев, Собакевич, Мижухин, Копейкин, Селифан... Вдруг все это Рыбы, Стрельцы, Тельцы, Козероги?...»

Посягновения не только на астрологию, но и на Гоголя Битов саморазоблачительно обнаруживает на странице 277: «...у тебя сейчас непременно шедевр горит! Я бы тебе советовал переименовать сочинение!» — говорит альтер эго героя альтер эго автора. Вообще самомнению и развязности Битова можно

лишь подивиться: «Гордись: ты не слабый пожар раздул — хоть и не мировой. Гоголь, когда учинил кремацию своим мертвым душам, окончательно замерз, а не согрелся» (с.279).

Впрочем, пусть литературные критики снимают этот камень с совести Битова. Мы же вернемся к нашим баранам.

Больших трудов стоило мне отыскать след их в битовском несвязном тексте. Я карабкался по кручам слов в поисках заблудшей Овцы. КОЗА!

Я настиг Козу на странице 251: «В доказательство к нам на гору карабкалась черная старушка, не то толкая вверх, не то держась за черную же козочку...» Оставляя еще раз на совести автора возмутительное отношение к слабым мира сего, констатирую лишь демонстративную неуместность появления в тексте Козы.

Такое же впечатление оставили во мне и последующие поиски Тигра и Дракона. Две бессмысленные истории пришлось наплести автору для одного лишь того, чтобы эти существа, столь не свойственные нашей реальности, объявились в тексте, хотя и в виде, в одном случае, всего лишь шкуры, а в другом — поддельного яйца бронтозавра (с. 201 и с. 230). Одно не изменяет Битову: назойливая бестактность в вопросе межнациональных отношений. Чего стоит его глумление над бессмертным памятником мировой литературы и национальными научными кадрами!

Найти остальных животных уже не составляло труда.

Первая часть трилогии, «Птицы», легко соотносится с Годом Петуха, а именно 1969-м: «Впервые я бежал сюда (на Куршскую косу. — А. С.) от 1968 года, как за границу. Но этот берег был уже завоеван...» И опять эта неуместная фигура в кармане! Намек на аннексию территории бывшей Восточной Пруссии с использованием безответного А. С. Пушкина в качестве доказательства (см. «Путешествие в Арзрум») и назойливым намеком на свое якобы диссидентское прошлое (см. статью Натальи Кузнецовой в «Русской мысли»). Справедливости ради нельзя не отметить как одну из немногих бесспорных удач образ вороны Клары, хотя она и не вполне Петух. Главою «Петух» зато заканчивается весь, если можно его так назвать, «роман» Битова, хотя и здесь Петух — настоящий, а всего лишь аллегория пожара: «Но пламя, рвущееся из окон, не синее, и даже не красное, а — черное, как то же море... Только белые стены — розовые, а черное небо — белое, и в нем, уже высоко над пожаром, на вершине свивающегося в шпиль дыма, — трепещет как флажок, полощется и клоко-

чет, взбивая пожар крыльями, не то красный, не то золотой, красно-золотой петушок...» (с.266). Если вся книга открывается словом «Птицы», то заканчивается она демонстративным образом их гибели: «Помню только черный провал моря и обгоревших чаек на берегу, будто они мотыльки большой лампы» (с. 266), и далее: «жирное, черное море, в котором плавали трупы чаек» (с. 266). Даже над «самым синим в мире» удается. Битову поглумиться!

Далее проследить последовательность уже не представляет труда. Собака появляется на странице 79, уже во второй части — «Человек в пейзаже». «Гигантское серое, змеевидное существо выткалось из сумерек. Я вздрогнул и чуть не заорал «мама!»

— Линда! Линдочка! Чертяка! — ласково потрепал пейзажист этого дьявола.

Это была мраморная догиня ослепительного ужаса и красоты.

...Дьяволица бежала впереди, то растворяясь, то выпадая из густеющих сумерек».

«Линда отошла от него и положила свою телячью голову мне на колено. В первый раз в жизни я имел дело с такой большой собакой. Что за страшная, но и приятная тяжесть лежала на моем колене! Она же поподам перекусит в секунду мою руку, которая ее гладит...

— Никогда не укусит, — сказал Павел Петрович» (с. 82).

Первый раз... Примечательна эта помесь ужаса и восторга! Из сумерек «выткались» как собака, так и Конь, но из сумерек — сознания... Вспомним описание предшествующей им птицы:

«Со своим бешеным, смертельного ужаса глазом, не исполняющим никакого взгляда в нашем понимании, эта давящая чайка стоит перед моими глазами, представляя собою для меня как бы обобщенно одну птицу. Эта одна-птица, если бы мы не привыкли к их вообще существованию на земле, представляет собою чудовище, то есть устрашающе огромное чудо, какого на самом деле быть не может» (с. 48).

Чудовище-птица, существо-конь, змеесобака-дьяволица... всего этого на самом деле быть не может. Это могли бы быть звери Апокалипсиса, если бы не были всего лишь бумажными зверями гороскопа.

«— Животное кто-нибудь написал?

— Птица — существо удаленное... — непонятно сказал он. — Возьмем зверя. Никто! Разве что Дюрер носорога. <...> Он хотел лишь зафиксировать. Он отнесся к линии как к букве. А вышел гениальный апокалипсический зверь!» (с. 75).

Примечателен в этом смысле спор, возникший на странице 179 между автором и его блуждающим альтер эго о природе Феникса:

«— Вы меня не запутаете, доктор! Феникс — это человек в виде птицы.

— Нет, это птица в виде человека!..

— Ни то, ни другое. Наш Феникс — лишь изображение Феникса, это Феникс в виде человека.

— Это уже точнее. Но тогда это Феникс в виде птицы...»

И т. д. и т. п.

Не являемся ли мы свидетелями беспомощной попытки автора перевести обычный мифологический ряд Восточного гороскопа в ряд апокалипсический?

Птица (Петух)..., Собака... Свинья тут же упоминается следом, в упрек Человеку: «Свинья-то — скорее венец Творения» (с.84). Эта тема Свиньи впоследствии педалируется: «свинья — царь зверей» (с. 149), перерастая ни мало ни много в «Проект обустройства мира "Свинья"» (с. 194).

Итак, Петух, Собака, Свинья появляются впервые в сочинении Битова в точной последовательности Восточного гороскопа. Тут уже никакого труда не составляет изловить следом и Крысу: «Ослепительная пятнадцатисвечовая лампочка освещала белую крысу на плече Семиона» (с. 91). Эта явно вставная крыса, никак не подсказанная предыдущим повествованием, своей неожиданностью окончательно подтверждает наше предположение, что и все сочинение всего лишь описание Векторного круга. Смысловая нагрузка крысы, на наш взгляд, в том, что она единственная выживает в повествовании, кроме самого автора. Черда животных у Битова последовательно погибает («Клара погибла, но не от кошки. Ее заклевали вороны. Но не вороны, а вороны. За разницу в ударении» (с. 23). Погибает и собака («Так умирала Линда. Царствие ей небесное! Что там, в собачьем раю? Наверное, как здесь...» (с. 264). И конь («А ты знаешь, — сказал Миллион Помидоров, — что стало с тем конем? Ты помнишь того коня?

— Который яблоки ел?

— Ну да. Его пристрелили.

— Такого коня! Из зависти, что ли? Или перед скачками?.. Прямо на скачках?! Тот мафиози??

— Да нет, — смеялся Миллион Помидоров. — Мафиози тоже пристрелили. Зачем ему конь? Он как раз новую «шестерку» взял. В ней его похоронили. Как в гробу.

— Врешь! — Но *он* уже верил.

— А коня просто пристрелили. Сломал ногу — и пристрелили.

— Кстати, — встрял Павел Петрович, — лось — конь или корова?

— При чем тут лось! — возмутился доктор Д.» (с. 270—271).

И мы тоже возмутились было, пока не догадались про Восточный календарь. Судя по всему, сам автор счел лося коровой, то есть быком.

Двойная смерть человека и коня, человека и быка противостоит смерти Семиона, от которого выжила одна крыса («Неутешная крыса металась по храму» — с. 206). «И все-таки у этой брезгливости перед мышами и пауками другая, чем вы говорите, природа. Это не врожденный страх особи, а подсознательная неприязнь всего вида: ОНИ — крысы, тараканы, пауки и прочие — НАС переживут. То есть когда мы себя изживем, сами же, ОНИ останутся населять нашу Землю без нас. А кто сказал, что Земля наша, а не их? Они — древнее нас, они все и всех до нас пережили, это и есть ИХ земля, а не наша» (с. 183).

Нескрываемый страх — вот, может быть, основное движущее чувство книги. И даже не смерти, а ПЕРЕД смертью. Перед смертью как перед ОБРАЗОМ смерти и перед смертью как НАКАНУНЕ. Природная барочность автора вымещается благоприобретенной эсхатологией (см. его «Попытку утопии») — «Эсхатология перерастает в схоластику. И это не упрек: значит, эсхатология становится естественной, а не трагической и уже даже не романтической частью нашего сознания. Схоластически обработанная категория только и может стать неоспоримой его частью. Так православие, отвергнув схоластику, отвернулось и от цивилизации». Отточенная решительность подобных заключений выдает автора с головой: это уже паника. И автор провозглашает «начало ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, осознавшей угрозу конца как свое начало, кладущей свое отчаяние в фундамент надежды, а крушение надежд — в основание веры» (там же).

Петух, Собака, Свинья, Крыса... БЫК! Ему посвящена целая глава в третьей части — КОРОВА. Встреча с мертвым молодым дельфином, по ошибке названным раздвоенным автором «морской коровой», нагнетает ожидание катастрофы: «ДД, профессионально наблюдавшему смерть особи, вчуже были мысли о ней — и о смерти, и об особи. А тут вдруг он впервые задумался без всякой мысли. Был ли дельфин оконча-

тельно мертв? С одной стороны, он, естественно, не был жив. Но так ли уж он был мертв?...» (с. 173). Вся глава, с первых строк, посвящена этому переходу: пьяный на берегу — дельфин — сгорающий Феникс — наконец, КОРОВА: «Ее было много. Корова не бывает такой большой. Она была как кит. Она не отливала ни перламутром, ни даже бельмом. Свет обтекал ее, образуя лужи. Небо, море — освещение коровы было вокруг. Никто не заметил, как изменилось ВРЕМЯ — как погода. Белое, серое, без солнца. ...Она уже давно ни о чем не думала, корова» (с. 200).

Следующий Тигр — уже только шкура. Но и шкуру украли. Смерть Семииона завершает ряд. « — Что же вы так плачете, доктор? — Я представил себе биомассу червей...» (с. 206).

Смерть Кота является, на мой взгляд, кульминацией книги. Вот где, наконец, автором овладевает неподдельное, нераздельное чувство! «Никто не заметил: сначала он был только жив, потом он был более жив, чем мертв, потом более мертв, чем жив, потом только мертв... — никто не заметил. Сильные чувства чем хороши — от них устаешь» (с. 233).

После них можно съесть яйцо Дракона, можно убить несуществующую Змею, пристрелить Коня, упустить Козу, пока не встретишься прямым взглядом, нос к носу, с казалось уже не существующей, а на самом деле, единственной реальной — Обезьяной. «Значит, полулев-полусобака. Неприветлив, смотрит исподлобья. С ним не следует встречаться взглядом...» (с. 264).

И это — финал. Пока не взвьется золотым петушком пожар, пожирающий рукопись только что законченного романа. И вы так и не поймете, что же сгорело, — не та ли книга, которую вы только что прочли? Но что же вы тогда прочли? Пепел?

Автор намекает, что это он сам, сам сгорел в этом повествовании. Поверим в искренность его интенций. В конце концов, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора», — так начинается вся книга.

Книга окончена в Год Петуха — 28 февраля 1993 года.

Прошное Воскресенье. По-видимому, это существенно.

От Петуха до Петуха прошествовали перед нами все звери Векторного круга в старательно соблюденной последовательности, волоча за собою свою гибель, столь же последовательно. Что еще может вычитать астролог? Последовательность появления и исчезновения героев, возможно подчиненных уже другой зодиакальной последовательности? Может, предположив за Го-

голем зодиакальное построение «Мертвых душ», пробовал и он сам повторить непреодолимый рекорд Гоголя в своих «Живых душах»? В таком случае, это у него не получилось. Правда, героев этих, похоже, столько же, сколько знаков Зодиака, но кто из них кто? Автору изменяет мастерство (см. список «гостей» на страницах 215—216 или авторскую переключку «солдат империи» на странице 245).

Книга начата в Год Петуха (1969), продолжена в Год Обезьяны (1980) и закончена в Год Петуха (1993). Первая часть проживается за семь лет (1968—1975), от Обезьяны до Кота; вторая в Год Козы (1979) и заканчивается описанием написания утром 23 августа 1983 года, непосредственно переходящим в действие третьей части — Год Свиньи (1983) — главы «Конь» и «Корова»... И еще семь лет сгорают в главе «Огонь» от «незабываемого 1984-го» (Год Крысы) до 19 августа 1991 года (Год Козы), и только сам автор только стареет, но не меняется. Типичнейший Близнец, он всякий раз спасается, подставляя под удар то ту, то другую безответную свою половину: то Доктора Д., то Павла Петровича, то самого себя, то ЕГО, то бедного Дрюнечку, то Зябликова... «Господи, что я за человек такой, что со мной ни одна тварь ужиться не может!» (с. 228). Крокодиловы слезы Близнеца.

Но автор и Бык. Тяжелый, неблагодарный знак!

«Бог един, и человек — Его профессионал», — заключает Битов свою «Попытку утопии». Про соединение Быка и Близнеца существует следующая характеристика: «Несерьезный бык. В общем, очень выносливый».

Это «в общем» обнадеживает.

*31 января 1995,
первый день
Года Деревянного Синего Кабана
Ай Сноусторм
(Перевод с немецкого А. Битова)*

Астрологический указатель

Первое появление, стр...	Апокалипсис, стр...
ПЕТУХ 19 (ворона Клара)	24 (заклевали) 57 (смерть чайки)
СОБАКА 99 (догиня Линда)	225 (самоубийство дельфина)*? 348 (в собачьем раю)
СВИНЬЯ 106 (венец Творения)	106 (оскорблена) 215 (неопознанное тело)*?
КРЫСА 116 (на плече Семиона)	270 (неутешная... гибель Семиона)
БЫК 149 (лось)*? 155 (телка Мани-Мани)	252 (кит — горит)*? 262 (труп коровы) 357 (лося пристрелили)
ТИГР 203 (живопись)	264 (труп витязя, пропажа шкуры)
КОТ 275 (котенок Тишка)	303 (похороны Тишки) 319 (горийский кот)**
ДРАКОН 182 (шорох дракона) 303 (яйцо бронтозавра)	182 (умирание языка) 303 (съели яйцо)
ЗМЕЯ 309 (сценарная гюрза)	310 (убийство)
ЛОШАДЬ* 209 (существо-конь)	357 (пристрелили)
ОВЦА 331 (старухина коза)	333 (напилась пьяная)
ОБЕЗЬЯНА 348 (Обезьян)	349 (остался голодным)
ПЕТУХ 351 (золотой петушок)	351 (обгоревшие чайки)

* «Лошадь вырывается вперед из повествования, с легкостью обойдя кота, дракона и змею...» (209).

** «Улыбка горийского кота плыла как облачко» (319) — аналог «коту чеширскому» (Льюис Кэрролл); Сталин родился в Гори в Год Кота (1879).

*? Если лось, по своей принадлежности Восточному гороскопу, является предметом дискуссии на страницах 262 и 357, то невозможно определить, к какому знаку Восточного гороскопа относит автор тело на берегу (215), дельфина (225), а также упомянутых вскользь ланцетника (228) и кита (252); существует, однако, гипотеза, что дельфин — потомок собаки, а кит — коровы, тогда неопознанные остатки на берегу, собранные в главе «Корова», располагаются следующим образом: 1) объект в белых джинсах — 215; 2) дельфин — 225; 3) кит — 252; 4) корова — 262; 5) витязь в тигровой шкуре — 264; 6) похороны Симеона — 270, — то есть «Свинья-Собака-Бык-Тигр-«Крыса» (человек - - человек, смерть от отравления алкоголем)... — то есть, последовательность гибели животных Восточного гороскопа, на фоне очевидной последовательности их возникновения в тексте, хоть и с меньшей отчетливостью, но все же прослеживается.

ТАБЛИЦА АМБИЦИЙ

А

- АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК, который — есть 128, 140, 162, 186
- «АБХАЗИЯ», гостиница в Сухуме, сгоревшая в 1983 году 131, 134, 204, 240, 244, 249, 275, 276, 282, 285
- «АБХАЗИЯ», гостиница в Тбилиси 239
- АВЕЛЬ, человек 89, 102, 103
- АВТАНДИЛ, герой 202
- АВТОРХАН, герой романа «Солдаты Империи» (см. «СОЛДАТЫ ИМПЕРИИ») 247
- АДАМ, тварь Божья 33, 89, 102, 103, 112,
- АДИДАСОВ В. Г., полковник 240, далее везде
- «АЗАРТ», ненаписанный роман 150
- АЙВАЗОВСКИЙ, маринист (не писал людей), армянин 72, 81, 88
- АКШОНТОВО, деревня на пути, родина милиционера 155
- АЛЬБИОН, туманная родина 245
- АЛБАНИЯ, самая непосещаемая страна 262
- АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ (Македонский) 53, 54
- АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА, которая сгорела 277
- «АЛКОГОЛЬ ШПИГЕЛЬ», немецкий журнал? 139, 145
- АЛЯСКА, русская земля 149
- АМЕРИКА, страна, открытая викингами 54, 194, 238, 240, 260, 262
- AMNESTY International, шведское отделение 208
- «АМРА», место встречи, которое изменить нельзя 131, 134, 244
- АМСТЕРДАМ, город под угрозой 59
- «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ», вальс 203
- АНАПА, абхазское слово — «кисть руки», предполагаемое место зарождения автора 162

-
- АНДРОПОВ Ю. В., государственно мыслящий человек 198, 199
АПТЕКАРСКИЙ ПЕРЕУЛОК в Москве (не путать с Аптекарским проспектом в Петербурге!) 104
АРИСТОТЕЛЬ, учитель Александра Великого (см. АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ), цитируемый Горбачевым М. С. (см. ГОРБАЧЕВ) 291
АРИСТОФАН, автор «Птиц» 12
АРХИМЕД, открыл свой закон 95
АФГАНИСТАН, граница Империи 211
АФРИКА (не путать с певцом!), прародина Пушкина 129, 159
АХВЛЕДИАНИ Эрлом, автор сказок «Вано и Нико», цит. на стр. 243
АХМАТОВА Анна, «Здесь все меня переживет...» цит. на стр. 90

Б

- БЛОК Александр (1880—1921), в Абхазии мог бы дожить до 1983 года, цит. на стр. 126
БЕЛЬГИЯ, страна, взятая вместе с Голландией по одному делу, 33
БЕРИЯ, вурдалак 138, 139
БЕРЛИН, место написания 3
«БЕСЫ», с которыми у автора свои счеты 237
БЁЛЛЬ Генрих, почетный гость 158
БИБЛИЯ, цитируется 11, 78 и далее
БРИТАНИЯ, см. АЛЬБИОН 143
БРЕЙГЕЛЬ, определил место Икара 82, 273
БОРЖОМИ, красивейшее место и вкуснейшая вода 244
БОРХЕС, любимый писатель Миллиона Помидоров (см. МИЛЛИОН ПОМИДОРОВ), Марксэна (см. МАРКСЭН) и др. 136
БОСХ, бытописатель ада 42, 273
БРАГЕ Тихо, безносый астроном, абхаз 158, 160
БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА, граница Империи 261
БРУНО Джордано, сгоревший астроном (см. ЛАЗО) 277
БУНИН Иван, мастер пейзажа 259
БУЛГАКОВ Михаил, клевета на него, «рукописи не горят» цит. на стр. 277

В

ВАЛЕРЬЯН ИННОКЕНТЬЕВИЧ, сотрудник Доктора Д. 19, 20, 22

ВАН ГОГ, безумец 95

ВАН ДЭЙК, не путать с Ван Эйком! 77

ВАН ЭЙК (не путать старшего и младшего!), изобретатель масляной живописи 77

ВЕНЕЦИЯ, где пропадают в каналах 232

ВИВАЛЬДИ, изобретатель нотной скорописи, автор «Арии» 219, 220

ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ 263—265

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (см. НАБОКОВ В. В.)

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, лучше не см. 129

«ВОЛГА» (не путать с рекою!), «черная "Волга"» (см. ЧЕРНАЯ ВОЛГА)

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (см. ТАРАСОВ В. П.) 256

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ, историческая территория на территории Калининградской области, Польши и Литвы, граница Империи 40

ВАСИЛЬЕВ, никому не мешающий пейзажист 72

ВЕНИЧКА, см. ЕРОФЕЕВ

ВОДОБОЯЗНЬ, река (см. ГУМИСТА) 254, 255

ВОРОНЕЖ, город в Альбионе 133, 142, 143, 245

Г

ГАГИ, Отец Торнике, крестный отец 211

ГАИ, опасная организация 230, 241

«ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ», Виктора Шкловского, цит. на стр. 137

ГАМЛЕТ, произведение и герой 77, 144

ГАРИН, инженер, герой 222, 223

ГЕГЕЛЬ, по которому не учились 236

ГЕОГРАФИЯ, учебник 13, жена автора 238

ГОЛЛИВУД, см. ХОЛЛИВУД

«ГОВНО И РОЗЫ», ненаписанный роман 219

ГОНКУР, братья-соавторы 221

-
- ГОРБОВСКИЙ Глеб, ленинградский поэт 262
- ГОАЛРО (не путать с ГОЭЛРО!) 198
- ГРЕЦИЯ, родина Европы, несчастная страна 164, 270
- ГРЕКО Эль, безумец 95
- ГИНДУКУШ, хребет 33
- ГЛАЗ (см. «От автора»), бытописатель детской колонии 211 и далее
- ГЕОРГИЙ Святой, на Красной площади 253
- ГЕРАКЛИТ, автор многих цитат 277
- ГЕРМАНИЯ, до всех разделов и объединений 40, 193
- ГЕРОСТРАТ, пироман 282
- ГЕТЕ Иоганн фон, Тайный Советник, автор «Фауста» (см. ФАУСТ), персонаж Вен. Ерофеева (см. ЕРОФЕЕВ), «Остановись, мгновение!» цит. на стр. 130, 258
- ГОГОЛЬ, предмет зависти романа «Солдаты Империи» 96, 228, 231, 240, 261, 277, 278, 282
- ГОЙЯ, безумец 95
- ГОЛСУОРСИ Джон, основоположник ПЭН-клуба, зарубежный друг Горького (см. ГОРЬКИЙ А.М.), здесь в качестве дефицита 105
- ГОНДОН, см. КОНДОМ
- ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич, цитирует Аристотеля 291
- ГОРИ, неповинный городок 242
- ГОРЬКИЙ А.М.,? 47; «То крылом волны касаясь...» цит. на стр. 85, 240
- ГРЕНЛАНДИЯ, страна, открытая викингами как Америка 54
- ГРИН Грэм, пьющий писатель 158
- ГРУЗИНСКИЙ ПОЭТ (ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ), «Ничего больше! Только — лодку и весло! Лодку и весло...» цит. на стр. 39
- ГРУЗИНСКИЙ РОМАНИСТ (?) 247
- ГРУЗИНСКИЙ ХУДОЖНИК (см. «От автора»), 73; «Пиво тоже...» цит. на стр. 189
- ГРУЗИЯ, страна, которую не посещал Ленин (см. ЛЕНИН В. И.) 146, 282
- ГУЛЛИВЕР, в стране Советов не найден
- ГУМИСТА, река в Абхазии (см. ВОДОБОЯЗНЬ)
- ГЭТСБИ ВЕЛИКИЙ, герой 215
- ГЮГО, автор романов «Отверженные» и «Труженики моря» 266

Д

- ДАЛЬ В.И., русский Шлиман 159
ДАНКО, герой, сжег свое сердце, см. ГОРЬКИЙ 274
ДАО, дао 262, 267
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, см. ДАО
«ДАМА С СОБАЧКОЙ» (не путать с Чеховым!), киноверсия
137, 227
ДАНИЯ, опять страна 33
ДАРВИН, исповедуемый Доктором Д. (см. ДОКТОР Д.)
ДАРДАНЕЛЛЫ, спорный пролив 149
«ДВЕНАДЦАТЬ», спорная поэма 126
ДЕБЕРЦ (СКАТ?), карточная игра вдвоем 236, 262
ДЕРЖАВИН Гавриил, определение человека цит. на стр. 274
ДЖОЗЕФ, см. БРОДСКИЙ, см. «ПИСЬМА РИМСКОМУ
ДРУГУ», см. ЗАНТАРИА 139
ДЗЕРЖИНСКИЙ Ф.Э., памятник 198
ДИОСКУРИЯ, обломки 135
ДИСНЕЙЛЕНД, соцарт 198
ДИТРИХ Марлен (не путать с Марксэном!), обладательница
ног 129
ДРАГАМАЩЕНКА, альфа-самец (не путать с поэтом!) 143
и далее
ДРУГ Ю. (см. «От автора») 219, 220, 234
ДРЮНЯ, Дрюнечка (см. «От автора»), друг ситный 214 и далее
ДОКТОР Д. (см. «От автора»), этолог человека 11—64, 165—
206, 269—275
«ДОН КИХОТ», произведение и человек 75
ДОЧЬ, (Анна в 1975 году) 21, 38, 60
ДЮРЕР Альбрехт, нарисовал носорога 75, 288

Е

- ЕВА, жена Адама 112, 150
ЕВКСИНСКИЙ, см. ПОНТ 139
ЕВТИХИЕВ, волосатый человек 93
ЕВТУШЕНКО 158

ЕГИПЕТ Древний, восстание рабов 2750 год до н. э. 159, 181
ЕККЛЕСИАСТ, автор 77, 98
ЕРМАК Тимофеевич, расширил границы Империи 149
ЕРОФЕЕВ Венедикт, автор утраченного романа «Шостакович»
(см. ГЕТЕ) 130, 280
ЕСЕНИН, см. ЗАНТАРИА 130 (отец Е.), 236 (жена его)

Ж

«ЖИВЫЕ ДУШИ», рукопись, сгоревшая в «Абхазии» 261,
277
«ЖЕСТЯНОЕ РУНО ПОБЕДЫ», роман, написанный и несог-
ревший 210, 241

З

ЗАНТАРИА Даур, абхазский писатель, цитирующий Есенина
и Бродского 130, 139
«ЗАРЯ ВОСТОКА», орган 135
ЗОЩЕНКО (см. «От автора»), любимый писатель
ЗЯБЛИКОВ (см. «От автора»), герой повести «Лес», автор
недописанного романа «Лужа» 216, 226, 228—233, 245, 261

И

ИВАН-ДУРАК, герой 47
ИИСУС, Сын Человеческий 102, 133
ИКАР, см. НЕГУДБАЕВ, человек летающий (не ангел) 49, 82
ИЛЬИЧ, часы 168; лаборатория сохранения 199, 202; см. МАВ-
ЗОЛЕЙ
ИНДИЯ, великая страна, в которой не едят быка 53, 238
ИОАНН (ЕВАНГЕЛИСТ)
ИОАНН (ЗЛАТОУСТ) 251, 252
ИОАНН (КРЕСТИТЕЛЬ) 244
ИСКАНДЕР Фазиль, автор энциклопедии абхазской жизни 155
ИСЛАНДИЯ, страна викингов 54

К

- «КАВКАЗ», портвейн 76, 87, 106, 109,
КАИН, человек 89, 102, 103
КАЛИНИН, всесоюзный староста 198
КАМЮ Альбер, автор трилогии «Неизвестный» — «Посторонний» — «Незнакомец» 136, 266
КАМАНЫ, место, где Иоанн Златоуст «умер от преврат пути» 250
КАМЧАТКА, русская земля 176, 198
КАЛИФОРНИЯ, бывшая русская земля 149
КАСТРО, см. ФИДЕЛЬ 131
КЕНТАВР, Полкан (пол-коня) 180, 181
КИРИЛЛ, см. МЕФОДИЙ, изобретатель кириллицы 92, 111
КОНДОМ, французский врач, изобретатель 187
«КОЛЕНВАЛ», изобретение Андропова Ю. В. (см. АНДРОПОВ Ю.В.) 199
КОЛДУЭЛЛ, американец, первым употребил «на троих» в 1963 году 143
КОЛХИДА, древнегреческая территория, оспариваемая грузинами и абхазами 210
КОПЕРНИК Никола, поляк, астроном, не путать с Бруно (см. БРУНО) и Лазо (см. ЛАЗО) 277
КОРНЕЙ Чуковский, дедушка, цит. на стр. 193
КОТОВСКИЙ, герой, воспетый Жванецким 214
КОЛУМБ Христофор, открыватель Индии 54, 238
«КОГО?», ненаписанный роман, соотв. «Что делать?» и «Кто виноват?» 266
КОНОВАЛОВ, гениальный хирург (см. «От автора»)
КРИТОН Милетский, олимпийский чемпион, носил на плечах быка 151
КРОМАҢЬОНЕЦ, человек, первый скульптор 93, 96
КРЫЛОВ И. А., дедушка 21, 29, 266
КРЫМ, русская территория в Медитерании (см. МЕДИТЕРАНИЯ), посещенная Пушкиным (см. ПУШКИН) 42
КРУПСКАЯ, см. НАДЕНЬКА
КУЗМИН Михаил, любимый поэт мурманского бомжа 215

Л

- ЛАЗО, герой 277
ЛЕЕ, джинсы 129
ЛЕОНАРДО Винчи да, безумец, армянин 95, 146
ЛЕНИН В. И. (см. СТАЛИН) 168 (часы)
ЛЕВИТАН (не путать с диктором!), русский художник 72
ЛЕВЕНГУК, открыватель жизни 154
ЛЕРМОНТОВ, «Белеет парус одинокий...» цит. на стр. 39,
«О вечность, вечность! Что найдем мы там...» цит. на
стр. 100; «где, сливаясь, шумят...» 240
ЛИЛЛЬ, город во Франции, родина палача, см. «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 93
ЛИНДА, актриса и догиня 79—82
ЛИТВА, государство, в котором проживает Тарасов В. П.
(см. ТАРАСОВ) 31, 40, 50
ЛОРЕНЦ Конрад, идеал Доктора Д. 21, 23, 26, 28, 29, 30, 200
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Голливуд, Олимпийские игры 151
ЛЮСЯ, обезьянка 152

М

- МАВЗОЛЕЙ, см. ШУСЕВ, см. ИЛЬИЧ 198, 202, 253
МАЛЬТУС, предмет ревности Доктора Д. 53, 56, 58, 187, 191
МАРК, сотрудник Доктора Д. 35
МАРКС (КАРЛ?), открыл закон 137
МАРКСЭН (см. «От автора»), рекордсмен мира (стрельба из
пистолета) 132, 136
МАРЛЕН (см. ДИТРИХ) 129
МАРС, планета (не путать с богом войны!) 197
МАФФИ (Даффи...?), профессор Веслин университета (Кон-
нектикут) 219—222, 227
МАЛЬБОРО (не путать с Черчиллем!), сигареты 131
МАНИ-МАНИ (Money-Money), тёлка 120
МАНДЕЛЬШТАМ 140
МЕДИТЕРАНИЯ, духовная родина Пушкина, красивое слово
164, 165

МЕККА, непосещенное место 242, см. ЧЕШИРСКИЙ КОТ
МЕНДЕЛЬ, гениальный монах 24
МЕФИСТОФЕЛЬ, царь тьмы 182, 189
МЕФОДИЙ, см. КИРИЛЛ 92
МИЛЛИОН ПОМИДОРОВ (см. «От автора»), 125 и далее
всегда
МИЛН Артур, автор «Винни Пуха» 204, 215
МИЖУЕВ, зять 108
МОНГОЛИЯ, любимая страна автора 261
МОЦАМЕТА, грузинский монастырь, вотчина Отца Торнике
(см. ГАГИ) 211, 243
МОЦАРТ, гений 77, 78, 123
МС², формула Ньютона, переписанная Эйнштейном (см. ЭЙН-
ШТЕЙН) 17

Н

НАБОКОВ В. В., писатель, энтомолог 38, 216, 257
«НАДЕНЬКА», кафе 214
НАПОЛЕОН, полководец и коньяк 54, 109, 146, 159, 166, 188,
206, 207, 208
НЕГУДБАЕВ, герой повести «Наш человек в Хиве», здесь
космонавт СССР 227
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й», пьеса Вс. Вишневского 200
НЕЙГАУЗ Генрих Густавович, родственник Бориса Пастер-
нака 227, 234
НЕФЕРТИТИ, армянка 146
НИКИБУМАТВА, одно из имен Творца (индейск.) 113, 114, 183
НИКОН, фирма (не путать с Патриархом!) 236
НЬЮТОН Исаак, открыл свой закон 95
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, где птицы преподносят подругам цветы 45
Н., сотрудница Доктора Д., биолог 36—38, 46, 61

О

ОРВЕЛЛ, эпигон Евг. Замятина, автор романа «1984» 200

П

- ПАВЕЛ (АПОСТОЛ)
ПАВЕЛ (ИМПЕРАТОР), вздорный профиль 98
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, герой 81 и далее везде
ПЕТР (АПОСТОЛ)
ПЕТР (ИМПЕРАТОР), цит. про «три рубли...» 110
ПАРИЖ, представление о 262
ПАСТЕРНАК Борис, похожий на него 234; сам. П. датировал Преображение (см. цит. на стр. 287)
ПЕРЕДРЕЕВ Анатолий, цит. на стр. 17
ПИ, число 17
«ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ», см. БРОДСКИЙ, см. ЗАНТАРИА 139
ПИТЕКАНТРОП, человек, первый художник 93, 100
ПОЛЬША, страна, с которой ведется давний славянский спор 40
ПОНТ, см. ЕВКСИНСКИЙ 210, 218, 245, 246, 261
ПРОМЕТЕЙ, изобретатель самогонного аппарата 274
ПУГАЧЕВА Алла, и все тут 80
ПУШКА, психогенная 221
ПУШКИН, гений, арап, первый эколог; «Не продается вдохновенье...» цит. на стр. 30, 78, «Прощай, свободная стихия...» цит. на стр. 81, «Румяной зарею...» цит. на стр. 155, «Юноша бодро шагнул...» цит. на стр. 169, «Как грустна наша Россия...» цит. на стр. 231, «Ужо тебе!..» цит. на стр. 242
ПЯТНИЦА, черный друг Робинзона (см. РОБИНЗОН) 261
ПТА (не путать с ПТУ!), древний Египет 181

Р

- Р-Р-Р, буква, праматерь алфавита 254
РАФИК, марка автомобиля (не путать с именем!) 238 и далее
РАФИК НИСАНОВИЧ, см. РУСЛАН ИМРАНОВИЧ 262
РЕЙГАН, Президент США времен застоя 208
РЕПИН Илья, вегетарианец, писал живых людей 81
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, хрупкая мечта детства О. И. Бендера 130

-
- РОБИНЗОН, отец колониализма 202, 261
«РОДИНА, или МОГИЛА», тождество, глава из «Грузинского альбома» 239, 241
РОСТОВА Наташа, героиня 236
РУЗВЕЛЬТ, американец, участник Ялтинской конференции (см. ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 131
РУСАЛКА, девушка с хвостом 180, 181
РУСЛАН ИМРАНОВИЧ, см. РАФИК НИСАНОВИЧ 262
«РУССКАЯ», водка 80
«РЫБА», московская резиденция автора 222

С

- САЛТЫКОВ, из тех самых Салтыковых (не путать с Щедрым!), «русский Фет», поэт 216, 250
САЛТЫЧИХА, совсем из тех Салтыковых 216
САЛЬЕРИ, образец для подражания 217
САПГИР Генрих, цит. на стр. 90
СЕЗАНН Поль, предмет зависти Павла Петровича 73, 95, 100, 118
СЕРСОВ, в просторечии ФЕДЕРИКО, режиссер вообще, без намеков 204, 235
СКОВОРОДА Григорий, великий философ 190, 194, 294
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, см. МЕДИТЕРАНИЯ 261
СТАЛИН, см. ЧЕШИРСКИЙ КОТ 292
«СОЛДАТЫ ИМПЕРИИ», переименованный роман, см. «ЖИВЫЕ ДУШИ» 244, 261, 277
СОЛЖЕНИЦЫН, «про которого лучше не надо» 149
СОФИ, полуженщина-полуСоветскаяВласть 154
СФИНКС, статуя в Петербурге 180, 181

Т

- «ТАК ПО КАМЕШКУ, ПО КИРПИЧУ...», назойливый мотив 95
ТАМЫШ, абхазская резиденция автора 123, 205, 238, 244, 260

-
- ТАРАСОВ Владимир Петрович, перкуссионист 256
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО», теплоход 135
ТАЧЕР (Тэтчер), имеет некоторое отношение к Воронежу 131
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 17
ТЕНИРС, (не путать с Тернером!) 72
ТЕРНЕР, (не путать с Тенирсом!) 72, 259
ТОЛСТОЙ, (не путать с другими Толстыми!), автор книги
«Гиперболоид инженера Гарина» (см. ГАРИН) 223
«ТРИ ВОКЗАЛА», Комсомольская площадь в Москве, место
прописки 104
«ТРИ МУШКЕТЕРА», роман на все времена 93
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич, автор «Записок охотника» 259
ТУРЛЫКОВО, деревня Костромской области 160
ТУРЦИЯ, спорные вопросы 291

У

- «УКРАИНА», гостиница в Москве напротив Белого дома 285
УБ, Устин Беньяминович, полковник, дедушка и внучек одно-
временно 215

Ф

- FRINGILLA, зяблик 38
ФАУСТ, Доктор (не путать с Доктором Д.!) 98
ФЕДЕРИКО, (см. СЕРСОВ) 136
ФЕДОР ИВАНОВИЧ, учитель истории (не путать с царем!) 281
ФЕЛЬДАФИНГ, место написания в Германии 291
ФЕНИКС, нечто 179, 180, 288
ФИРС, которого забывают 235
ФОНТАНКА, река в Венеции 232
ФОМА, неверующий 286
ФРЕЙД Зигмунд, нелюбимый автор Набокова, не обнаружен
ФИДЕЛЬ, друг Хемингуэя (см. ХЕМИНГУЭЙ) 131

Х

- ХЕМИНГУЭЙ, гость 158, 277
ХОЛЛИВУД, см. ГОЛЛИВУД 234
ХИЧКОК, автор фильма «Птицы» 12
ХРУЩЕВ Н. С. 149, 157

Ц

- ЦИБУЛЬСКИЙ, из «Пепла и алмаза» 1

Ч

- ЧАРЛИ ЧАПЛИН, «Огни большого города» 285
ЧЕРНОЕ МОРЕ, см. ПОНТ, см. ЕВКСИНСКИЙ
ЧЕРНАЯ ВОЛГА, специальный автомобиль 230
ЧЕХОВ 235
ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон, герцог Мальборо 131
ЧЕШИРСКИЙ КОТ, см. СТАЛИН
ЧУКОВСКИЙ, см. КОРНЕЙ

Ш

- ШВЕЙЦАРИЯ, страна, в которой бывал Ленин (см. ЛЕНИН) 203
ШВЕЦИЯ, разбогатевшая страна 31
Ш. Ольга (см. «От автора»), цит. на стр. 13
ШИШКИН, автор полотна «Утро в лесу» 186
ШУРПИН, автор полотна «Утро нашей родины», не найден
ШУБЕРТ, автор траурного марша 220
ШУВАЛОВО, фамильное кладбище 153

Щ

- ЩЕДРИН, не тот Салтыков (см. САЛТЫКОВ) и не композитор, а другой; про «Сказку о том, как один мужик...» см. на стр. 191
ЩУСЕВ, автор Мавзолея, см. «Абхазия» 131, 204

Ы

Ы — 254

Э

ЭНГЕЛЬС, не открыл своего закона, последователь Маркса и Дарвина 137, 195, 196

ЭЙНШТЕЙН, открыл свой закон (см. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ). армянин 215, 262

ЭСЧЕГУКИ, одно из имен дьявола (индейск.) 113, 114

Ю

Ю., см. ДРУГ Ю. 219, 220, 227, 234

ЮЛИЯ (не путать с Борхесом!), первоклассница в 1975 году, автор тогда же рассказанного рассказа, цит. на стр. 64

ЮНЕСКО, опасная организация 202

ЮСТИНИАН, абхазский строитель, император 125

Я

ЯЗОН, герой романа «Жестяное руно победы» (см. ГРУЗИНСКИЙ РОМАНИСТ) 210, 218, 246

ЯЛТА, место, которое изменить можно 134

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, встреча, которую изменить нельзя 131

КОНЕЦ АМБИЦИЯМ
21 июля 1995 года
Санкт-Петербург

Автору больше нечего добавить. Он лучше с легкостью и готовностью впадет в стиль любимого Михаила Зощенко. И даже, пожалуй, не будет стилизовать. А просто перевернет цитату из «Возвращенной молодости»...

Ах, мы тревожимся в особенности за одну категорию людей, за группу лиц, так сказать, причастных...

Эти лица, ну там, скажем, экологи, этологи, психиатры, астрологи, наркологи, антропологи и националисты любых мастей: армяне, грузины, русские, евреи, абхазы, немцы, алкоголики, живописцы, скульпторы, серпентологи, космонавты, путешественники, часовщики, взрывники и т. п. — не говоря о писателях и поэтах, а тем более, бардах, а также, ну, скажем, приматологи с ихними женами, родственниками, знакомыми и соседями, лица эти, увидав книгу, содержание которой поначалу несколько напомнит им ихнюю профессию, лица эти, несомненно, отрицательно, а может быть, даже и враждебно отнесутся к нашему сочинению.

Этих лиц автор покорнейше просит снисходительней отнестись к нашему труду. Автор, в свою очередь, тоже обещает им быть снисходительным, если ему случится читать повести или там, скажем, рассказы, написанные психологом или психоматиком, или родственником этого психоматика, или даже его соседом.

Автор просит у этих лиц извинения за то, что он, работая в своем деле, мимоходом и, так сказать, как свинья, забрел в чужой огород, наследил, быть может, потоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву.

А. Битов
4 августа 1994 года
у Коновалова.

Литературно-художественное издание

БИТОВ Андрей Георгиевич
ИМПЕРИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ
IV

ОГЛАШЕННЫЕ

Ответственный за выпуск
В. В. Гладнева
Художественный редактор
Ю. А. Модлинский
Технический редактор
Е. В. Триско
Корректор
Г. Ф. Высоцкая

Сдано в набор 24.02.95.
Подписано в печать 26.02.96.
Формат 60x84 1/16.
Бумага тип. №1.
Гарнитура Тип Таймс.
Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 18,6.
Усл. кр.-отт. 19,41.
Уч.-изд. л. 19,12.
Тираж 10000 экз.
Заказ № 224

«Фолно»,
310002, Харьков, ул. Чернышевского, 34
ТКО АСТ
г. Балашиха Московской обл., ул. Фадеева, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ИМПЕРИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

IV

ОГЛАШЕННЫЕ

